

Том 36. № 3 2024

Социология ВЛАСТИ

Историческая социология



Научный и общественно-политический журнал

СОЦИОЛОГИЯ ВЛАСТИ

Sociology of Power
Vol. 36. No 3 (2024)

HISTORICAL SOCIOLOGY

THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY
AND PUBLIC ADMINISTRATION



ПРЕЗИДЕНТСКАЯ
АКАДЕМИЯ

Социология ВЛАСТИ

Том 36 № 3 2024

Выходит четыре раза в год

Редакция:

Канд. социол. наук Смолькин А. А., РАНХиГС, Москва, РФ (*главный редактор*)

Напреенко И. В., НИУ ВШЭ, Москва, РФ (*научный редактор*)

Кловайт Н., Университет Падерборна, Падерборн, Германия
(*редактор англоязычных материалов*)

Редакционная коллегия:

Жижек С., PhD, Люблянский университет (Любляна, Словения)

Мау В. А., д-р экон. наук, профессор, Институт экономической политики
им. Е.Т. Гайдара (Москва, Россия)

Михель Д. В., д-р филос. наук, профессор, ИНИОН РАН (Москва, Россия)

Моррис Дж., PhD, Орхусский университет (Орхус, Дания)

Соколов М. М., канд. социол. наук, Европейский Университет (Санкт-Петербург, Россия)

Сперо Э., PhD, Массачусетский технологический институт (Кембридж, США)

Столярова О. Е., д-р филос. наук, профессор, Институт философии РАН (Москва, Россия)

Титков А. С., канд. геогр. наук, Университет Манчестера (Манчестер, Великобритания)

Утехин И. В., канд. ист. наук, Европейский Университет (Санкт-Петербург, Россия)

Филиппов А. Ф., д-р социол. наук, профессор НИУ ВШЭ (Москва, Россия)

Фруммин И. Д., д-р пед. наук, профессор, Университет Констрактер (Бремен, Германия)

Хиггс П., PhD, Университетский Колледж Лондона (Лондон, Великобритания)

Чалаков И., PhD, Университет Пловдива (Пловдив, Болгария)

Адрес редакции:

119602, Москва, пр. Вернадского, 82, стр. 3 (корпус 2)

Адрес издателя:

119602, Москва, пр. Вернадского, 84, корпус 3

<https://socofover.ganepa.ru>

soc.of.power@gmail.com

Отпечатано в типографии ИД «Дело»

Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС 77 — 46715 от 23.09.2011

Входит в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ России (К1).

Индексация: Russian Science Citation Index (RSCI), Russian white list,

DOAJ, JUFO (Finland), Erih Plus, Philpapers, CrossRef, Sherpa Romeo, Hungarian Scientific
Bibliography Database, UlrichWeb Global Serials Directory

© РАНХиГС (дизайн, верстка), 2024

© Авторы, 2024

ISSN 2074-0492 (PRINT)

ISSN 2413-144X (ONLINE)

СОЦИОЛОГИЯ
ВЛАСТИ
ТОМ 36
№ 3 (2024)

Sociology of Power [Sotsiologiya vlasti]

Vol. 36. No 3, 2024

Founder: The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Frequency: quarterly

Editorial Office:

Anton A. Smolkin, PhD, RANEPa, Moscow, Russian Federation (editor-in-chief)

Ivan V. Napreenko, HSE University, Moscow, Russian Federation (scientific editor)

Nils Kloweit, Paderborn University, Paderborn, Germany (editor of the English content)

Editorial board:

Paul Higgs, PhD (University College London, London, United Kingdom)

Alexander F. Filippov, PhD (HSE University, Moscow, Russian Federation)

Issak D. Frumin, PhD (Constructor University, Bremen, Germany)

Vladimir A. Mau, PhD (Gaidar Institute for Economic Policy, Moscow, Russian Federation)

Dmitry V. Mikhel, PhD (Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation)

Jeremy Morris, PhD (Aarhus University, Aarhus, Denmark)

Mikhail M. Sokolov, PhD (European University, St. Petersburg, Russian Federation)

Ellan Spero, PhD (MIT, Cambridge, USA)

Olga E. Stolyarova, PhD (Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation)

Ivan Tchalakov, PhD (University of Plovdiv, Plovdiv, Bulgaria)

Alexey S. Titkov, PhD (University of Manchester, Manchester, United Kingdom)

Ilia V. Utekhin, PhD (European University at St. Petersburg, St. Petersburg, Russian Federation)

Slavoj Žižek, PhD (University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia)

Editorial address:

82, Vernadskogo Ave, Moscow, 119602, Russian Federation

Indexing: Russian Science Citation Index (RSCI), Russian white list, DOAJ, JUF0 (Finland),
Erih Plus, Philpapers, CrossRef, Sherpa Romeo, Hungarian Scientific Bibliography Database,
UlrichWeb Global Serials Directory

<https://socofpower.ranepa.ru>

soc.of.power@gmail.com

Printed at "Delo" printing house

© RANEPa (design, layout), 2024

© Authors, 2024

Содержание

Слово редактора-составителя

-
- 8 Олег В. Кильдюшов
Между историей и социологией: к проблематике исторической социологии

Статьи

-
- 14 Тимофей А. Дмитриев, Олег В. Кильдюшов
Россия в перспективе исторической социологии: эвристические перспективы и методологические проблемы
-
- 35 Дмитрий Ю. Карасев
Как можно понимать и как тогда практиковать историческую социологию
-
- 60 Михаил В. Масловский
Цивилизационный анализ в исторической социологии и объяснения «советского коллапса»
-
- 77 Николай С. Розов
Причины войн и их роль в социальной эволюции: обобщение современных концепций
-
- 99 Дмитрий В. Катаев, Валерия О. Калинина
Эпистемологический статус харизмы в исторической макросоциологии
-
- 136 Дмитрий В. Попов
Милиция/полиция в (пост)советской массовой культуре (к исторической иконографии власти)
-
- 164 Андрей С. Адельфинский
Рождение социологии спорта и Лестерская историко-социологическая школа

Переводы

-
- 180 Виталий А. Куренной
Леопольд фон Ранке: рождение историзма

-
- 215 ЛЕОПОЛЬД ФОН РАНКЕ
Введение (отправная точка и основные понятия)
(пер. с нем. О. Кильдюшова)

Обзоры и рецензии

-
- 223 АЛЕКСАНДР М. НИКУЛИН
Историческая социология сельско-городского развития
Дж. К. Скотта: против упрощений
-
- 240 ИРИНА В. ТРОЦУК
«Новый облик» капитализма как основа историко-
социологического анализа эволюции неравенства.
Рецензия на книгу: Хаскел Дж., Уэстлейк С. (2024) Капитализм
без капитала: Подъем нематериальной экономики. М.: ВШЭ

Table of Contents

Contributing Editor's Foreword

-
- 8 OLEG V. KILDYUSHOV
Between History and Sociology: Towards the Issues
of Historical Sociology

Articles

-
- 14 TIMOFEY A. DMITRIEV, OLEG V. KILDYUSHOV
Russia in the Perspective of Historical Sociology:
Heuristic Perspectives and Methodological Problems
-
- 35 DMITRY Y. KARASEV
How Historical Sociology Can Be Taken and How Then It Should Be
Practiced
-
- 60 MIKHAIL V. MASLOVSKIY
Civilizational Analysis in Historical Sociology and Explanations of
the "Soviet Collapse"
-
- 77 NIKOLAI S. ROZOV
Causes of Wars and Their Role in Social Evolution: Generalization of
Modern Concepts
-
- 99 DMITRY V. KATAEV, VALERIA O. KALININA
The Epistemological Status of Charisma in Historical
Macrosociology
-
- 136 DMITRY V. POPOV
Police/Militia in (Post-)Soviet Popular Culture (Towards a Historical
Iconography of Power)
-
- 164 ANDREY S. ADELFINSKIY
The Birth of the Sports Sociology and the Leicester Historical-
Sociological School

Translations

-
- 180 VITALY A. KURENNOY
Leopold von Ranke: The Birth of Historicism

-
- 215 LEOPOLD VON RANKE
Introduction (Starting Point and Basic Concepts)
(translated by O. Kildyushov)

Review & Book Review

-
- 223 ALEXANDER M. NIKULIN
Historical Sociology of Rural-Urban Development by James Scott:
Against Simplifications

-
- 240 IRINA V. TROTSUK
The “New Face” of Capitalism as a Basis for the Historical-
sociological Analysis of the Evolution of Inequality.
Book Review: Haskel J., Westlake S. (2024). Capitalism without
Capital: The Rise of the Intangible Economy. Moscow:
Publishing House of the Higher School of Economics.

Слово редактора-составителя

Между историей и социологией: к проблематике исторической социологии

Олег В. Кильдюшов

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Российская Федерация

ORCID: 0000-0001-9801-1952

Рекомендация для цитирования:
Кильдюшов О.В. (2024) Между историей и социологией: к проблематике исторической социологии. *Социология власти*, 36 (3): 8-13
<https://doi.org/10.22394/2074-0492-2024-3-8-13>

For citations:
Kildyushov O.V. (2024) Between History and Sociology: Towards the Issues of Historical Sociology. *Sociology of Power*, 36 (3): 8-13
<https://doi.org/10.22394/2074-0492-2024-3-8-13>

Поступила в редакцию: 30.09.2024;
принята в печать: 05.10.2024
Received: 30.09.2024; Accepted for publication: 05.10.2024



This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

© 2024 by the author.

Формальным поводом для издания данного тематического номера журнала «Социология власти» можно считать секцию на тему «Прошлое как ресурс понимания настоящего: векторы исторической социологии в России», проведенную автором этих строк в рамках XIII Международной Грушинской социологической конференции «Переустройство мира: исследования (в) новой реальности». Мероприятие прошло 25 мая 2023 года в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации и вызвало неожиданный для организаторов интерес со стороны эмпирически ориентированных исследователей, казалось бы, далеких от теоретизирования по поводу исторических импликаций современных социальных феноменов. В том вошли выступления некоторых участников данного ивента.

Однако более значимым, структурным, поводом стало коллективное осознание окончательного «возвращения истории» с ее кризисами и войнами, радикально трансформирующими рамку социального действия индивидуальных и коллективных акторов. В период острых кризисов — вроде нынешнего — у современников часто возникает ощущение уникальности и не-

повторимости происходящего с ними. Между тем многие проблемы и конфликты настоящего феноменологически схожи или структурно близки с теми вызовами, на которые уже неоднократно приходилось отвечать многим поколениям наших предков. В этом смысле историческая социология может стать важным эвристическим ресурсом для расширения и углубления исследовательского инструментария отечественного социального знания. Основная задача специального выпуска журнала заключается в проблематизации познавательного потенциала историко-социологического подхода к интерпретации острых проблем настоящего, включая выявление наиболее перспективных методов и топик для интенсификации дальнейших исследований в рамках данного тематического поля.

Предлагаемый читателю номер посвящен исследованию историко-социологической проблематики в широком контексте русского и мирового исторического и интеллектуально-духовного опыта. Содержательно публикуемые здесь исследовательские статьи, эссе и рецензии можно разделить на три макротемы:

1. Историческая социология: эвристический потенциал и исследовательская прагматика.
2. Состояние дисциплины в России: ревизия основных подходов и личный опыт.
3. Изучение конкретных кейсов, нарративов и дискурсивных феноменов.

9

Открывает номер статья философа Тимофея Дмитриева и социолога Олега Кильдюшова (оба — НИУ ВШЭ), которые ставят перед собой двойную эвристическую задачу — с одной стороны, дать краткий обзор развития мировой исторической социологии как перспективной отрасли современного социального знания, а с другой — выявить наиболее значимые аспекты ее академической институционализации в России. Авторы отмечают некоторую парадоксальность положения данной дисциплины в нашей стране, указывая на незавершенность процесса ее признания как с научно-организационной, так и с содержательной точки зрения. Отмечая явную «недорефлексированность» русского исторического опыта специфическими познавательными средствами исторической социологии, они обращают особое внимание на ряд исследовательских подходов, наиболее адекватных для отечественной ситуации. Общий пафос вводной статьи заключается в том, что лишь историческая социология способна выполнять сегодня функционал научно-критической метаинстанции по отношению культурному прошлому человечества, выступая в роли своеобразной аналитической философии истории.

Продолжает рефлексию по поводу предметной и методической специфики исторической социологии эссе независимого социаль-

ного ученого Дмитрия Карасева, соединяющее в одном тексте объективированный взгляд на данную отрасль социологического знания с глубоко личным взглядом на ее теорию и практику. Погружение в недалекую историю субдисциплины позволяет автору выявить ряд структурных моментов, конститутивных для нее до сих пор (размежевание с социальной историей, соотношение номотетики и идеографии, дополнение теоретических концептов эмпирическими данными и т.д.). Завершается материал автобиографическим экскурсом в личный опыт исследования и преподавания в рамках проблемного поля исторической социологии в России.

Статья социолога Михаила Масловского (Санкт-Петербург), давно работающего с проблематикой модерна и модернизации, посвящена более конкретному сюжету — попыткам историко-социологического объяснения краха советского модерна. В фокусе его внимания находятся подходы таких известных представителей исторической социологии, как Р. Коллинз и Й. Арнасон. В работе подчеркивается эвристический потенциал цивилизационного подхода в духе Арнасона, позволяющий значительно расширить объяснительную модель за счет привлечения такого, часто игнорируемого аспекта, как культурная трансформация. Особую роль здесь играет компаративистский элемент, со- и противопоставляющий опыт реформирования в СССР и КНР как двух вариантов коммунистической версии модерна, в обоих случаях осуществлявшихся в условиях имперской модернизации.

10

Следующий материал номера, отчетливо резонирующий с текущей политико-дискурсивной ситуацией в мире, принадлежит перу философа Николая Розова (Новосибирск) — еще одного исследователя, активно транслирующего достижения мировой исторической социологии в отечественное научное пространство. В нем представлен авторский взгляд на проблематику, связанную с систематизацией генеалогии войн, структурирования каузальных классов причин их возникновения и т.д. При этом автор опирается на ряд аналитических подходов, мало известных в российской полемологии. Особый интерес здесь может представлять модель непреднамеренных войн, не являющихся результатом чьих-то интенциональных решений. В заключение отмечается структурообразующая роль войн в социальной эволюции, по отношению к которой они выступают в качестве катализаторов.

Статья социолога-вебероведа Дмитрия Катаева (Липецк) и исследовательницы из НИУ ВШЭ Валерии Калининой (Липецк/Москва) проблематизирует способы применения понятия «харизма» в рамках исторической социологии. Авторы фиксируют значительную эвристическую неопределенность концепта, являющегося при этом ключевым для всей (нео)веберовской традиции. Они начинают

с полисемантической прагматики понятия у самого Макса Вебера, переходя затем к его дальнейшей рецепции в рамках мирового вебероведения. Центральными здесь оказываются имена таких известных интерпретаторов и популяризаторов наследия классика социологии, как В. Шлюхтер, Ф. Тенбрук, Э. Шилз, Ш. Эйзенштадт, Г. Рот и др. Систематическая историко-социологическая реконструкция понятия «харизма» позволяет не только переопределить его границы, но и ответить на некоторые критические голоса, настаивающие на непродуктивности концепта.

Конкретному кейсу в жанре исторической иконографии власти посвящена работа философа Дмитрия Попова (Омск). В ней исследователь анализирует визуальное измерение манифестации социального порядка на материале образов сотрудников правоохранительных органов (милиции и полиции) в отечественном кинематографе. Автор начинает свой разбор с представлений о полиции эпохи абсолютизма и заканчивает постсоветской динамикой «полицейской эстетики». Отмечается специфика киноизображения милиции в СССР в рамках соответствующего социального заказа на стыке усиления лояльности, развлечения и информирования массового зрителя о фактических носителях социального порядка. Отмечается радикальная семантическая инверсия полицейской иконографии в годы перестройки и после крушения советского проекта. Фиксируются заметные сдвиги в сторону нормализации образа сотрудника полиции в новейшем отечественном кино.

11

Переход к историко-социологической рефлексии телесного измерения модерна осуществляется в статье исследователя спорта Андрея Адельфинского (МГТУ). В ней автор апеллирует к личному опыту общения с видным британским социологом спорта Э. Даннингом, учеником и продолжателем дела классика исторической социологии Н. Элиаса. В материале реконструируется история Лестерской школы, оказавшей благодаря пионерским работам Элиаса и его единомышленников заметное влияние на мировую социологию спорта. Показана специфика интерпретации представителями данного направления процесса спортизации как важнейшего структурного элемента общемодернизационной логики. В тексте использованы фрагменты интервью с Э. Даннингом.

В раздел «Переводы» входят два материала — статья философа и культуролога Виталия Куренного об историзме как оригинальной дискурсивной формации в духовно-интеллектуальном ландшафте Германии XIX века и перевод на русский язык программного текста ведущего представителя немецкого историзма Леопольда фон Ранке. Как показывает исследователь, Ранке принципиально дистанцируется от дискредитированной философии истории Гегеля

и схожих форм рационализации исторического процесса. Л. фон Ранке и другие «истористские историки» (Я. Буркхардт, И.Г. Дройзен и др.) преодолевали историософский соблазн путем формирования эмпирически ориентированной историографии, опирающейся в первую очередь на данные источников. Значительное влияние этого направления испытала на себе не только собственно историческая наука в XIX веке, но и все отрасли тогдашнего социального и гуманитарного знания: правоведение, национальная экономия и даже теология. В качестве иллюстрации историцистской программатики в номер включено введение к лекционному курсу Ранке «Об эпохах новейшей истории». В рамках процесса радикальной историзации разума и исторической контекстуализации мысли о социальном на рубеже XIX–XX веков произошло конституирование социологии как формы рефлексии модерна о самом себе. С некоторыми методологическими проблемами историзма пришлось иметь дело еще Максу Веберу, чья исследовательская программа часто рассматривалась как радикализованный вариант историзма. Новая дисциплина унаследовала антиметафизический пафос историзма, попытавшись при этом разрешить другие его структурные проблемы (объективность социального знания, селективность отбора материала и т. п.).

12

В рецензионный раздел номера включены два материала, подготовленные социологами Ириной Троцук (РУДН) и Александром Никулиным (РАНХиГС). Первый из них является откликом на русский перевод книги «Капитализм без капитала: Подъем нематериальной экономики» Дж. Хаскела, С. Уэстлейка. Прежде чем перейти к разбору авторского аргумента, И. Троцук погружает проблематику нематериальных ресурсов в широкий историко-социологический контекст. Рецензентка подчеркивает эвристическую значимость такого рода расширения исследовательского инструментария социологии за счет включения в него нематериального измерения социальной жизни. А. Никулин посвящает свою статью историко-социологическим работам известного американского антрополога Джеймса Скотта. Рецензент помещает в центр внимания уникальную топику Дж. Скотта, систематически проблематизирующую структурный конфликт между городом и деревней как принципиально различных форм социального. Им отмечается парадоксальный характер анализа урбанистического развития человечества, осуществленный крестьяноведом Скоттом. Особенный интерес представляет завершающий рецензию русский сюжет в творчестве выдающегося ученого. Через его призму становится более понятным для отечественного читателя исследовательский пафос Дж. Скотта, в целом направленный против модернизаторского упрощения реальной социальной истории.

Кильдюшов Олег Васильевич — научный сотрудник Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ, ведущий научный редактор социологической редакции Большой Российской энциклопедии. Научные интересы: теория социального порядка, историческая социология модерна, политическая теология.

ORCID: 0000-0001-9801-1952. E-mail: kildyushov@mail.ru

Oleg V. Kildyushov — research fellow at the Centre for Fundamental Sociology, National Research University Higher School of Economics. Research interests: theory of social order, historical sociology of modernity, political theology.

ORCID: 0000-0001-9801-1952. E-mail: kildyushov@mail.ru

Статьи

Россия в перспективе исторической социологии: эвристические перспективы и методологические проблемы

Рекомендация для цитирования:

Дмитриев Т. А., Кильдюшов О. В.
(2024) Россия в перспективе исторической социологии: эвристические перспективы и методологические проблемы. *Социология власти*, 36 (3): 14-34
<https://doi.org/10.22394/2074-0492-2024-3-14-34>

For citations:

Dmitriev T. A., Kildyushov O. V.
(2024) Russia in the Perspective of Historical Sociology: Heuristic Perspectives and Methodological Problems. *Sociology of Power*, 36 (3): 14-34
<https://doi.org/10.22394/2074-0492-2024-3-14-34>

Поступила в редакцию: 02.08.2024;
прошла рецензирование:
23.09.2024; принята в печать:
01.10.2024
Received: 02.08.2024; Revised:
23.09.2024; Accepted for publication:
01.10.2024



This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

© 2024 by the authors.

ТИМОФЕЙ А. ДМИТРИЕВ

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Российская Федерация

ORCID: 0000-0001-7476-0983

ОЛЕГ В. КИЛЬДЮШОВ

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Российская Федерация

ORCID: 0000-0001-9801-1952

Тезисы данной статьи были представлены в одноименном докладе на секции «Прошлое как ресурс понимания настоящего: векторы исторической социологии в России», организованной авторами в рамках XIII Международной Грушинской социологической конференции «Переустройство мира: исследования (в) новой реальности» (Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 25 мая 2023 года).

Работа подготовлена в рамках исследовательского проекта «Большое пространство в постглобальную эпоху: империя и мировое общество как социологические феномены и темы дискурсивных формаций» (реализуется в 2024 году в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ).

Acknowledgements: The article was prepared within the framework of the research project «Large Space in the Post-Global Era: Empire and World Society as Sociological Phenomena and Themes of Discursive Formations» (is implemented in 2024 as part of the HSE Fundamental Research Program).

В статье обсуждается эвристический и методологический потенциал исторической социологии как одной из наиболее динамично развивающихся дисциплин современного социально-научного знания. Утверждается, что данное направление исследований функционально способно взять на себя сегодня роль аналитической философии истории в виде целостной и при этом операциональной рефлексии исторического опыта нашей страны. Указывается на дефицитарный характер предшествующих попыток концептуализации отечественного прошлого с точки зрения исторической социологии. Вначале кратко анализируется развитие этой дисциплины на Западе, начиная с классиков мировой социологии. Отмечается качественный и количественный рост там во второй половине 20 века историко-социологических исследований, приведший к значительному расширению объяснительного репертуара макросоциологии. Далее фиксируется амбивалентное положение исторической социологии в России, где, несмотря на наличие устойчивого интереса к ее методологическим подходам и содержательным результатам, до сих не произошла полноценная институционализация данной социологической дисциплины. Одновременно делается вывод о существовании в нашей стране серьезной традиции интереса к историко-социологическому синтезу, начиная с классиков историографии и пионеров российской социологии рубежа 19-20 веков. При этом отмечается значительный прогресс со стороны отечественного социально-научного сообщества в рецепции достижений мировой исторической социологии в начале 21 века. В следующем разделе подчеркивается особая актуальность современных историко-социологических подходов к проблематизации прошлого в условиях отечественной эпистемологической ситуации. Выделяется ряд тематических комплексов, наиболее перспективных в рамках современной российской академии. В завершении формулируется ряд рамочных исследовательских и научно-организационных задач, стоящих перед исторической социологией в России.

15

Ключевые слова: историческая социология, междисциплинарные исследования, история России, глобальная история, русская модернизация, множественные модерны

Russia in the Perspective of Historical Sociology: Heuristic Perspectives and Methodological Problems

Timofey A. Dmitriev

National Research University Higher School of Economics, Moscow,
Russian Federation

ORCID: 0000-0001-7476-0983

Oleg V. Kildyushov

National Research University Higher School of Economics, Moscow,
Russian Federation

ORCID: 0000-0001-9801-1952

The article discusses the heuristic and methodological potential of historical sociology as one of the most dynamically developing disciplines of modern social and scientific knowledge. It is argued that this area of research is functionally capable of taking on the role of today's analytical philosophy of history in the form of integrity and, at the same time, the operational reflection of the historical experience of our country. The article points out the deficient nature of previous conceptualizations of the domestic past from the point of view of historical sociology. First, the development of this discipline in the West is briefly analyzed, starting with the classics of world sociology. The qualitative and quantitative growth of historical and sociological research in the second half of the 20th century—which led to a significant expansion of the explanatory repertoire of macrosociology—is highlighted. Next, the ambivalent position of historical sociology in Russia is discussed, where—despite the existing interest in its methodological categories and substantive results—a full-fledged institutionalization of this sociological discipline has not yet occurred. Thus, a conclusion is made about the existence of a serious local tradition of interest in historical-sociological synthesis, starting with the classics of historiography and pioneers of Russian sociology at the turn of the 19th and 20th centuries. At the same time, substantial progress is highlighted on the part of the domestic social-scientific community in the reception of the achievements of world-historical sociology at the beginning of the 21st century. The next section shows the particular relevance of modern historical-sociological approaches to the problematization of the past in the context of the domestic epistemological situation. A number of the most promising thematic complexes in modern Russian academia are highlighted. In conclusion, we highlight issues concerning framework research and scientific organization faced by historical sociology in Russia.

Keywords: : historical sociology, interdisciplinary research, Russian history, global history, Russian modernization, multiple modernities

1. Общие замечания

Несмотря на устойчивый интерес к далекому и недавнему прошлому России, русский исторический опыт, включая катастрофический XX век, во многом остается неудовлетворительно осмысленным с социологической/социально-теоретической точки зрения вообще и недостаточно эксплицированным средствами исторической социологии в частности. В решении данной эвристической проблемы мало чем помогает резко увеличившееся число исследований отдельных кейсов и сюжетов, по-прежнему плохо складывающихся в цельную картину без прямого категориального насилия со стороны самих социальных ученых, часто пытающихся всеми правдами и неправдами уложить гетерогенные исторические феномены и разнонаправленные тенденции развития в рамки различных метанарративов (например, «догоняющее развитие», «запаздывающая модернизация») или же прибегающих к помощи сильных

объясняющих метафор (например, «особый путь», «историческая колея», «историческая ловушка»)¹. Не будет большим преувеличением сказать, что применяемая в данной ситуации методология обобщения отдельных, зачастую произвольно выбранных «прецедентных» случаев с целью экстраполяции их на другие исторические контексты вызывает серьезные сомнения. Не слишком способствуют целостному пониманию и аналитической экспликации опыта отечественного модерна искусственная интернационализация исследовательского дискурса и увлечение сравнительными подходами, как правило, заключающимися в повсеместном поиске институционального трансфера, культурно-семантических заимствований, различных пересечений и влияний². Еще более дискредитированным оказался альтернативный способ интерпретации в виде ложно понятого «цивилизационного подхода», который, как правило, находит свое выражение в объявлении отечественного исторического пути уникальным, самодостаточным и, по сути, не поддающимся социально-научным описаниям и объяснениям. Столь же неэффективным показали себя многочисленные попытки прямого заимствования моделей анализа прошлого, разработанных на материале исторического опыта других стран, причем как Запада (США, Европа), так и Востока (Китай, Япония).

17

Стоит ли говорить, что в прямой зависимости от избранной методологии последователи теории инвариантного развития в рамках глобальной истории человечества повсюду обнаруживают связи, сети и включенности, тогда как сторонники русской самобытности настаивают на существовании в прошлом России устойчивых властных структур и культурных образцов мышления и действия, не поддающихся экспликации путем исторических аналогий или поиска путей трансфера людей, идей и вещей. На фоне этого концептуального хаоса возникает потребность в аналитической метаинстанции для дискурсивно-структурирующей работы с опытом

- 1 Примером подобных подходов в актуальной отечественной литературе могут служить работы Дмитрия Травина, активно использующего семантику русской отсталости, более уместную для политической публицистики, нежели для серьезного социально-научного анализа. Сами названия последних работ Д. Травина — «Почему Россия отстала?» и «Русская ловушка» — указывают на идеологически мотивированную прагматику такого рода полемических высказываний либерального экономиста образца 1990-х, внешне стилизованных под академические труды в жанре исторической социологии [Травин 2021, 2023].
- 2 См. крайне редко встречающееся в нашей литературе продуктивное обсуждение проблематики и пределов межкультурного трансфера/адаптации в сборнике «Вводя нравы и обычаи Европейские в Европейском народе»: [Доронин 2008].

прошлого; на наш взгляд, на ее роль лучше всего подходит историческая социология, интегрирующая все достижения современного социального знания.

2. Состояние предметной области за рубежом

Блестящие образцы исследований в жанре исторической социологии можно найти уже у классиков: например, Макс Вебер, помимо собственно судьбы европейского рационализма, также анализировал путь к модерну в других культурных регионах мира, в том числе в США и России [Вебер 1990, 2007, 2020]¹. Можно назвать и других крупных социологов, совмещавших систематическое изучение обществ Нового времени с историко-типологическим подходом к их прошлому, и среди них — прежде всего Норберта Элиаса [Элиас 2001 (1939)], Йозефа Шумпетера [Шумпетер 1995 (1942)] и Карла Полаanyi [Полаanyi 2018 (1944)]. Однако лишь с пришедшимся на 1970-е гг. кризисом нормативных теорий модернизации, опиравшихся на восходящий к Парсонсу структурный функционализм, можно говорить о настоящем буме исследований в области исторической социологии на Западе [Штомпка 1996; Knöbl 2001]. Его предвестником обычно считают фундаментальную критику теоретической парадигмы модернизации у Баррингтона Мура [Мур 2016 (1966)], за которой последовали прорывные сравнительные исследования Чарльза Тилли [Тилли 2019 (1978)] и Теды Скочпол [Скочпол 2017 (1979)]. Следует упомянуть в этом контексте также влиятельные труды Энтони Гидденса [Giddens 1985] и Джона А. Холла [Hall 1985], равно как и известные сочинения Рэндалла Коллинза [Collins 1986], Майкла Манна [Mann 1988] и иных ученых, с большим успехом работающих в области исторической социологии. Из ранних представителей неовебериянской социологии можно выделить также работы Райнхарда Бендикса [Bendix 1974, 1978, 1984].

В 1990–2000-е гг. широкий резонанс в академических кругах получило многотомное исследование Майкла Манна «Источники

18

1 Пионерский характер работы М. Вебера даже дал некоторым современным исследователям повод утверждать, что «вся историческая социология — это всего лишь сноска к Макс Веберу» [Schützeichel 2009: 277]. Даже если в этом утверждении и содержится известное преувеличение, не подлежит сомнению тот факт, что неовебериянская историческая социология, прежде всего в лице таких авторов, как Штефан Бройер [Breuer 1991; Breuer 1994; Breuer 2006; Breuer 2011], Вильфрид Шпон (1944–2012) [Шпон 2014; Spohn 2008] и Гюнтер Рот (1931–2019) [Roth 1963; Roth, Schluchter 1979], занимает сегодня в дискурсивном пространстве исторической социологии одно из центральных мест.

социальной власти», посвященное теории и истории власти в человеческих обществах. Первый том вышел в 1986 году, заключительный четвертый, сконцентрированный на проблематике современного этапа глобализации, — в 2013-м. В нем он проследил историю мировых цивилизаций и империй от великих цивилизаций древности до современности через призму взаимодействия четырех кластеров социальной власти [Манн 2020 (1986); Манн 2018 (1993); Манн 2018 (2012); Манн 2018 (2013)]. Во вступительной главе первого тома «Источников социальной власти» [Манн 2020 (1986): 28–74] Манн предложил своим читателям теоретическую модель ИЭВП (по-английски — IEMP), которая представляет собой аббревиатуру от первых букв названий четырех источников социальной власти: идеологического, экономического, военного и политического. Отвергая понятие «общества» как унифицированной целостности, характерной для целого ряда направлений социально-теоретических (неомарксизм, структурный функционализм, структурализм, системная теория общества, миросистемный подход), Манн заменяет его теоретической моделью пересекающихся сетей социального взаимодействия, крупнейшими из которых являются сети идеологической, экономической, военной и политической власти в качестве источников социальной власти.

19

В 2010-е годы Манн создал целый ряд интересных работ, посвященных осмыслению трагического опыта «краткого» XX века. Если исследование «Фашисты» [Манн 2019 (2004)] представляет собой сравнительно-социологический анализ шести наиболее влиятельных движений фашистского толка в Европе межвоенного периода (1919–1939), то его работа «Темная сторона демократии» [Манн 2023 (2005)] посвящена истокам и механизмам этнических чисток в современную эпоху. Работает Манн также и в жанре, который немецкие социологи называют «диагнозом эпохи» (Zeitdiagnose)¹. К числу исследований, выполненных в этом ключе, можно отнести такие его работы, как «Непрочная империя» [Манн 2003], посвященную причинам заката имперской гегемонии США в современном мире, и «Власть в XXI веке» [Манн 2014 (2011)], представляющую собой анализ тенденций глобализации и контрглобализации начала XXI века с точки зрения разработанной Манном базовой теоретической модели многомерной власти.

Еще одно динамично развивающееся предметное поле современной исторической социологии представлено исследованиями по теории и истории «множественных модернов». Его зарождение

1 Об особенностях этого социально-научного жанра и его эвристическом потенциале см., в частности: [Junge 2016; Volkmann 2015].

связано с работами Шмуэля Н. Эйзенштадта, который начиная с 1950-х гг. предпринял примечательные попытки скорректировать господствующие теории модернизации посредством изучения опыта восточных имперских образований [Eisenstadt 1963], тематизации исторического значения «осевой эпохи» для развития классических цивилизаций и лежащих в их основе трансцендентных видений человеческой истории [Эйзенштадт 1992] и разработки на этой основе самой идеи «множественных модернов» [Eisenstadt 2000a]. По признанию самого Эйзенштадта, понятие множественных модернов «обозначает определенный взгляд на современный мир, на историю и характеристики современной эпохи, направленный против взглядов, долгое время преобладавших в научном и мировоззренческом дискурсе. Этот взгляд направлен против “классических” теорий модернизации и теорий конвергенции индустриальных обществ, популярных в 1950-е годы, равно как и против классического социологического анализа Маркса, Дюркгейма и в значительной степени Вебера. Все эти концепции основаны на предположении, что культурная программа модерна в том виде, в каком она получила развитие в Европе Нового и Новейшего времени, и базовые институциональные констелляции, возникшие здесь, в конечном счете получают преобладание во всех модернизирующихся и современных обществах» [Eisenstadt 2000b: 1]. Благодаря исследованиям Ш. Эйзенштадта в дискурсивном поле исторической социологии произошел поворот от сравнительного анализа институтов модерна к исследовательской программе сравнительного анализа мировых цивилизаций и империй, трансформировавшейся со временем в исследовательскую программу изучения множественных модернов. Сегодня в рамках парадигмы «множественных модернов» активно работают Йохан Арнасон [Арнасон 2021; Arnason 2002], Вольфганг Кнебль [Knöbl 2001] и многие другие социальные теоретики. В эристической прагматике данного понятия речь пойдет ниже.

Институционально историческая социология на Западе оформлена в виде профессиональных ассоциаций, специализированных исследовательских центров, учебных курсов и тематических журналов, ведущим из которых является выходящий с 1988 года *Journal of Historical Sociology*, который теперь называется *Sociology Lens*. В рамках Международной социологической ассоциации в 2000-е гг. была создана тематическая группа «Историческая и сравнительная социология» (первый председатель — Вильффрид Шпон), в дальнейшем преобразованная в исследовательский комитет «Историческая социология» (RC56 Historical Sociology). В его работе принимали активное участие уже упомянутые Й. Арнасон, В. Кнебль и др.

3. Историческая социология в России

Говоря о предшественниках дисциплины в России, часто называют имена великого историка В. О. Ключевского и ранних социологов М. М. Ковалевского, Н. И. Кареева и др. Однако профессиональные дореволюционные и советские историки могут быть причислены к ней скорее по общему интересу к «социологической части истории», говоря словами Ключевского, а не по самому предмету и методам исследования.

Подобные поиски истоков исторической социологии получили отражение в отечественной литературе. Это касается как обобщающих работ, так и отдельных исследований. Обзору отношения ведущих русских дореволюционных историков к социологии была посвящена отдельная глава в капитальном исследовании известного русского историка и социолога Н. И. Кареева [Кареев 1996: 183-184], посвященном истории русской социологии XIX–XX вв.¹ Там же можно найти сжатую, но емкую характеристику взглядов русских историков на социологические методы исследования прошлого.

Прочтение работ ведущих отечественных историков XIX — начала XX века (К. Д. Кавелина, А. Д. Градовского, С. М. Соловьева, В. О. Ключевского, М. М. Ковалевского, Н. И. Кареева, П. Н. Милюкова и др.) через призму исторически ориентированной социологии было предложено в начале 1990-х гг. А. Н. Медушевским [Медушевский 1993], а также Н. В. Романовским в его обобщающей работе по исторической социологии [Романовский 2009: 103-132], причем в последней работе рассматриваются не только дореволюционный, но и советский и постсоветский этапы развития социально-научной мысли в России с точки зрения тех трудов и исследований, которые можно отнести к дискурсивному пространству исторической социологии. В 2015 году было опубликовано учебное пособие М. М. Крома «Введение в историческую компаративистику» [Кром 2015], значительная часть которого посвящена обзору развития исторической социологии на Западе, а также истории и актуальному состоянию сравнительно-исторических и историко-социологических исследований в России. Среди отдельных исследований можно отметить работу А. С. Попова «Истоки исторической социологии В. О. Ключевского» [Попов 2012], в которой автор рассматривает корни российской исторической социологии в работах великого историка, в рамках его подхода к изучению происхождения и раз-

¹ Данное исследование было написано автором еще в 1920-е гг., но опубликовано только в 1996 г.

вития человеческих обществ. К тому же именно в лекциях Ключевского впервые появился сам термин «историческая социология», по крайней мере в России. Помимо данной работы, следует упомянуть работу А. В. Богданова «Социологические идеи П. Я. Чаадаева и современность» [Богданов 2012], которая также фокусируется на исторических корнях российской исторической социологии, а именно на творчестве П. Я. Чаадаева.

В современной России историческая социология в узком смысле представлена несколькими энтузиастами, пытающимися в индивидуальном порядке популяризировать сравнительно-социологический подход к анализу исторического прошлого. При этом их усилия в основном направлены не столько на оригинальные исследования русского и мирового исторического опыта, сколько на более или менее адекватную рецепцию идей западных коллег. В качестве наиболее известных представителей можно назвать главного научного сотрудника Института социологии РАН Н. В. Романовского, автора опубликованного в 2003 году обзора «Историческая социология в России: ретроспектива и горизонты» [Романовский 2003], а также вышеупомянутой обзорной работы 2009 года по исторической социологии М. В. Масловского (Социологический институт РАН, Санкт-Петербург) и Н. С. Розова (НГУ, Новосибирск). Во многом благодаря их трудам целый ряд базовых сочинений данной традиции уже введен в русскоязычный научный оборот [Арнасон 2021; Голдстоун 2014; Коллинз 2015; Скочпол 2017]. Отдельно следует сказать о некоторых отечественных социальных историках, среди которых особенно выделяются работы Б. Н. Миронова — автора единственного отечественного учебника по исторической социологии: «Историческая социология России» [Миронов 2017], исторических демографах [Вишневский 2010] и даже историософах [Ахиезер 1991], иногда также относимых к данной дисциплине. Одним из редких примеров конкретного исследования, выполненного в жанре историко-социологического исследования, можно считать работу А. Л. Андреева, посвященную модернизации российского образования [Андреев 2011].

Большое значение имела также деятельность профессора Георгия Дерлугьяна (в настоящее время — профессор Нью-Йоркского университета Абу-Даби) по популяризации актуальных идей исторической социологии в российском социально-научном и гуманитарном сообществе. Под его редакцией или с его предисловиями за последние два десятилетия был издан целый ряд переводных классических работ по исторической социологии [Андерсон 2007; Лахман 2010; Манн 2020; Тилли 2009]. Кроме того, ему принадлежит большое исследование, посвященное анализу последнего этапа существования СССР в мир-системной перспективе с использова-

нием актуальных теоретических моделей и методологических подходов исторической социологии [Дерлугьян 2010].

Несмотря на все эти несомненные достижения, приходится признать, что характерной чертой сегодняшнего этапа развития исторической социологии в России является низкий уровень ее институционализации. Об этом свидетельствует прежде всего то, что помимо отдельных авторов-энтузиастов и принадлежащих им публикаций, в нашей стране пока нет ни профильных исследовательских структур, ни специализированных изданий, ни регулярных тематических конференций, посвященных исследованиям в рамках столь перспективной социально-научной дисциплины.

4. Актуальность исторической социологии для русской исследовательской ситуации

Необходимость поиска более операциональных языков и более комплексных методов для социально-научной проблематизации отечественной ситуации связана с принципиальной социологической недоконцептуализированностью русской истории и культуры Нового и Новейшего времени. Мало того что нынешняя ситуация семантической и символической разорванности имперского, советского и постсоветского нарративов выглядит как непреодолимая для традиционных подходов, не опирающихся на ресурс современного социально-теоретического знания (макросоциология, историческая социология, культурная антропология и др.). Потребность в создании соответствующей аналитической метаинстанции напрашивается еще и потому, что по вполне понятным причинам многие рубежные моменты в истории русского, советского и постсоветского опыта российского модерна оказались вне зоны внимания западной исторической макросоциологии или же просто неудачно разработаны ею уже в силу отсутствия прямого доступа к этому опыту даже у самых выдающихся исследователей (М. Манн, Т. Скочпол, Ч. Тилли и др.). При конструировании подобной аналитической метаинстанции необходимо учитывать то отмеченное Петером Вагнером важное обстоятельство, что «преобладающая в том или ином регионе интерпретация модерна всегда оказывается результатом исторического опыта и его интерпретации» [Вагнер 2019: 225]. Не менее проблематичным для национально-ориентированной традиции предстает вызов со стороны бурно развивающейся «глобальной истории». Представляется, что без применения историко-социологического и сравнительно-социологического подходов ко многим структурным проблемам больших обществ невозможно преодолеть провинциальный и узкодисциплинарный уклон при выработке базового словаря описания собственного и чужого опыта. В немалой степени это касается,

например, института господства или общей структуры социального действия в условиях конкретного типа культуры, т.е. современной «агентности» и ее национальной специфики. Не менее амбициозной выглядит задача разработки нормативно-типизирующих моделей социальности для стран, традиционно являющихся референтными для России в плане сравнения траекторий их политического, социально-экономического и культурного развития¹.

В силу многих резонансов методологического и содержательного плана наиболее подходящим эвристическим ресурсом для такого рода научной, образовательной и просветительской работы с «непредсказуемым прошлым» нашей страны и включения его в глобальный контекст является именно историческая социология, ориентированная на классические образцы. В качестве примера здесь опять-таки можно указать на масштабный сравнительно-социологический проект Макса Вебера по исследованию духовных традиций таких разных культурных регионов, как Европа, Китай, Индия и Израиль. При этом веберовская макросоциология не только обладает колоссальным собственным когнитивным потенциалом², но и способна продуктивно интегрировать достижения других аналитических подходов, прежде всего разрабатываемых в рамках концепции множественных модернов.

24

Если в свое время для Макса Вебера было вполне естественно говорить о себе как о «сыне современного европейского культурного мира» [Weber 2016: 101], то ныне подобные самохарактеристики, сделанные от первого лица и в единственном числе, давно вышли из моды. Хотя понятия «модерн» и «культура» продолжают сегодня активно использоваться в дискурсе социальных и гуманитарных наук, их, как правило, принято употреблять не в единственном, а во множественном числе. По этой причине социологи-теоретики рассуждают теперь о множественной современности или множественных модернах, а историки — о «множественных глобализациях» (*multiple globalisations*) и о «глобальной истории» (*global history*) [Hübinger 2020: 3].

Тема множественных модернов в последние десятилетия недаром властно заявила о себе в социальных науках. Сама кристаллизация данной проблематики служит ярким свидетельством осознания современными учеными и интеллектуалами того, что исторический процесс не имеет какой-то одной, «царской» колеи, но что пути

1 О понятии и значении референтных стран/обществ и их «демонстрационных последствиях» для других стран/обществ в исторической социологии см.: [Bendix 1984: 115 и далее].

2 О парадигме Вебера в современной макросоциологии см.: [Albert 2009].

к модерну могут принимать самые разные, порой довольно причудливые и драматические траектории. Не менее важным для этой исследовательской перспективы — как эвристически, так и политически — является также признание существования различных моделей общества и культуры модерна, сильно отличающихся друг от друга как в содержательном, так и в структурном плане.

Как известно, в XX веке оформились три доминирующих модели модерна: западноевропейская, американская и советская. Несмотря на то что советская версия, будучи модерном без гражданского общества [Козлова 2005], стоит несколько особняком по отношению к западным моделям общества и культуры, ее исторический опыт представляет собой важный, а по целому ряду аспектов — просто бесценный материал для изучения глобальных политических, социальных и культурных трансформаций современной эпохи. Однако полноценное изучение опыта советского модерна на различных этапах его исторической эволюции может быть продуктивным лишь в перспективе сравнительно-исторической социологии, принимающей во внимание как опыт западных версий модерна, так и особенности революционных процессов на Глобальном Юге и Востоке в XX веке. Такое расширение и углубление теоретической перспективы позволяет включить многие события и явления русской, советской и постсоветской истории в глобальный контекст, дающий возможность понять многомерный опыт отечественного модерна как неотъемлемую часть современного мира.

5. Базовые задачи, стоящие перед исторической социологией в России

Важнейшая содержательная задача, стоящая перед отечественной исторической социологией, связана с формированием социально-теоретической рамки для макросоциологической экспликации прошлого и настоящего России в сравнительном контексте глобальной истории. Существующий в имплицитном виде запрос на такого рода артикуляцию русского имперского, советского и постсоветского опыта может быть успешно реализован при помощи инструментов современной исторической социологии, использующей познавательные ресурсы политической теории, социальной антропологии и междисциплинарных исследований советского (Soviet Studies). В отличие от сложившихся подходов, в которых традиционно доминируют узкие специалисты в отдельных дисциплинах, при историко-социологическом подходе изучение конкретных кейсов исторического опыта или социального настоящего, и в том числе многих аспектов советской модернизации и ее постсоветских последствий,

помещается в максимально широкую теоретическую перспективу. Расширение эвристической оптики в рамках сравнительной социологии культуры позволяет более комплексно рассматривать такие структурные проблемы, как социальное действие и социальный порядок, политическое господство и групповые лояльности, коллективные общности и персональные идентичности и т.п. Повышенное внимание именно к этим вопросам составляет специфическую особенность данной исследовательской программы, в основе которой лежит стремление соединить микроисторическую и социально-антропологическую аналитику практик повседневности с такими фундаментальными вопросами макросоциологии, как проблема институционального устройства социальных, когнитивных и жизненных порядков, а также влияние символически оформленных и транслируемых при помощи средств коммуникации религиозных, культурных и идеологических ориентаций на индивидуальное и коллективное социальное действие.

26

История России практически на всех ее этапах так или иначе была тесно связана с проблемой создания, приращения и распада, устройства и переустройства больших имперских пространств, поэтому в рамках исторической социологии особое значение приобретает изучение инфраструктуры власти на территории этого то расширяющегося, то сужающегося имперского пространства. Выражаясь словами М. Манна, необходимо понять, «как организации власти покоряют и контролируют географические и социальные пространства» [Манн 2020 (1986): 40] и как в подобных организационных усилиях находит свое выражение способность власти в ее различных измерениях «организовывать и контролировать людей, материалы и территории» [Манн 2020 (1986): 30]. Такая стратегия анализа и толкования требует обращения к более широким международным и геостратегическим контекстам, то есть помещению истории России как «могущественного континентального государства» имперского типа [Семенов-Тянь-Шанский 1915] в более масштабную систему координат, отсылающую к истории мировых порядков, империй и систем государств, их возникновения и крушения, и анализа этих международных, всемирно-исторических и геополитических констелляций с позиций исторической социологии.

Понятно, что за рамочными исследованиями нередко трагического опыта русского модерна и его влияния на судьбы современного мира и нашей собственной страны должны последовать эмпирически-ориентированные работы, посвященные конкретным кейсам и сюжетам. Здесь объектом исследования могут стать как конкретные социальные, экономические, политические и культурные институты, практики, формы жизни и символические

системы легитимации, так и различные виды жизненного опыта, а также языки (само)описания, истолкования и объяснения, в том числе и самих социальных наук, нацеленных на социально-научное познание современного мира. Сюда, в частности, следует отнести такие основополагающие социокультурные феномены, как война и организованное насилие, базовые социальные и культурные практики, в том числе идентитарные, нормативную коллективную идентичность, вопросы телесности в условиях модерна и процессы спортизации, символические репрезентации, кейсы визуальной антропологии и т.д.

При этом было бы целесообразно исходить из того, что соответствующие историко-социологические исследования не станут ограничиваться исключительно познавательным интересом, но вместе с тем будут иметь ярко выраженную просветительскую и даже социально-терапевтическую прагматику. В этом смысле историко-социологические исследования могут отчасти выполнять функции аналитической философии истории и позволяют из новой перспективы оценить, какие аспекты имперского/советского/российского модерна способны стать ресурсом развития в XXI веке, а с какими конкретно-историческими формами этого опыта было бы предпочтительно расстаться.

27

Другими задачами отечественной исторической социологии могут стать:

- анализ предметного поля сравнительно-исторической социологии, с акцентом на критическую адаптацию концепции множественных модернов к русскому опыту;
- составление словаря русского модерна и его сопоставление с нормативными описаниями, сложившимися в референтных для нашего отечества обществах и культурах;
- мониторинг глобального ландшафта русских и советских исследований в перспективе сравнительно-исторической социологии;
- введение — вполне просвещенческое по своей интенции — в российский научный оборот классических и новейших текстов исторической социологии, начиная с фундаментальных работ Макса Вебера, все еще недоступных широкому отечественному читателю.

Интенсификация в России сравнительно-социологических исследований общества и культуры отечественного модерна позволит не просто институционализировать еще один метод для комплексного изучения имперского, советского и постсоветского опыта в глобальном контексте, но и выработать принципиально открытую исследовательскую перспективу, находящуюся на пересечении общесоциологического, специально историко-социологического и других смежных подходов. Освоение современных макросоцио-

логических подходов позволит ввести в российский научный оборот важный сегмент актуального языка социальных описаний. Говоря словами Энтони Гидденса, в рамках двойной герменевтики, предполагающей проникновение продуктов социологической рефлексии в обыденный язык и массовое сознание [Гидденс 2003], достигнутые в области исторической социологии результаты исследований будут способствовать приращению актуального социально-теоретического знания как в российской научной среде, так и в широких кругах общественности, интересующейся проблемами отечественной и мировой истории.

Стоит ли говорить, что решение этих и целого ряда иных методических и содержательных задач возможно лишь посредством институционализации исторической социологии в России в качестве общепризнанной академической дисциплины. Только создание соответствующей научной инфраструктуры в виде специализированных центров компетенций (институтов, кафедр, журналов) позволит перенести фокус с общетеоретической рефлексии над прошлым в практическое русло конкретных историко-социологических исследований конкретных предметных полей и проблемных кейсов.

28

Библиография / References

Айзенштадт Ш. Н. (1992) «Осевая эпоха»: возникновение трансцендентных видений и подъем духовных сословий. *Ориентация — поиск. Восток в теории и гипотезах: Сборник статей*. М.: Наука; Издательская фирма «Восточная литература»: 42—62.

— Eisenstadt S. N. (1992) The Axial Age: The Emergence of Transcendental Visions and the Rise of Clerics. In: *Orientation — Search. The East in Theory and Hypotheses: A Collection of Articles*. Moscow: Nauka; «Vostochnaja literatura»: 42—62. — in Russ.

Андерсон П. (2007) *Переходы от античности к феодализму*. М.: Издательский дом «Территория будущего». EDN: QRHNYZ

— Anderson P. (2007) *Passages from Antiquity to Feudalism*. Moscow: «Territorija budushhego». — in Russ.

Андреев А. Л. (2011) О модернизации образования в России. Историко-социологический анализ. *Социологические исследования*, (9): 111—120. EDN: OGBDTL

— Andreev A. L. (2011) On the Modernization of Education in Russia. Historical and sociological analysis. *Sotsiologicheskie issledovaniya* [Sociological Studies], (9): 111—120. — in Russ.

Арнасон Й. (2021) *Цивилизационные паттерны и исторические процессы*. М.: Новое литературное обозрение. EDN: OMAUNS

— Arnason J. P. (2021) *Civilizational Patterns and Historical Processes*. Moscow: Novoe Literaturnoe Obzrenie. — in Russ.

Ахиезер А. С. (1991) *Россия: критика исторического опыта (социокультурная динамика России)*. М.: Философское общество СССР.

— Ahiezer A. S. (1991) *Russia: The Critique of Historical Experience (Socio-cultural Dynamics of Russia)*. Moscow: Filosofskoe obshchestvo SSSR. — in Russ.

Богданов А. В. (2012) Социологические идеи П. Я. Чаадаева и современность. *Власть*, (5): 49–52. EDN: OXSZQN

— Bogdanov A. V. (2012) Chaadaev's sociological ideas and modernity. *Vlast [Power]*, (5): 49–52. — in Russ.

Вагнер П. (2019) Макс Вебер и модерн в XXI веке. *Социологическое обозрение*, 18(4): 212–230. EDN: TWUADT. <https://doi.org/10.17323/1728-192x-2019-4-212-230>

— Wagner P. (2019) Max Weber and the Modernity of the XXI Century. *Sociologicheskoe obozrenie [Russian Sociological Review]*, 18(4): 212–230. — in Russ. <https://doi.org/10.17323/1728-192x-2019-4-212-230>

Вебер М. (1990) *Избранные произведения*. М.: Прогресс. EDN: SGUYOR

— Weber M. (1990) *Selected Works*. Moscow: Progress. — in Russ.

Вебер М. (2007) *О России*. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2007.

— Weber M. (2007) *On Russia*. Moscow: ROSSPEN. — in Russ.

Вебер М. (2020) Отношения аграрной общности к другим отраслям социальной науки. *Социологическое обозрение*, 19(2): 46–75. EDN: ILROWW. <https://doi.org/10.17323/1728-192X-2020-2-46-75>

— Weber M. (2020) The Relations of Rural Community to Other Branches of Social Science. *Sociologicheskoe obozrenie [Russian Sociological Review]*, 19(2): 46–75. <https://doi.org/10.17323/1728-192X-2020-2-46-75>. — in Russ.

Вишневецкий А. Г. (2010) *Серп и рубль: Консервативная модернизация в СССР*. 2-е изд. М.: ГУ-ВШЭ. EDN: QPOVWV

— Vishnevskij A. G. (2010) *Sickle and Ruble: The Conservative Modernization in the USSR*. 2nd ed. Moscow: Izdatel'skij dom Vyshej shkoly jekonomiki. — in Russ.

Гидденс Э. (2003) *Устроение общества: Очерк теории структуризации*. М.: Академический проект. EDN: QOBZKN

— Giddens A. (2003) *The Constitution of Society*. Moscow: Akademicheskij proekt. — in Russ.

Голдстоун Дж. (2014) *Почему Европа? Возвышение Запада в мировой истории, 1500–1850*. Пер. с англ. М. Рудакова, И. Кушнаревой. М.: Изд-во Института Гайдара.

— Goldstone J. (2014) *Why Europe? The Rise of the West in World History, 1500–1850*. Moscow: Izdatel'stvo Instituta Gajdara. — in Russ.

Дерлугьян Г. (2010) *Адепт Бурдьё на Кавказе. Эскизы к биографии в миросистемной перспективе*. М.: Издательский дом «Территория будущего». EDN: QPOMRP

— Derlugian G. (2010) *Bourdieu's Secret Admirer in the Caucasus: A World-System Biography*. Moscow: Izdatel'skij dom «Territorija budushhego». — in Russ.

Доронин А. В. (отв. сост.) (2008) «Вводя нравы и обычаи Европейские в Европейском народе». М.: РОССПЭН. EDN: QCDVFH

— Doronin A. V., ed. (2008) *“Introducing European customs and customs in the European people”*. Moscow: ROSSPEN. — in Russ.

Кареев Н. И. (1996) *Основы русской социологии*. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха.

— Kareev N. I. (1996) *The Basics of Russian Sociology*. Sankt-Petersburg: Izdatel'stvo Ivana Limbaha. — in Russ.

Козлова Н. Н. (2005) *Советские люди. Сцены из истории*. М.: Европа. EDN: QPBQYH

— Kozlova N. N. (2005) *The Soviet People. Scenes from History*. Moscow: Европа. — in Russ.

Коллинз Р. (2015) *Макроистория: Очерки социологии большой длительности*. Пер. сангл. Н. С. Розова. М.: УРСС; ЛЕНАНД. EDN: USHTOX

— Collins R. (2015) *Macrohistory. Essays in the Sociology of the Long Run*. Moscow: URSS; LENAND. — in Russ.

Кром М. М. (2015) *Введение в историческую компаративистику: Учебное пособие*. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге. EDN: YWOTRW

— Krom M. M. (2015) *An Introduction to Historical Comparative Studies: A Study Guide*. Sankt-Petersburg: Izdatel'stvo Evropejskogo universiteta v Sankt-Peterburge. — in Russ.

30 Манн М. (2014) *Власть в XXI столетии: беседы с Джоном А. Холлом*. М.: Изд. дом Высшей школы экономики. EDN: XVNFPF. <https://doi.org/10.17323/978-5-7598-1725-3>

— Mann M. (2014) *Power in the 21st Century. Conversations with John A. Hall*. Moscow: Izdatel'skij dom Vysshej shkoly jekonomiki. — in Russ. <https://doi.org/10.17323/978-5-7598-1725-3>

Манн М. (2020) *Источники социальной власти: в 4 т. Т. 1: История власти от истоков до 1760 г. 2-е изд., испр. и доп.* М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС.

— Mann M. (2020 [1986]) *The Sources of Social Power. Volume 1: A History from the Beginning to 1760 AD*. Moscow: Izdatel'skij dom «Delo». — in Russ.

Манн М. (2018) *Источники социальной власти: в 4 т. Т. 2: Становление классов и наций-государств, 1760—1914. В 2-х книгах.* М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС. EDN: QSXQOK

— Mann M. (2018 [1993]) *The Sources of Social Power. Volume 2: The Rise of Classes and Nation-States, 1760-1914*. Moscow: Izdatel'skij dom «Delo». — in Russ.

Манн М. (2018) *Источники социальной власти: в 4 т. Т. 3: Глобальные империи и революция, 1890—1945.* М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС. EDN: PBFCSMN

— Mann M. (2018 [2012]) *The Sources of Social Power. Volume 3: Global Empires and Revolution, 1890—1945*. Moscow: Izdatel'skij dom «Delo». — in Russ.

Манн М. (2018) *Источники социальной власти: в 4 т. Т. 4: Глобализации, 1945—2011.* М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС. EDN: KRHAPJ

— Mann M. (2018 [2013]) *The Sources of Social Power. Volume 4: Globalizations, 1945—2011*. Moscow: Izdatel'skij dom «Delo». — in Russ.

Манн М. (2019) *Фашисты*. М.: Пятый Рим.

— Mann M. (2019) *The Fascists*. Moscow: Pjatyj Rim. — in Russ.

Манн М. *Темная сторона демократии*. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2023.

— Mann M. (2023) *The Dark Side of Democracy*. Moscow: Izdatel'skij dom «Delo». — in Russ.

Медушевский А. Н. (1993) *История русской социологии*. М.: Высшая школа. EDN: PYIQDN

— Medushevskij A. N. (1993) *The History of Russian Sociology*. Moscow: Vysshaja shkola. — in Russ.

Миронов Б. Н. (2017) *Историческая социология России*. М.: Издательство ЮРАЙТ. EDN: ZTAVTZ

— Mironov B. N. (2017) *The Historical Sociology of Russia*. Moscow: URAIT. — in Russ.

Мур Б. (2016) *Социальные истоки демократии и диктатуры. Роль помещика и крестьянина в создании современного мира*. М.: Изд. дом Высшей школы экономики.

— Moore B. Jr. (2016 [1966]) *Social Origins of Dictatorship and Democracy. Lord and Peasant in the Making of the Modern World*. Moscow: Izdatel'skij dom Vyshej shkoly jekonomiki. — in Russ.

Поланьи К. (2018) *Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени*. СПб.: Алетейя, 2018.

— Polanyi K. (2018) *The Great Transformation*. Sankt-Petersburg: Aletejja. — in Russ.

31

Попов А. С. (2012) Истоки исторической социологии В. О. Ключевского. *Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В. Г. Белинского*, (28): 58—61. EDN: PJEQRN

— Popov A. S. (2012) The Origins of V. O. Klyuchevsky's Historical Sociology. *Izvestija Penzenskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. V. G. Belinskogo* [Proceedings of the Penza State Pedagogical University named after V. G. Belinsky]. No. 28: 58—61. — in Russ.

Романовский Н. В. (2003) Историческая социология в России: ретроспектива и горизонты. *Россия и современный мир*, (1): 57—75. EDN: VJIPNX

— Romanovskiy N. V. (2003) Historical Sociology in Russia: a Retrospective and Horizons. *Rossiya i sovremennyy mir* [Russia and the Contemporary World]. No. 1: 57—75. — in Russ.

Романовский В. Н. (2009) *Историческая социология*. М.: Канон+. EDN: REHAPB

— Romanovskiy N. V. (2009) *Historical Sociology*. Moscow: Kanon+. — in Russ.

Семенов-Тянь-Шаньский В. (1915) *О могущественном территориальном владении применительно к России. Очерк по политической географии*. Петроград: Типография М. М. Стасюлевича.

— Semenov-Tyan-Shan'skij V. (1915) *About the powerful territorial possession in relation to Russia. An essay on political geography*. Petrograd: Tipografiya M. M. Stasyulevicha. — in Russ.

Скочпол Т. (2017) *Государства и социальные революции: сравнительный анализ Франции, России и Китая*. Пер. с англ. С. Моисеева. М.: Изд-во Института Гайдара, 2017.

— Scocpol T. (2017 [1979]) *States and Social Revolutions. A Comparative Analysis of France, Russia and China*. Moscow: Izdatel'stvo Instituta Gajdara. — in Russ.

Тилли Ч. (2019) *От мобилизации к революции*. М.: Изд. дом Высшей школы экономики.

— Tilly Ch. (2019 [1978]) *From Mobilization to Revolution*. Moscow: Izdatel'skij dom Vysshej shkoly jekonomiki. — in Russ.

Травин Д. Я. (2021) Почему Россия отстала? СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге.

— Travin D. Y. (2021) *Why has Russia lagged behind?* Sankt-Petersburg: Izdatel'stvo Evropejskogo universiteta v Sankt-Peterburge. — in Russ.

Травин Д. Я. (2023) *Русская ловушка*. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге.

— Travin D. Y. (2023) *The Russian Trap*. Sankt-Petersburg: Izdatel'stvo Evropejskogo universiteta v Sankt-Peterburge. — in Russ.

Шпон В. (2014) Историческая и сравнительная социология в глобальном мире. *Журнал социологии и социальной антропологии*, (2): 55–69. EDN: SIZRSN

— Spohn W. (2014) Historical and Comparative Sociology in a Globalizing World. *Zhurnal sociologii i social'noi antropologii* [The Journal of Sociology and Social Anthropology]. Vol. 17. No. 2: 55–69. — in Russ.

32

Штомпка П. (1996) *Социология социальных изменений*. М.: Аспект-Пресс.

— Sztompa P. (2016) *The Sociology of Social Change*. Moscow: Aspekt-Press. — in Russ.

Шумпетер Й. (1995) *Капитализм, социализм и демократия*. М.: Экономика.

— Schumpeter Y. A. (1995 [1942]) *Capitalism, Socialism and Democracy*. Moscow: Jekonomika. — in Russ.

Элиас Н. (2001) О процессе цивилизации. Пер. с нем. А. М. Руткевича. В 2-х т. СПб.; Иерусалим: Университетская книга; Гешарим.

— Elias N. (2001 [1939]) *The Civilizing Process*. In 2 vol. Sankt-Petersburg; Jerusalem: Universitetskaja kniga; Gesharim. — in Russ.

Яницкий О. Н. (2009) Историческая социология: поиск истины. *Социологические исследования*, (6): 142–148. EDN: KHQVVT

— Janickij O. N. (2009) Historical Sociology: The Search of Truth. *Sotsiologicheskie issledovaniya* [Sociological Studies], (6): 142–148. — in Russ.

Albert G. (2009) Weber-Paradigma. In: Kneer G., Schroer M. (eds) *Handbuch Soziologische Theorien*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften: 517–554.

Arnason J. P. (2002) *The Peripheral Centre: Essays on Japanese History and Civilization*. Melbourne: Trans Pacific Press.

Bendix R. (1974) *Work and Authority in Industry. Ideologies of Management in the Course of Industrialization*. Berkeley: University of California Press.

Bendix R. (1978) *Kings or people: Power and the Mandate to Rule*. Berkeley: University of California Press.

- Bendix R. (1984) *Force, Fate and Freedom: On Historical Sociology*. Berkeley (Los Angeles): University of California Press.
- Breuer S. (1991) *Max Webers Herrschaftssoziologie*. Frankfurt a. M.; N. Y.: Campus.
- Breuer S. (1994) *Bürokratie und Charisma. Zur politischen Soziologie Max Webers*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Breuer S. (2006) *Max Weber tragische Soziologie. Aspekte und Perspektiven*. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Breuer S. (2011) *"Herrschaft" in der Soziologie Max Webers*. Wiesbaden: Harrassowitz.
- Collins R. (1986) *Weberian Sociological Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Eisenstadt S. N. (1963) *The Political System of Empires*. New York: The Free Press of Glencoe.
- Eisenstadt S. N. (2000a) *Die Vielfalt der Moderne*. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.
- Eisenstadt S. N. (2000b) Multiple Modernities. *Daedalus*. 129(1): 1–29. <https://www.jstor.org/stable/20027613>
- Giddens A. (1985) *The Nation-State and Violence*. Cambridge: Polity Press.
- Hall J. A. (1985) *Powers and Liberties: The Causes and Consequences of the Rise of the West*. Oxford: Basil Blackwell.
- Hübinger G. (2019) *Max Weber. Stationen und Impulse einer intellektuellen Biographie*. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Junge M. (2016) Zeitdiagnose als Chance der Soziologie. In: Junge M. (ed.) *Metaphern soziologischer Zeitdiagnosen*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften: 51–60. https://doi.org/10.1007/978-3-658-07080-9_4
- Kalberg S. (1984) *Max Weber's Comparative-Historical Sociology*. Cambridge: Polity Press.
- Knöbl W. (2001) *Spielräume der Modernisierung*. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.
- Mann M. (1986) *The Sources of Social Power. Volume I: A History from the Beginning to 1760 AD*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mann M. (1988) *States, War and Capitalism. Studies in Political Sociology*. Oxford: Blackwell.
- Mann M. (2003) *Incoherent Empire*. L.: Verso.
- Romanovskiy N. V. (2018) Historical sociology in Russia. *Historická sociologie*, 10 (1): 93–105. <https://doi.org/10.14712/23363525.2018.40>
- Roth G. (1963) *The Social Democrats in Imperial Germany. A Study in Working-Class Isolation and National Integration*. Totowa: Bedminster Press.
- Roth G., Schluchter W. (1979) *Max Weber's Vision of History. Ethics and Methods*. Berkeley: University of California Press.
- Schützeichel R. (2009) Neue Historische Soziologie. In: Kneer G., Schroer M. (eds) *Handbuch Soziologische Theorien*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften: 277–298. https://doi.org/10.1007/978-3-531-91600-2_14
- Spohn W. (2008) *Politics and Religion in a Globalizing World*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Volkmann U. (2015) Soziologische Zeitdiagnostik. Eine wissenssoziologische Ortbestimmung. *Soziologie*, 44(2): 139–152.

Weber M. (2016) *Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus. Schriften 1904–1920*. Hrsg. von W. Schluchter. Tübingen: Mohr Siebeck. (Max Weber-Gesamtausgabe. Band I/18).

Дмитриев Тимофей Александрович — кандидат философских наук, доцент факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. Научные интересы: история политической философии Запада Нового и Новейшего времени, историческая социология модерна, культурно-историческая антропология.

ORCID: 0000-0001-7476-0983. E-mail: tdmitriev@hse.ru

Timofey A. Dmitriev — Cand. Sci. (Philosophy), Associate Professor, National Research University Higher School of Economics, Faculty of Humanities, Moscow, Russia. Research interests: history of Western modern and contemporary political thought, historical sociology of modernity, cultural and historical anthropology.

ORCID: 0000-0001-7476-0983. E-mail: tdmitriev@hse.ru

34

Кильдюшов Олег Васильевич — научный сотрудник Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ, ведущий научный редактор социологической редакции Большой Российской энциклопедии. Научные интересы: теория социального порядка, историческая социология модерна, политическая теология.

ORCID: 0000-0001-9801-1952. E-mail: kildyushov@mail.ru

Oleg V. Kildyushov — research fellow at the Centre for Fundamental Sociology, National Research University Higher School of Economics. Research interests: theory of social order, historical sociology of modernity, political theology.

ORCID: 0000-0001-9801-1952. E-mail: kildyushov@mail.ru

Как можно понимать и как тогда практиковать историческую социологию

ДМИТРИЙ Ю. КАРАСЕВ

Независимый исследователь, Москва, Российская Федерация

ORCID: 0000-0002-0403-9370

Рекомендация для цитирования:

Карасев Д. Ю. (2024) Как можно понимать и как тогда практиковать историческую социологию. *Социология власти*, 36 (3): 35-59
<https://doi.org/10.22394/2074-0492-2024-3-35-59>

For citations:

Karasev D. Yu. (2024) How Historical Sociology Can Be Taken and How Then It Should Be Practiced. *Sociology of Power*, 36 (3): 35-59
<https://doi.org/10.22394/2074-0492-2024-3-35-59>

Поступила в редакцию: 01.08.2024; прошла рецензирование: 11.09.2024; принята в печать: 18.09.2024
 Received: 01.08.2024; Revised: 11.09.2024; Accepted for publication: 18.09.2024



This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

© 2024 by the author.

Эссе предлагает авторское понимание исторической социологии, а также производное от него мнение о том, как практиковать историческую социологию. Для возникновения исторической социологии на почве американской интеллектуальной традиции были необходимы: во-первых, преодоление «историософского внеисторизма» классической социологии и антиисторической установки эмпирической социологии в США. Во-вторых, возникновение в Европе под воздействием Первой мировой войны «социальной истории» и отказ социальной науки от идеи прогресса в ее эволюционной и революционной интерпретациях. Эссе подробно останавливается на особенностях «новой исторической науки» по сравнению с традиционной, сходствах и различиях социальной истории и исторической социологии. Социальная история рассматривается как промежуточное звено между классической «социологией истории» и американской исторической социологией. Вслед за социальной историей историческая социология обращается к компаративистике и количественным методам, но при этом не отказывается от герменевтики. Историческая социология предполагает взаимное ослабление номотетики классических гранд-теорий и идеографии традиционной истории. Она также подразумевает полноценное социологическое познание исторических явлений с использованием принятых в эмпирической социологии процедур, а не реинтерпретацию исторических исследований социологическим языком. В результате получают специальные процессуальные и среднеуровневые теории социального изменения, выведенные из истории. Ориентация исторической социологии на теоретические обобщения отчетливо отличает ее от социальной истории. Эссе подробно

останавливается на разных подходах и целях использования сравнительно-исторического метода и количественных методов, дополняющих его. В свою очередь, их использование ведет к проблемам с принятием их результатов традиционными историками, ориентированными на специализацию на отдельной стране и изучение первоисточников на языке оригинала. Вместо заключения автор рассказывает о своем опыте и участии в институционализации исторической социологии в России и указывает на проблемы, тормозящие ее.

Ключевые слова: историческая социология, социальная история, сравнительный метод, теория социального изменения

How Historical Sociology Can Be Taken and How Then It Should Be Practiced

Dmitry Yu. Karasev

Independent researcher, Moscow, Russian Federation

ORCID: 0000-0002-0403-9370

The essay presents its author's understanding of historical sociology, as well as a view on how to practice historical sociology. The preconditions that have been necessary for the emergence of historical sociology from the American intellectual tradition are the following: first, to overcome the 'historiosophical ahistoricism' of classical sociology and the ahistoricism of early empirical sociology in the United States. Second, the emergence of 'social history' in Europe under the influence of the Great War and the social sciences rejecting the idea of progress in its evolutionary and revolutionary interpretations. The essay provides a detailed investigation of the features of the 'new historical science' in comparison with its traditional counterpart, as well as exploring the similarities and differences between social history and historical sociology. Social history is considered as an intermediate link between the classical 'sociology of history' and American historical sociology. Following social history, historical sociology turns to comparative studies and quantitative methods, but at the same time does not abandon hermeneutics. Historical sociology presupposes a mutual weakening of the nomothetics of classical 'grand theories' and the ideography of traditional history. It also implies a full-fledged sociological investigation of historical phenomena using procedures accepted in empirical sociology, rather than the reinterpretation of historical research in sociological-theoretical terms. This results in the emergence of special (rather than general) processual and medium-level theories of social change based on historical facts. Historical sociology focuses on theoretical generalizations, which clearly distinguishes it from social history. The essay investigates the different approaches and purposes of using the comparative historical method — and the quantitative methods that complement it. In turn, their utilization leads to problems with the acceptance of their results by traditional historians specialized in a single country and on studying primary sources in the original. Instead of concluding, the author discusses his experience and participation in the institutionalization of historical sociology in Russia and points out the problems hindering it.

Keywords: historical sociology, social history, comparative historical method, theory of social change

Социология истории

Действительность становится природой, если мы рассматриваем ее с точки зрения общего, она становится историей, если мы рассматриваем ее с точки зрения индивидуального.

Г. Риккерт

На самом деле, любое сравнительное исследование либо основывается на идеях, выдвигаемых в социальных науках теоретиками <...>, начиная от Маркса и вплоть до более современных авторов, либо выстраивается в пику им.

Т. Скочпол

В своей известной книге с говорящим названием Ч. Тилли рассказывает «Как социология встретила историю», но этот рассказ необходимо дополнить приквелом о том, как они разошлись. Это не была единственная раз и навсегда встреча: «они сошлись, волна и камень», напротив, они то сходились, то расходились, взаимоопыляясь. Это эссе будет приквелом о том, как, утрируя, история стала наукой о прошлом и индивидуальном, а социология — о настоящим и общем; о причинах «отступления социологии в настоящее», как называл это Н. Элиас. О том, была ли классическая социология исторической, и о том, как социальная история (далее — СИ) стала промежуточным звеном между классической и исторической социологией (далее — ИС). Наконец, о том, как, отталкиваясь от предложенного понимания, следует практиковать ИС.

По сравнению с историей, социология — молодая наука, которая отчасти стала заложницей исторического момента ее возникновения. Во-первых, она была ответом на оформление нового типа обществ — «общества модерна». Во-вторых, она возникла в момент, когда философская идея прогресса¹ переживала свой расцвет, хотя ее закат был уже не за горами (на смену ей пришла идея циклов). Модерн стал основным объектом изучения социологии. Одной из причин этого было наследство, доставшееся социологии от философии Просвещения, немецкой классической философии и философии истории. Для классической социологии «анатомия человека [всегда] — ключ к анатомии обезьяны»: предшествующие исторические состояния и социальные формы рассматривались инструментально, а главное — телеологически, как имеющие своим смыслом

1 Подробнее о составляющих идеи прогресса и ее влиянии см. Нисбет Р. Социальные изменения и история [Nisbet 1969].

и целью «общество модерна» и/или как стадии, с необходимостью ведущие к нему. Ведь что такое «общество модерна», как не слияние некоторого конкретного типа общества (близкого к одному или нескольким эмпирически наблюдаемым национальным государствам) и «смысла истории»?

«Сторонники теории развития игнорируют исторические источники, выстраивая историю по своим схемам», — считает П. Штомпка [1996: 236]. Фактически у классиков не было в полном смысле социологической теории социального изменения, т. е. такой теории, которая объясняла бы социально-исторические изменения именно социальными факторами. (У основателей социологии теория социального изменения и теория социального/коллективного действия были совершенно разными теориями, соответственно, история рассматривалась как создаваемая надличностными, (сверх-)не-человеческими силами — идеями и верованиями, средствами производства и самими производствами, в крайнем случае великими личностями, и, наконец, войнами — последнее, надо отметить, вполне соответствует позитивистской истории конца XIX в.)

38

И хотя, к примеру, в «Восемнадцатом брюмера» К. Маркс пишет, что «люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбирали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого» [Маркс, 1968: 5]. Насамом деле теория социального изменения К. Маркса людей (агентности), включая организованные группы, меньше, чем хотелось бы. И это, увы, общая черта классической социологии. На классическом этапе скорее имела место социологическая адаптация философии истории с широким использованием исторического, археологического, антропологического материала (которого на тот момент, надо отметить, было не так много, как сейчас, хотя и немало, не говоря уже о его доступности).

Разумеется, основатели социологии не подтасовывали факты и не выбирали только те из них, которые подтверждали их теории. Не следует однозначно вменять им в вину и прогрессизм (к тому же возможны возражения: «рационализация может обернуться “железной клеткой”», — предупреждал Вебер; разделение труда могло обогатиться аномией у Дюркгейма — какие же они прогрессисты?). Прогрессизм, а затем эволюционизм классической социологии был той оптикой, которая позволяла видеть и синтезировать данные — тем «клеем для фактов» (к этой метафоре еще вернемся), который имелся.

Чрезмерная близость классических теорий социального изменения и исторических исследований историософии, а не историографии не позволяет в полной мере назвать их «исторической»

социологией». «Они [классики] считали изменения естественными, коренящимися внутри общества или культуры и не зависящими от миллиардов случайных событий и действий людей, записанных в истории» [Нисбет 1969: 234; цит. по: Штомпка 1996: 236]. Затем, попав в «ловушку конкретности», они рассматривали свои в большинстве дедуктивно выведенные схемы и интерпретации в качестве самой исторической реальности, более того, на их основе пытались делать предсказания. Такие предсказания в чем-то напоминают предсказания экзаменационных билетов по истории Дирка Джентли из книги Д. Адамса: «Дирк всего лишь просмотрел билеты предыдущих лет, уловил принцип, по которому они составлялись, и вывел некоторые предположения. Он не сомневался: число совпадений будет достаточно высоким, чтобы обрадовать наивных простачков, и достаточно низким, чтобы усыпить подозрения остальных. И вроде бы все так и вышло. Но самое поразительное, что произвело фурор и в конечном итоге привело к его отчислению из Кембриджа и едва не закончилось для него тюрьмой: все предсказанные им экзаменационные билеты совпали с действительными. Тютелька в тютельку. До последней запятой».

Не могу согласиться с известной цитатой Ч. Р. Миллса: «Вся социология достойна называться “исторической социологией”» [Миллс 1998: 168]. Необходимо отделять одно от другого. Иногда в качестве исключения из правила историософского внеисторизма классической социологии указывают на К. Маркса, А. Токвиля и М. Вебера. Они, по меткому замечанию Б. Н. Миронова [2004], «занимались историей не просто серьезно, а даже профессионально» и из уважения к историческим фактам не (всегда) пускались в слишком широкие обобщения. Действительно, возникшая позднее ИС была *ренессансом и синтезом* идей в первую очередь именно этих «социологов» (сами себя они едва ли считали и называли социологами; да и за пределами социологии их называют по-разному). Давайте называть классиков «социологами истории»? А для появления ИС необходим был и импульс со стороны историков, а именно СИ, которая не только была источником вдохновения, но и вторичным источником данных многих исторических социологов, например, Т. Скочпол и Ч. Тилли (хотя историки и не одобряют такой подход к сотрудничеству с социологами, когда они только поставляют данные социологам).

Что касается исторических работ основателей социологии, то часть из них считаются и/или стали образцовыми для многих поколений историков. Однако — и это важно — это те работы, которые дальше всего от их теоретических обобщений и *magnum opus*, в которых они представлены, и ближе всего к историческому материалу: у К. Маркса это не «Капитал» и не «Манифест», а «Восемнадцатое брюмера» и «Гражданская война во Франции» (у Ф. Энгельса

не, казалось бы, близкое к истории, «Происхождение семьи, частной собственности и государства», а «Положение рабочего класса в Англии», ставшее почти историческим первоисточником); у М. Вебера это не «Хозяйство и общество» и не «Протестантская этика», а «История хозяйства» и «Аграрная история Древнего мира».

Социальная история в Европе, историческая социология в США

История никогда не повторяется,
но часто рифмуется.

М. Твен

В основе деления наук лежат не «фактические» связи «вещей», а «мысленные» связи проблем: там, где с помощью нового метода исследуется новая проблема и тем самым обнаруживаются истины, открывающие новые точки зрения, возникает новая «наука».

М. Вебер

40

После миграции социологии в США и институционализации ее там, европейский «историософский внеисторизм» сменился осознанной антиисторической установкой теоретической, а главное, эмпирической социологии там (тем, что Ч. Р. Миллз назвал «абстрактным эмпиризмом»). Отчасти это объяснялось спецификой периода (историзм отождествлялся с историческим материализмом), отчасти насущными социальными проблемами, остро стоявшими перед американскими социологами, отчасти прагматической и фальсификационистской установкой: не стоит заниматься феноменами, представленными малым количеством кейсов и данных, — научных, т. е. воспроизводимых, результатов не будет.

Для преодоления внеисторизмов и возникновения ИС на почве (подчеркиваю) *американской, а не европейской интеллектуальной традиции*, необходимо было, чтобы сначала в Европе возникла СИ и преодолела кризис историзма в исторической науке, с одной стороны, а с другой — социологическая наука избавилась от иллюзий, чтобы по меткому, хотя и суровому выражению А. Турена [Турен 1998: 6]: «в Освенциме сожгли идею прогресса ... [а] в ГУЛАГе умерли надежды на пролетарскую революцию».

Первая мировая война, влияние, оказанное ею на европейцев, их хозяйство, политику, общественное (и классовое) сознание, изменили историческую науку¹. В межвоенный период возникла

1 В описании СИ, особенностей ее генезиса полагаюсь на: Зидера [1993], Могильницкого [2003], Репину [2009].

т.н. «новая историческая наука», лейтмотивом которой стали отказ от позитивизма, позаимствованного не так давно у социологии, движение к аналитической и междисциплинарной истории, «истории снизу», «истории изнутри», понимающей, а не только описывающей (нарративной) истории. Позднее выражением этих тенденций во Франции стала школа «Анналов», последующие ее «кризис»¹ и критика ревизионистами (особенно Ф. Фюре, А. Коббенем), в Британии — исследования Группы историков коммунистической партии Великобритании.

Для традиционной истории, представленной Исторической школой Ранке, или Берлинской школой, историей Виггов (отчасти), были характерны: позитивизм, догмат о «неповторимости» исторических явлений (в силу их временной и географической детерминированности), апологетика национального государства; ее основным методом был филологический (изучение архивов на языке оригинала), основным типом изучаемых в архиве документов — материалы государственного и муниципального управления, мемуары государственных служащих и дипломатов (публикация архивов приветствовалась), основной целью исследования — «раскрыть [описать] историческое прошлое таким, какое оно было на самом деле» с критическим отношением к источнику данных, без обобщений, выделения типов, теоретических объяснений.

41

«Кризис историзма», с которым столкнулась традиционная историческая наука, заключался в ее неспособности объяснить и адекватно описать массовые процессы, которые происходили в Европе со второй половины XIX века. Выражением этого кризиса стал «спор о методе» между К. Лампрехтом и Г. фон Беловым. Суть спора сводилась к тому, должна ли история заниматься обобщениями и объяснениями, выделять типы, и если да, то как. Социологам этот спор больше известен по его отголоскам в работах Баденской школы неокантианства о номотетических и идеографических науках: чтобы быть наукой, а не искусством, история должна создавать общие понятия. Метод конструирования идеальных типов М. Вебера фактически стал ответом и на спор о методе, и на вопросы Баденской школы.

Вклад в преодоление политического редукционизма традиционной истории в Германии внесла и экономическая история (далее — ЭИ), которая, однако, внутренне расщепилась: «школа национальной экономики» стремилась выделить типичные для эпохи капитализма стадии развития производства, распределения и по-

¹ Подробнее см.: «Споры о главном: дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг французской школы “Анналов”».

требления (социологам это точно должно что-то напоминать), «хозяйственная история», сфокусированная на исследованиях средневекового города, ремесла и торговли (ср. с «Историей хозяйства» Вебера), напротив, стремилась опровергнуть эту универсальную стадийность и закономерности. (Позднее подобное же взаимодействие характерно для исторических социологов друг с другом и гранд-теориями социального изменения классиков социологии.)

С другой стороны, на традиционную политическую историю наступали «историки культуры» в Германии и «историки цивилизации» в Англии, уделяющие внимание роли идей, убеждений, литературы, права и религиозных верований в историческом изменении и стремящиеся дать снимок общественной и культурной жизни в целом (ср. с «Протестантской этикой» и «Этикой мировых религий» Вебера). Этот дуализм: примат экономических и классовых структур vs. примат культурных структур, убеждений и верований сохранился и весьма заметен и в ИС. Хотя она и стремится к парадигмальному синтезу и, соответственно, синтезу политических, экономических и культурных факторов в своих объяснениях — различие между ИС, сконцентрированной на культуре, вдохновляющейся скорее Дюркгеймом, и ИС, сконцентрированной на экономике, классах и конфликте интересов, вдохновляющейся скорее Марксом и Вебером, ощущается явно.

42

И хозяйственная история, и история культуры пришли к проблеме обобщений и типов. Часть новых историков в Германии испытали влияние австромарксизма, соответственно, социальное понималось ими как следствие экономического. Темы зарождающаяся СИ черпала в ранней истории культуры. Со временем было преодолено предубеждение СИ против традиционной политической истории и истории власти. Важнейшим понятием стало понятие «структура». «Таким образом, в начале 60-х годов в целом были сформулированы основные научно-теоретические позиции, с которых в 60-е и 70-е годы выступало большинство социальных историков немецкоязычного пространства: деление исторического “пополам” — на структуры, определяющие тенденции действий, с одной стороны, и политическую, культурную и социальную деятельность субъектов — с другой» [Зидер 1993: 171] (ср. с «Основными проблемами социальной теории» Э. Гидденса).

Основной предмет немецкой СИ — индустриальное или индустриализирующееся общество, французской школы «Анналов» — доиндустриальное (античное и средневековое). Не будем останавливаться на проблеме определения СИ, проистекающей из того, что СИ, как и ИС, не была унифицированной практикой в терминах предмета и метода. «Социальная история — это форма исторического исследования, в центре внимания которого находятся

исторические группы, их взаимосвязи, их роли в экономических и культурных структурах и процессах; она часто характеризуется использованием теорий общественных наук [часто марксизм] и количественных методов» [Ritter 1986: 408].

В отличие от немецкой СИ, лейтмотивом школы «Анналов» стала замена классической нарративной истории «историей-проблемой». В центре их исследований общество прошлого в целом или более крупные тотальности, типа миров-экономик Ф. Броделя. При этом французская СИ пыталась вскрыть глубинные структуры, устойчивые на больших отрезках времени (*longue durée*). Эта задача потребовала привлечения новых типов исторических источников. По известному выражению М. Блока, «для того, чтобы что-то реально узнать о прошлом, нам прежде всего надо стремиться понять, что было в головах людей». «Анналы» впервые увидели в истории не только социально-историческую схему, макроструктуры, но и живого человека, а также попытались объяснить исторические явления на основе «понимания» мотивов его поступков (ср. с «понимающей социологией» М. Вебера).

Особой популярностью во французской СИ пользовался марксистский подход к изучению политических конфликтов, поскольку он внимательнее других подходил к изучению «маленьких людей», истории (судьбы) которых представляют собой что-то вроде коллективной истории. Как верно отметил П. Загорин, в отличие от исторической социологии, направленной на теоретическое осмысление, «компаративная история [социальная история] просто предполагает, что между событиями, процессами и структурами, которые она отбирает для исследования, имеются некоторые соответствия, или некоторые общие и сходные черты, выяснение которых будет способствовать пониманию изучаемого явления» [Zagorin 1982: 57; цит. по: Репина 2009: 159].

Резюмируем сходства и различия СИ и ИС. Это очень полезно для понимания специфики последней.

Сходства:

- Пересекающиеся период и коннотации возникновения дисциплин.
- Частично совпадающий «золотой век» — 60-80-е гг.
- Схожий предмет: (Раннее) Новое и Новейшее время (как правило, в Европе).
- Схожий метод: обращение к сравнению кейсов и «большим» структурам.
- Схожие проблемы: например, микро/макро, структура/агентность, воспроизводство/изменение.
- Частично пересекающиеся списки ведущих представителей (напр., Б. Мур, Ч. Тилли).

- Влияние веберианской и марксистской традиции и, как следствие, схожий понятийно-категориальный аппарат.

Различия:

Историческая социология	Социальная история
Ориентирована на обобщения, теорию	Ориентирована на понимающую реконструкцию общества прошлого в целом или групп в нем
Использует в основном вторичные данные (в т.ч. социальной истории)	Использует в основном первичные данные
Продукт американской интеллектуальной традиции	Продукт европейской интеллектуальной традиции
Импульс к сближению дисциплин исходил от социологов, историки сопротивлялись	Импульс к сближению дисциплин исходил от историков, социологи сотрудничали
Сконцентрирована на Новом и Новейшем времени по причине наличия релевантных теорий классиков социологии	Сконцентрирована на Новом и Новейшем времени по причине доступности данных
Синтезирует парадигмы (веберианство + марксизм + ...)	Работает в одной парадигме (как правило, марксизм)
Быстрее реабилитировала политическую историю (в США проблема заключалась не в реабилитации первой, а в освоении и принятии социальной истории)	Быстрее преодолела структурализм благодаря антропологическому повороту 1970-х гг.

44

Теперь снова обратимся к движению к ИС со стороны американской социологии, получившему название «исторического поворота в социологии» (о нем более кратко, т.к. недостатка литературы о нем и сведений у социологов нет). Полностью согласен с С. А. Арджомандом в том, что его основу заложил «веберовский ренессанс» и «антипарсонсианская интерпретация Вебера»¹, предложенная в «Интеллектуальном портрете» Р. Бендикса и развитая Ч. Р. Милсом и Х. Гертом: «Исторический поворот был не чем иным, как усвое-

1 Подробнее см.: Александер Дж. Неофункционализм и после него.

нием Макса Вебера» [Arjomand 2004: 336] (оставляю за скобками миграцию в США учеников А. Вебера и обучение ими будущих исторических социологов и защитников «многомерного веберизма»). «Портрет» — антипарсонсианский выпад против функционалистской и эволюционистской гранд-теории, выстроенной Т. Парсонсом из его прочтения Вебера, чрезмерно сфокусированного на «Протестантской этике» и «Этике мировых религий» в пользу «Хозяйства и общества»; сдвиг акцента от роли идей, верований и интересов к власти, политике и конфликту. В качестве еще одной причины Т. Скочпол справедливо указывает на отказ от линейно-эволюционного прочтения марксизма в США к 1960-м гг.: на первый план вышли среднеуровневые марксистские идеи о классовом сознании, борьбе и союзах, историческом процессе и роли культурных и политических структур (оставляю за скобками освоение и перевод работ европейских социальных историков).

С 1960-х гг. начинается время равноправного дисциплинарного сотрудничества истории и социологии. Примечательна широкая дискуссия о возможностях и ограничениях междисциплинарного синтеза на страницах британского журнала *Past and Present*, начавшаяся в конце 60-х и продолжавшаяся десятилетие. Поводом послужил сборник Р. Хофстедера и С. М. Липсета «Социология и история: методы», в котором отмечены взаимные выгоды такого сотрудничества: историки берут у социологов концептуальный аппарат и методы, а взамен помогают социологам включить историческое время в их теории (сделать их процессуальными, вместо теорий причин, последствий и «черного ящика» посередине).

Позиция Ф. Абрамса из указанной дискуссии о том, что социология и история вообще не являются двумя отдельными науками, стала своего рода манифестом ИС. (Как легко констатировать постфактум — это не первая такого рода чересчур оптимистичная позиция о междисциплинарном сотрудничестве, производная от известного противопоставления Вебером «фактических» связей «вещей» и «мысленной» связи «проблем».) Э. Хобсбаум в знаменитой статье «От социальной истории к истории общества» был более скептичен, предостерегая, чтобы дисциплины не взяли худшее друг у друга. Например, чтобы СИ не превратилась в проекцию социологии, страдавшей внеисторизмом, а ИС не увлеклась неповторимым и не разучилась «видеть лес за деревьями». Или как формулирует это М. Манн: «Слишком пристальное внимание исследователя к [историческим] фактам делает его слепым; чрезмерное вслушивание в ритмы теории и мировой истории — глухим» [Манн 2018: 26]. Так как же вести «диалог глухого со слепым» (как нередко описывают взаимодействие социологов и историков) в рамках головы одного исследователя — исторического социолога? Как делать историческую социологию?

Как практиковать

Отношения между социологией и историей чаще характеризуются равнодушием, либо нарочитой отчужденностью. Многие историки не верят в объяснительную силу социологических теорий и осуждают социологов за поверхностное отношение к историческим фактам. Социологи иронизируют над историками по поводу антикварного интереса к историческим деталям, эмпиризма и поверхностного анализа.

Б. Н. Миронов

Без сравнения нет понимания.

М. Блок

Начну со строгой, но веской (стимулирующей «держать удар» и «марку») позиции известного социального и экономического историка Б. Н. Миронова [1984, 2004] об удовлетворительной и неудовлетворительной ИС:

- есть реинтерпретация исторического материала социологическим языком, возникающая из прочтения исторических исследований, как правило, теоретическими социологами, без глубокого погружения в предмет (это, как правило, неудовлетворительная ИС, которая не найдет отклика ни у социальных, ни у политических историков; хотя бывают и исключения, поскольку взглянуть на старые проблемы под новым углом иногда бывает чрезвычайно полезно);
- есть полноценное социологическое познание исторических явлений, которое начинается с традиционных для эмпирической социологии постановки проблемы, отбора теорий, концептуализации, операционализации, отбора кейсов и/или единиц исследования, сбора и обработки данных — одним словом, использование социологического инструментария при сборе эмпирического материала (такая ИС найдет одобрительный отклик и поддержку как минимум у социальных и экономических историков).

Б. Н. по понятным причинам подчеркивает заслуги тех редких исторических социологов (а именно Б. Мура и Ч. Тилли), которые умели работать и работали с первоисточниками наравне с историками, т. е., по сути, были и социальными историками. (Целесообразность работы с первоисточниками в ущерб обобщению важнейших вторичных источников оспаривает не только Т. Скочпол, но и М. Манн: зачем пить море, чтобы написать чашку, если можно пить более плотную жидкость?) Б. Н. также отмечает опасность презентизма, которую несет с собой концептуализация и операционализация исторических данных в рамках историко-социологического исследования. Однако всем знакомым с «герменевти-

ческим поворотом в истории» 1970-х гг. (Б. Н. с ним без сомнения знаком, см., напр.: Глава IV в [Миронов 1984]) понятно, что ненагруженных понятий вообще не бывает (что верно и для исследуемых, и для исследователей), к тому же любой исследователь (неважно, историк или социолог) до исследования благодаря житейскому опыту имеет некое собственное представление о том, как работают вещи в мире, некую онтологию социального или исторического, и лучше бы эти представления эксплицитно выражать, как это делает социальная теория, но чего предпочитали не делать историки. Личность историка и выработанная им и как социальным актором и как профессиональным ученым онтология социального и исторического — необходимый «клей для исторических фактов», ни в чем не уступающий историософскому, без которого все распадается. В контексте встреч и расставаний социологии и истории примечательно, что социология испытала герменевтический поворот и раньше («Спор о позитивизме», 1960-е гг.), и позже (М. Фуко, П. Бурдьё, этнометодология Г. Гарфинкеля, интерпретативная антропология К. Гирца и культурсоциология Дж. Александера 1990-е гг.) исторической науки.

Итак, мой первый тезис в том, что ИС ориентирована на исторически обоснованное построение специальных процессуальных и среднеуровневых теорий социального изменения путем уточнения историческими данными (включая их фальсификацию, строительство «защитного пояса» и синтеза) классических гранд-теорий социальных изменений и современных высоких социологических теорий. Этот процесс происходит путем полноценного социологического познания исторических явлений, а не реинтерпретации исторических исследований. ИС на правах наследницы СИ с неизбежностью обращается к количественным методам, но при этом не отказывается от герменевтики и вниманию к роли языка в оформлении опыта и практик исторических действующих лиц. ИС для меня синоним сравнительно-исторической социологии. В этом не могу согласиться с М. Манном, который считает, что социология «должна быть исторической, но не всегда может быть сравнительной», и, напротив, согласен с М. Блоком, для которого «без сравнения нет понимания». И если уж межкейсовое сравнение невозможно по причине взаимозависимости или уникальности кейсов (что подчеркивает Манн и что по душе историкам), то необходимо хотя бы внутрикейсовое сравнение (один и тот же исторический феномен, институт, но на разных его этапах, с демонстрацией преемственного и нового). Сравнение и количественные методы дают неочевидные идеальные типы, а также, подобно нити Ариадны, защищают от бесконечного блуждания в лабиринте исторических смыслов и герменевтических кругов.

Мой второй тезис — о целенаправленном взаимном ослаблении номотетики и идеографии в рамках ИС. По сути, ИС ослабляет номотетику классических гранд-теорий и современных высоких социологических теорий историческими фактами и герменевтикой, а идеографию истории — общими социологическими понятиями (типами), теориями, сравнением и количественными методами. Хотя ослаблено и то, и другое — получается ценный результат: что-то вроде социологической теории социального изменения среднего уровня, по-настоящему нормированной историческими фактами (и теми, которые подходят хорошо, и теми, которые не очень, с объяснением, почему так). Это уже не общие, а специальные теории: они не объясняют всего и вся, их действие весьма ограничено. Зато они действительно работают: предлагают нетривиальное объяснение и понимание исторических явлений, иногда предлагают ретропрогноз, выявляют релевантность и значимость факторов и макропричины для изучаемого исторического явления и/или кейсов.

48

Компаративистика и количественные методы важны для ослабления идеографии. Историки редко в открытую практикуют сравнения¹, поскольку в традиционной истории принята специализация по отдельным периодам и странам. В основе этой специализации лежит чтение первоисточников на языке оригинала. Специализация порождает гильдии экспертного знания, непрофессионалов такие гильдии отторгали. Компаративистика ошибочно отождествляется с непрофессионализмом. Рассуждали так: чем больше сравниваемых кейсов, тем больше приходится полагаться на вторичные источники². Более того, сравнение требует гомогенности и независимости единиц сравнения — они вызывали и вызывают сомнения у историков-профессионалов. В рамках всемирной истории все связано (независимость под вопросом), при этом социально-исторические формы обусловлены географией и временем, а значит, гомогенными быть не могут (или сравнивающий недостаточно владеет деталями и поэтому не видит различий, т. е. непрофессионал).

С другой стороны, «абстрактный эмпиризм» в США способствовал номотетике, но препятствовал идеографии. Об этом много рассуждает Т. Скочпол [2017: 78]: «В современных американских общественных науках <...> исследователи полагают, что действительно научным образом возможно изучать только те феномены,

1 В качестве контрпримера см.: [Блок М. (2001) К сравнительной истории европейских обществ].

2 Подробнее см.: [Комм М. (2014) Сравнение в истории и исторической социологии: общность метода и различие дисциплинарных подходов].

которые представлены достаточно большим количеством примеров». Как научным образом исследовать (и исследовать ли вообще) исторические явления, представленные недостаточным количеством кейсов, например революции? Ответ Скочпол заключался в использовании сравнительно-исторического метода на основе индуктивной логики Милля: «Сравнительно-исторический анализ на самом деле выступает методом многомерного анализа, к которому прибегают тогда, когда имеется слишком много переменных, а случаев[кейсов] недостает» [Скочпол 2017: 85]. Для сравнения, Ч. Тилли предложил другой ответ: изучать их количественно в качестве подвида более общего и широко представленного явления и понятия соответственно. Развитием сравнительного метода на основе индуктивной логики стало использование «качественно-количественного сравнительного анализа» (QCA): составление для кейсов таблиц всевозможных комбинаций независимых и зависимой переменной (а также их веса) и выявление на основе булевой логики необходимых и достаточных причин [Ragin 1987]. Затем кластеризация кейсов по указанным таблицам комбинаций и степени присутствия признаков. Развитием логики Тилли, и не только его, является «клиометрика».

49

Для перехода к количественному анализу для исторических кейсов зачастую не хватает данных. Об этом известный спор М. Манна [Mann 1994] и Дж. Голдторпа [Goldthorpe 1991]: последний утверждал, что современную социологию от исторической отличает как минимум наличие искомым данным по теме исследования, Манн возражал, акцентируя, что данных все равно не хватает обеим. (В этом полностью согласен с Манном, не все необходимые данные даже для современных стран можно получить.) Есть несколько вариантов, как включать количественные номотетические методы в ИС. Они как нельзя лучше описаны в книге М. Ланга [Lang 2012] «Сравнительно-исторические методы»: они должны быть либо во внутрикейсовом анализе в качестве «первичных» или «вторичных внутрикейсовых методов», либо среди методов межкейсового сравнения (если сопоставимые ряды данных присутствуют, что редкость для исторических кейсов)¹. Т. е. ИС не заменяет (и не может заменить из-за ограниченности данных) сравнительно-исторический метод статистическим, а дополняет первый вторым, как она дополняет методы идеографические номотетическими. На мой взгляд, в этом залог того, чтобы на выходе получалась искомая удовлетворительная ИС.

¹ Особого внимания в контексте методологии ИС заслуживают статьи Л. Гриффина и Дж. Махоуни.

Существует несколько разновидностей ИС или способов ее производства, целей проведения историко-социологических исследований, которые так или иначе отражаются на результате, но только один зонтичный термин «историческая социология». Большинство исторических социологов фиксируют эти разновидности ИС тем или иным образом.

По мнению Т. Скочпол и М. Соммерс [Skocpol, Somers 1980], использование сравнительного метода является необходимым, но недостаточным критерием ИС. Они против попытки У. Сьюэлла и Н. Смелзера свести различные типы сравнительной истории к единой методологической логике тестирования гипотезы. Они выделяют три различных логики тестирования гипотез с помощью сравнительной истории или макропричинного анализа: 1) «*параллельная демонстрация теории*», валидность той или иной теории только подтверждается на исторических примерах (например, «*Политическая система империй*» Ш. Эйзенштадта); 2) «*сопоставление кейсов с целью демонстрации контрастов*», направлено на выявление исторических ограничений применимости слишком общих теорий для похожих на первый взгляд, но на проверку различающихся исторических кейсов (например, «*Завоевание и коммерция*» Дж. Ланга, «*Застрявшая на месте*» В. Чиббера); 3) «*макроанализ причин*», ориентирован на причинно-следственные выводы с использованием и метода единственного сходства, и метода единственного различия в качестве маркера причины (например, «*Социальные истоки*» Б. Мура, «*Государства и социальные революции*» Т. Скочпол). Как правило, каждое историко-социологическое исследование придерживается той или иной логики, некоторые смешивают их (например, «*Источники*» М. Манна).

50

В первом случае во всех примерах исторического феномена видится то общее, что объясняет теория; во втором — сравнение выявляет различия, которые теория не объясняет или не может объяснить; в третьем — и сходства, подтверждающие теорию, и различия, ограничивающие ее действие, непротиворечивым образом (в виде положительных и отрицательных кейсов) объединяются, предписывая дополнить существующую теорию другой или предложить новую специальную теорию.

В статье «Историческая социология» Тилли [2009: 56] определяет ИС как «начинание особого рода, стремящееся объединить данные, полученные путем прямого наблюдения настоящего и косвенного наблюдения прошлого» и выделяет 4 направления ИС:

— «*Исторический критицизм*» (изучение исторического генезиса современных проблем, выделение мегатрендов и исторических альтернатив — социальная критика, подкрепленная данными из истории; Г. Тербон, Т. Скочпол);

— «Выделение паттернов» (поиск повторяющихся структур, последовательностей, а также необходимых и достаточных условий их появления в разные эпохи и разных обществах вопреки всем прочим различиям; Р. Бендикс, М. Манн);

— «Расширение масштаба» (использование количественных методов, разработанных для современных обществ на исторических данных, и наоборот — использование исторических данных для критики современных социологических представлений; Дж. Голдстоун, К. Чейз-Данн);

— «Анализ процессов» (прослеживание того, как процессы разворачиваются во времени и пространстве, в этом случае выявляются инварианты одного процесса, а не общий паттерн; С. Роккан, Ч. Тилли).

В книге «Большие структуры, длительные процессы, широкие сравнения» [Tilly 1983] Тилли дает более тонкую классификацию сравнительно-исторических исследований, располагая их в системе координатах из двух осей: ось множественности форм и ось общности принципа. Сравнение множественно в той степени, в которой оно показывает разновидности форм одного феномена или категории, иллюстрируя их историческими кейсами. Сравнение является общим в той степени, в которой показывает, что все исторические кейсы одного феномена или категории подтверждают один и тот же теоретический принцип. Положение сравнительно-исторического исследования в этой системе координат зависит не от масштаба или количества изучаемых им феноменов, их внутренней сложности или простоты, а от *отношений между наблюдениями (историческими фактами) и теорией*.

В итоге выделяются 4 типа сравнительно-исторических исследований в зависимости от положения, которое они занимают в описанной системе координат: сравнение, выявляющее индивидуальное; упорядочивающее сравнение; сравнение, выявляющее универсальное, и сравнение, выявляющее вариации (рис. 1).

«Сравнение, выявляющее индивидуальное» противопоставляет различные исторические кейсы изучаемого феномена с целью демонстрации специфических свойств и механизмов каждого кейса. (Например, Дж. Ланг в «Завоевании и коммерции» противопоставляет стратегии и институты колонизации Америки англичанами и испанцами — их специфика обусловила последующие различия в развитии Южной и Северной Америки. Р. Бендикс противопоставляет изменения в британской и немецкой политической жизни с целью прояснить, как британские рабочие достигли почти полного включения в политическую систему, а немецкие остались исключенными.)



Рис. 1. Типы сравнительно-исторических исследований
 Fig. 1. Types of comparative historical research

52

«Охватывающее сравнение» располагает различные историко-географические кейсы как точки в единой системе координат, их свойства и механизмы объясняются их различными отношениями к системе в целом. (И. Валлерстайн расположил регионы мира в центре, периферии или полупериферии мировой системы, объясняя их свойства из отношений к этой системе международного разделения труда и торговли. С. Роккан расположил политические системы Европы XVI-XVIII вв. в многомерной таблице, объясняющей их вариативность рядом сочетания внутренних и внешних факторов.)

«Сравнение, выявляющее универсальное» демонстрирует, что каждый исторический кейс, действительно относящийся к изучаемому феномену или категории, следует одному и тому же теоретическому правилу. (Т. Скочпол выявила необходимые и достаточные причины социальных революций: необходимые причины те же, что и у политических переворотов и восстаний, однако последним недостает некоторых достаточных причин революций.)

«Сравнение, выявляющее вариации» — установление принципиальных (значимых для теории) различий в характере или интенсивности присутствия изучаемого феномена путем анализа различий исторических кейсов. (Б. Мур показал, как состав классовой коалиции и результат классового конфликта и революции определяли установление той или иной формы модерна. Дж. Пейдж объяснил различия между видами политического действия различными комбинациями источников дохода крестьян и землевладельцев.)

По мнению Ч. Тилли, для целей ИС лучше подходят упорядочивающее и выявляющее вариации сравнения: рассортировать все кейсы по отношению к какому-то структурирующему всемирно-

историческому процессу (объясняя этим различия между кейсами) или выявить принципиальную ковариацию, связывающую два или более свойства каждого кейса. Различия в подходах Т. Скочпол и Ч. Тилли к тому, как практиковать ИС, и в том, что касается количественных методов, и в том, что касается исторических сравнений, — налицо.

Что мешает институционализации исторической социологии в России

В статье 2006 года Н. В. Романовский [2006] фиксирует начало институционализации ИС в российской социологии в форме: а) чтения спецкурсов в ряде университетов и издания учебного пособия по ИС; б) перевода заметного количества книг по ИС на русский; в) участия отечественных социологов Т. И. Заславской, А. Я. Гуревича, В. П. Данилова в редколлегии *Journal of Historical Sociology*; г) постоянной рубрики в журнале «Социологические исследования», редактируемой Н. В. Романовским, для поддержания профессиональной дискуссии; д) серии круглых столов, дискуссий и секций междисциплинарных конференций с участием российских исторических социологов; е) защите диссертаций по ИС или близким к ней темам.

53

Вопреки прочим описаниям, фиксирующим проблемы взаимодействия социологов и историков, для отечественного кейса Н. В. дает следующее описание: «Социологи и историки в России идут навстречу друг другу осознанно: это требование современного профессионализма в науках об обществе».

Сейчас, в 2020-е гг., приведенное описание междисциплинарного сотрудничества, как и у Ф. Абрамса, выглядит, на мой взгляд, чересчур оптимистичным и преувеличивающим желание сотрудничать. Попытаюсь описать свой опыт и, избегая ошибки индукции (его явно недостаточно для выводов), указать на то, что, на мой взгляд, затормозило институционализацию ИС в России. Итак, используя критерии Н. В. Романовского, автор эссе принял участие в следующих формах институционализации ИС в России:

а) читал спецкурс по ИС у экономических историков в РАНХиГС и затем близкий, но предметно отличающийся курс по исторической социологии власти на государственном и муниципальном управлении в том же вузе (курсы были свернуты из-за их непопулярности у студентов);

б) переводил с английского и был научным редактором переводов книг таких исторических социологов, как Т. Скочпол, Ч. Тилли, М. Манн, Й. Арнасон (насколько мне известно, тираж не возобновлялся, но книги доступны в электронном формате);

в) лишь однажды публиковался в тематической рубрике «Соци-са», зато написал заметное количество научно-популярных обзоров на историко-социологические книги, например, в сетевом издании «Горький» (статистика о количестве просмотров недоступна);

д) представлял результаты исследований на профильных междисциплинарных конференциях («Стены и Мосты» в РГГУ; «Дни исторической компаративистики» в Европейском университете; секции Центра цивилизационного анализа и глобальной истории на конференциях Социологического института РАН);

е) львиная доля моей кандидатской диссертации о современной социологии революции по понятной причине отведена историческим социологам (текст диссертации в открытом доступе).

Моя «хабилитация» как исторического социолога прошла в среде экономических историков в РАНХиГС (раньше кафедра истории экономики, а теперь кафедра социальной и экономической истории России). Считаю это удачным, поскольку многому пришлось учиться. Это также заставило задуматься о том, почему синтез экономики и истории на российской интеллектуальной почве и не только принес больше плодов, чем синтез социологии и истории. Один из ответов, по всей очевидности, в том, что экономика предложила историкам такую номотетику (эконометрику), которая требовалась и была по душе историкам. Нужна была такая прикладная математика, которая даже на небольших и неполных данных могла что-то дать, а также увеличить количество данных с помощью ряда допущений. (Социалистический период истории России и марксистская политэкономика на самом деле слабо повлияли на успех ЭИ по сравнению с ИС. Есть немало статей о том, почему экономисты влиятельнее и их рейтинги цитирования выше, см., напр.: [Фуркад, Ольон, Альган 2015].)

Экономика практически не предлагала историкам grand-теорий, требуемые для эконометрики концептуализации и операционализации практически не вызвали отторжения историков, поскольку в основном это были статистические понятия, претерпевшие мало изменений со времен возникновения статистики (т. е. изучаемые данные, описываемые ими процессы, статистические методы их изучения, изучаемые проблемы — все датировалось одним периодом — Новое время). Социологи, к большому сожалению, не так хорошо владели и владеют прикладными математическими методами, как экономисты, и предлагали свою номотетику только в комплекте с собственными идеографией и герменевтикой. Однако у историков предостаточно собственной идеографии — это не то поле, на которое они готовы пустить конкурентов ради номотетических выгод.

С изменением политического климата и установок к зарубежной науке в России изменилась (если не сказать сошла на нет) ско-

рость институционализации и степень принятия ИС в отечественных академических кругах. Академической истории (и не только ей) навязали характерную для традиционной истории в прошлом роль апологета национального государства. С повышением роли истории как инструмента легитимации политики и принятых политических решений и без того надежные междисциплинарные границы стали еще прочнее. Часть исторического знания была сакрализована политиками. Сакрализация с неизбежностью требует разделения «священного» и «профанного»: исторические социологи компаративисты стали отторгаться как непрофессионалы.

Помимо почти непреодолимых междисциплинарных границ (так и быть, оставим защиту доменных областей и «теплых мест» в покое, хотя они уже и набили оскомину), налицо и другие институциональные преграды. У российских исторических социологов отсутствует собственный комитет в ассоциации российских социологов (в ASA таких по ряду причин было целых два: секция сравнительной и исторической социологии (в ASA с 1983 г.) во главе с Т. Скочпол и секция политической экономики мир-систем И. Валлерстайна), регулярный семинар, а также профильный журнал. Рубрика в «СоцИсе» это очень мощно и престижно, но, пожалуй, слишком эксклюзивно, хотя, с другой стороны, историко-социологические исследования, выходящие за рамки реинтерпретации исторических исследований (см. выше), гораздо более редки по сравнению с опросными исследованиями. (Наполняемость профильного журнала по ИС была бы под вопросом.) Часто желающим практиковать ИС не хватает навыков количественного анализа (на уровне экономистов), а также навыков работы с источниками (на уровне историков). (Для себя я эту проблему решал дополнительным образованием и обучением у коллег на рабочем месте.) Ограничен и приток желающих учиться ИС и практиковать ее.

Мой опыт преподавания ИС у магистров историков, специализирующихся на экономической истории, подсказывает, что для них это не слишком желанное и полезное знание («слишком много теории», «слишком много читать»). Возможно, на тот момент был слишком молод и не состоялся как преподаватель, а может, практика оценки преподавателя студентами перевернула дисциплину в университете с ног на голову. Возможно, формат обучения должен носить характер мастерской (как это часто делают в ВШЭ), когда студенты обучаются на практике, участвуя в историко-социологическом исследовании, которое проводит наставник, который в таком случае также может поучиться у своих студентов. Преподавание ИС у социологов более перспективно, однако осложнено сла-

бым владением историческим материалом — такое преподавание вынуждено будет носить обзорный и упрощенный характер (необходимы многочисленные и неторопливые экскурсии в экономическую и социальную историю, чем исторические социологи часто занимаются в своих книгах). (Да и разве может такая специализация конкурировать у студентов-социологов с более прикладными маркетинговыми исследованиями, например?) ИС — вещь, увы, весьма нишевая и даже элитарная, как в плане производителя, так и в плане заказчика — с этим согласны и отечественные, и зарубежные исторические социологи. Редкий «заказ» = отсутствие финансирования, дальше следует выражение, которое постоянно повторяла Н. В. Зубаревич: «Сколько денег — столько песен». (Проблемы науки как призвания и профессии хорошо описаны уже у М. Вебера.)

56

Профессиональная биография исторического социолога незavidна — и диссертацию защитить непросто из-за дисциплинарных границ (к примеру, возьмите на себя труд разобраться с тем, с какими преградами двигалась защита диссертации Т. Скочпол, впоследствии ставшей выдающейся книгой «Государства и социальные революции»¹; надо отметить, что защита осложнялась еще и тем, что Т. Скочпол была одной из первых докторов-женщин в Гарварде). И отправиться работать можно в итоге к политологам, а не социологам (опять же, пример Т. Скочпол), или к историкам (И. С. Кон), или к международникам (если только в их профессиональном домене и журналах допустимо публиковать межстрановые сравнения). При этом научное влияние работ зарубежных исторических социологов, а также научные школы, воспитанные ими, сопоставимы с работами и школами основателей социологии.

У меня строгие критерии того, как делается ИС (важен метод, а не предмет), и, как следствие, очень инклюзивные критерии того, кто является историческим социологом — тот, кто практикует ИС. Пока не представил собственного заметного историко-социологического исследования, считать себя историческим социологом не могу (теоретическим, пожалуйста). Сделать это с учетом междисциплинарных границ, защиты доменных областей и вертикально интегрированной академической науки — непросто.

1 О неправильных и часто упрощающих интерпретациях см. обзор Дж. Гудвина «Как стать ведущим американским социальным ученым: пример Теды Скочпол».

Библиография / References

Блок М. (2001) К сравнительной истории европейских обществ. *Одиссей. Человек в истории* (13): 65-93.

— Blok M. (2001) A Contribution Towards a Comparative History of European Societies. *Odysseus. Man in History* (13): 65-93. — In Russ.

Зидер Р. (1993) Что такое социальная история? Разрывы и преемственность в освоении «социального». *Thesis* (1), 163-181.

— Zider R. (1993) What is social history? Gaps and continuity in the development of the “social”. *Thesis* (1), 163-181. — In Russ.

Кром М. М. (2014) Сравнение в истории и исторической социологии: общность метода и различие дисциплинарных подходов. «Стены и мосты» — II: *междисциплинарные и полидисциплинарные исследования в истории: материалы международной научной конференции*. М.: Академический Проект. EDN: YWVPNL

— Krom M. M. (2014) Comparison in History and Historical Sociology: the Commonality of the Method and the Difference in Disciplinary Approaches. “Walls and Bridges” — II: *interdisciplinary and multidisciplinary research in history: proceedings of an international scientific conference*. М.: Academic Project. — In Russ.

Манн М. (2018) *Источники социальной власти: в 4 т. Т. 1. История власти от истоков до 1760 года н.э.* М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС.

— Mann M. (2018) *The Sources of Social Power. Vol. 1. A history of power from the beginning to ad 1760*. М.: Publishing house “Delo” RANEPА. — In Russ.

Маркс К. (1968) Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. Маркс К., Энгельс Ф. *Избр. соч. в 9-и т., Т. 4*. М.: Политиздат, 1968.

— Marx K. (1968) The eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte. Marx K., Engels F. *Selected Op. in 9th volume, vol. 4*. М.: Politizdat, 1968. — In Russ.

Миллс Ч. Р. (1998) *Социологическое воображение*. М.: Стратегия.

— Mills C. R. (1998) *Sociological imagination*. М.: Strategy. — In Russ.

Миронов Б. Н. (1984) *Историк и социология*. Л.: Наука. EDN: VIKOZL

— Mironov B. N. (1984) *Historian and Sociology*. L.: Nauka. — In Russ.

Миронов Б. Н. (2004) Социология и историческая социология: взгляд историка. *Социологические исследования* (10): 55-62. EDN: OWMZHL

— Mironov B. N. (2004) Sociology and historical Sociology: a historian’s view. *Sociological Research*(10): 55-62. — In Russ.

Могильницкий Б. Г. (2003) *История исторической мысли XX века*; Курс лекций. Вып. II: Становление «новой исторической науки». Томск: Изд-во Том. ун-та. EDN: QOTPDH

— Mogilnitsky B. G. (2003) *The history of historical thought of the XX century*; A course of lectures. Issue II: The formation of a “new historical science”. Tomsk: Tomsk University’s Publishing house. — In Russ.

Репина Л. П. (2009) «Новая историческая наука» и социальная история. М.: Издательство ЛКИ, 2009. EDN: QPMWUT

— Repina L. P. (2009) *“New Historical Science” and Social History*. М.: LKI Publishing House, 2009. — In Russ.

Романовский Н. В. (2006) К итогам «круглого стола» по исторической социологии. *Социологические исследования* (7): 123-132. EDN: OPCITV

— Romanovsky N. V. (2006) Towards the results of the “round table” on historical sociology. *Sociological Research* (7): 123-132. — In Russ.

Скочпол Т. (2017) *Государства и социальные революции: сравнительный анализ Франции, России и Китая*. М.: Изд-во Института Гайдара, 2017.

— Skochpol T. (2017) *States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China*. М.: Publishing House of the Gaidar Institute, 2017. — In Russ.

Тилли Ч. (2009) Историческая социология. *Социологические исследования* (5): 95-110. EDN: KBDDQB

— Tilly C. (2009) Historical Sociology. *Sociological Research* (5): 95-110. — In Russ.

Турен А. (1998) *Возвращение человека действующего. Очерк социологии*. М.: Научный мир, 1998.

— Touraine A. (1998) *Return of the Actor: Social Theory in Postindustrial Society*. М.: Scientific World, 1998. — In Russ.

58

Фуркад М., Ольон Э., Альган Я. (2015) Превосходство экономистов. *Вопросы экономики* (7): 45-72. EDN: TZFVWH

— Fourcade M., Olkhon E., Algan Ya. (2015) The superiority of economists. *Economic Issues* (7): 45-72. — In Russ.

Штомпка П. (1996) *Социология социальных изменений*. М.: Аспект Пресс, 1996.

— Shtompka P. (1996) *Sociology of social change*. М.: Aspect Press, 1996. — In Russ.

Arjomand S. A. (2004) Theory and the Changing World. Mass Democracy, Development, Modernization and Globalization. *International Sociology* (3): 299-353. <https://doi.org/10.1177/0268580904045344>

Goldthorpe J. H. (1991). The Uses of History in Sociology: Reflections on Some Recent Tendencies. *The British Journal of Sociology*, (42): 211-230. <https://doi.org/10.2307/590368>

Lang M. (2012) *Comparative-Historical Methods*. SAGE.

Mann M. (1994) In Praise of Macro-Sociology: A Reply to Goldthorpe. *British Journal of Sociology* (45): 37-54. <https://doi.org/10.2307/591524>

Nisbet R. (1969) *Social Change and History*. N. Y.: Oxford University Press.

Ragin C. (1987) *The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies*. California University Press.

Ritter H. (1986) *Dictionary of concepts in history*. N. Y.: Greenwood Press.

Skocpol T., Somers M. R. (1980) The Uses of Comparative History in Macrosocial Inquiry. *Comparative Studies in Society and History* (22): 174-197.

Tilly C. (1983) *Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons*. Russel SAGE Foundation.

Zagorin P. (1982) *Rebels and Rulers, 1500-1600*. Vol. 1. *Society, States, and Early Modern Revolution*. Cambridge University Press.

Карасев Дмитрий Юрьевич — независимый исследователь, Москва, Российская Федерация. Научные интересы: историческая социология.

ORCID: 0000-0002-0403-9370

Dmitry Yu. Karasev — Independent researcher, Moscow, Russian Federation. Research interests: historical sociology.

ORCID: 0000-0002-0403-9370

Цивилизационный анализ в исторической социологии и объяснения «советского коллапса»

МИХАИЛ В. МАСЛОВСКИЙ

Социологический институт РАН — филиал ФНИСЦ РАН, Санкт-Петербург,
Российская Федерация

ORCID: 0000-0002-1323-0935

Рекомендация для цитирования:

Масловский М. В. (2024)
Цивилизационный анализ
в исторической социологии
и объяснения «советского
коллапса». *Социология
власти*, 36 (3): 60-76
<https://doi.org/10.22394/2074-0492-2024-3-60-76>

For citations:

Maslovskiy M. V. (2024) Civilizational
Analysis in Historical Sociology
and Explanations of the "Soviet
Collapse". *Sociology of Power*, 36 (3):
60-76
<https://doi.org/10.22394/2074-0492-2024-3-60-76>

Поступила в редакцию: 30.07.2024;
прошла рецензирование:
16.09.2024; принята в печать:
19.09.2024
Received: 30.07.2024; Revised:
16.09.2024; Accepted for publication:
19.09.2024



This article is an open access article
distributed under the terms and
conditions of the Creative Commons
Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

© 2024 by the author.

Статья посвящена анализу попыток объяснения крушения советской версии модерна и распада СССР в (пост)советологии и исторической социологии. Отмечается, что исследования (пост)советологов, как правило, отличались определенной степенью идеологической ангажированности. Пример «советского коллапса» использовался ими для подтверждения ранее сформулированных подходов к изучению советской истории. Вместе с тем во многих случаях в фокусе их внимания оказывались ближайшие предпосылки этого события, но не долгосрочные исторические процессы. Преодолеть недостатки такого подхода позволяет обращение к исторической социологии. В статье рассмотрены прогноз распада СССР, предложенный Р. Коллинзом, и анализ советской версии модерна в трудах Й. Арнасона. Оба социолога характеризовали советский коллапс в контексте длительной исторической динамики. Если неовевебериянская концепция Коллинза демонстрирует определенный геополитический детерминизм, то Арнасон выделяет многообразные факторы динамики альтернативной версии модерна. В первой половине 1990-х гг. Арнасон использовал применительно к советской

Статья подготовлена в рамках проекта РНФ 23-18-01067 «Образы, концепты, проекты и модели цивилизационного развития российского общества». Acknowledgements: The article was prepared within the framework of the RSF project 23-18-01067 "Images, concepts, projects and models of civilizational development of Russian society".

системе свою модель имперской модернизации, но в дальнейшем он в большей степени подчеркивал цивилизационные аспекты коммунистической версии модерна. Это проявилось и в его оценке крушения советской модели модерна. В литературе, посвященной «советскому коллапсу», нередко встречается противопоставление СССР и Китая, причем акцент обычно делается на структурных и в особенности экономических факторах. Но, как указывается в статье, для целостного понимания происходивших в Китае трансформационных процессов требуется обращение к сфере культуры, на чем настаивает социологический цивилизационный анализ.

Ключевые слова: историческая социология, цивилизационный анализ, советология, коммунизм, модерн, СССР, Китай

Civilizational Analysis in Historical Sociology and Explanations of the “Soviet Collapse”

Mikhail V. Maslovskiy

Sociological Institute of Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences
ORCID: 0000-0002-1323-0935

61

The article deals with attempts to explain the collapse of the Soviet version of modernity — and the disintegration of the USSR — in (post)-Sovietology and historical sociology. It is argued that (post)-Sovietological studies were often characterized by a certain degree of ideological bias. In these studies, the example of “Soviet collapse” was generally used for a confirmation of earlier approaches to Soviet history. At the same time, they mostly focused on the immediate preconditions of that event rather than on long-term historical processes. The shortcomings of this approach can be overcome if we draw on historical sociology. The article considers the prediction of disintegration of the USSR offered by Randall Collins and Johann Arnason’s analysis of the Soviet version of modernity. Both sociologists characterized the Soviet collapse in the context of long-term historical dynamics. While Collins’s approach demonstrates a peculiar geopolitical determinism, Arnason singles out various factors of the dynamics of the alternative version of modernity. In the first half of the 1990s, Arnason applied his model of imperial modernization to the Soviet system, but later emphasized the civilizational aspects of communist modernity. This can also be seen in his evaluation of the Soviet collapse. In the literature on Soviet collapse, a contrast between the USSR and China is often highlighted, with structural and particularly economic factors being commonly highlighted. In contrast, the article argues that — for a comprehensive understanding of transformation processes in China — we need to consider the cultural sphere by drawing on sociological civilizational analysis.

Keywords: historical sociology, civilizational analysis, sovietology, communism, modernity, USSR, China

Введение

Крушение советской системы, сопровождавшееся распадом СССР, относится к числу наиболее мифологизированных событий истории XX столетия. В политической публицистике, посвященной этой теме, широко представлены разного рода теории заговора. В то же время в серьезной академической литературе объяснения причин «советского коллапса» часто оказываются в большей или меньшей степени идеологически ангажированными. Это характерно как для работ отечественных авторов, так и для зарубежных исследований. Если российских историков, политологов и социологов данный сюжет по-прежнему задевает за живое, то некоторые из их западных коллег стремятся использовать пример краха советской системы для подтверждения собственных идеологически окрашенных подходов. Однако каковы бы ни были идеологические предпочтения авторов соответствующих работ, в большинстве случаев их отличает акцент на ближайших предпосылках советского коллапса и недостаток внимания к долгосрочным историческим процессам.

62

Преодолеть некоторые из возникающих в результате этого проблем, по-видимому, позволяют подходы современной исторической социологии, для которой события рубежа 80–90-х годов XX века уже могут считаться легитимным объектом изучения. В данной статье основное внимание уделено цивилизационному анализу в исторической социологии, представленному трудами Й. Арнасона. Вместе с тем принимаются во внимание более материалистически ориентированный подход Р. Коллинза и работы историков, не чуждых определенных теоретических обобщений. В первой части статьи рассмотрены дискуссии представителей западной (пост)советологии по проблеме советского коллапса. Вторая часть посвящена обсуждению данной проблемы в рамках геополитического анализа Коллинза и цивилизационного анализа Арнасона. В третьей части с позиций цивилизационного подхода характеризуется трансформация альтернативного коммунистического модерна в Китае.

Интерпретации «советского коллапса» в (пост)советологии

На протяжении 1990-х гг. западные советологи, постепенно переквалифицировавшиеся в «транзитологов», неоднократно предпринимали попытки дать объяснение крушению коммунистической системы в СССР, которое сопровождалось распадом единого государства. В ходе развернувшейся по этому поводу дискуссии в очередной раз проявилось противостояние двух направлений (пост)

советологии: теории тоталитаризма и ревизионистской социальной истории. Сторонники тоталитарной модели, как М. Малиа и Р. Пайпс, считали, что «советский коллапс» послужил подтверждением их взглядов на характер коммунистического режима как монолитного, репрессивного, но в конечном итоге противоестественного. С точки зрения тоталитарной парадигмы подобный режим мог сохраняться лишь благодаря постоянному подавлению общества структурами государственной власти, тогда как ослабление тоталитарного контроля приводило к кризису и распаду коммунистической системы [Rowley 2001]. В отличие от этого в ревизионистской социальной истории ставилась под сомнение степень контроля государства над различными сферами социальной жизни в СССР, а также выделялись черты сходства между странами реального социализма и западными обществами [Fitzpatrick 2007]. Отмечалось, что крушение советской системы подорвало позиции таких сторонников ревизионистского подхода, как М. Левин, ожидавших в годы перестройки, что СССР будет успешно реформирован в духе «демократического социализма» [Rowley 2001: 414]. Однако не все представители ревизионистского направления разделяли эти иллюзии.

В любом случае требовалось проводить различие между двумя не совпадавшими процессами: крушением коммунистической системы и распадом СССР на составлявшие его республики. При этом ряд западных исследователей отмечали тот факт, что на момент распада СССР его политическая система уже определенно не соответствовала классическим признакам тоталитарного режима. С такой точки зрения демонтаж коммунистической системы был более длительным и постепенным процессом, чем дезинтеграция формально федеративного советского государства. Можно утверждать, что «преобразование тоталитарной системы в плюралистическую демократию произошло до того, как национальный сепаратизм развалил Союз» [Ibid.: 415]. В то же время, по мнению ряда сторонников ревизионистского подхода, сам факт распада СССР еще не означал его исторической обреченности, поскольку сыграли свою роль случайные исторические события.

В 1990-е гг. противостоявшую теории тоталитаризма социальную историю в качестве ведущего направления исследований постепенно замещала новая культурная история, которую Ш. Фицпатрик характеризует как «постревизионизм». Особенности этого подхода заключались в «изучении субъективных измерений советского опыта и новом понимании того, что идеология имеет значение» [Fitzpatrick 2007: 87-89]. В частности, С. Коткин стремился показать, как в годы первых пятилеток происходило формирование новой социалистической цивилизации [Kotkin 1995]. При этом делался акцент на наличии «особого» «культурного измерения советской со-

временности” — “мощного кластера” марксистско-большевистских символов, понятий, установок и даже форм речи, которые хлынули в политическую культуру в 1920–1930-е годы» [Крылова 2016: 123]. В целом Коткин и те, кто за ним последовал, расценивали коммунистическую идеологию «как коллективный социальный конструкт, а не нечто, навязанное режимом» [Fitzpatrick 2007: 88].

Как демонстрирует М. Дэвид-Фокс, в рамках нового направления в изучении советской истории, в свою очередь, выделились модернистский и неотрадиционалистский подходы. Если сторонники модернизма рассматривали осуществлявшиеся в соответствии с проектом коммунистического модерна процессы социальной трансформации, то последователи неотрадиционализма обсуждали воссоздание структур традиционного общества как непредвиденный результат столкновения большевистского проекта с российской действительностью. В фокусе внимания сторонников обоих подходов находился период до 1953 года, тогда как в работах, посвященных постсталинской советской системе, ее модерный характер обычно принимался как данность «в силу того, что СССР в то время был высокоразвитой промышленной и урбанизированной ядерной супердержавой» [Дэвид-Фокс 2016: 37]. Но следует отметить, что исследования представителей постревизионизма, как правило, были «в очень слабой степени связаны с событиями, происходившими во внешнем мире» [Fitzpatrick 2007: 79], включая советский коллапс и его ближайшие последствия.

64

Лишь в начале 2000-х гг. ведущий представитель постревизионистского направления С. Коткин осуществил анализ последних двадцати лет существования СССР и процесса распада советской системы. В своей книге «Предотвращенный Армагеддон» он обсуждал проблемы, которые накапливались в СССР по крайней мере с начала 1970-х годов. В частности, он сфокусировал внимание на устаревшей индустриальной инфраструктуре и изменявшейся геополитической ситуации. В работе Коткина в особенности подчеркивались значение структурных трансформаций и роль советской политической элиты. Американский историк охарактеризовал сложившееся под влиянием «социалистического идеализма» новое поколение партийных деятелей во главе с М. С. Горбачевым. Одна из основных задач книги Коткина заключалась в том, чтобы «объяснить, как и почему советская элита разрушила собственную систему» [Коткин 2018: 15].

Коммунистическая идеология выходит на первый план в исследовании Коткина, когда речь идет о взглядах Горбачева и других деятелей перестройки, искренне веривших, по мнению историка, в возможность гуманного, демократического социализма. Коткин подчеркивает, что в решении начать перестройку и в том, какую

форму она приняла, проявилось стремление советского руководства «осуществить социалистические идеи, возродить партию и вернуться к воображаемым идеалам Октября» [Там же: 38]. Что же касается широких слоев советских граждан, американский историк лишь довольно кратко описывает изменения в их мировосприятии, происходившие в том числе под воздействием западной потребительской культуры. В целом, хотя Коткин признавал влияние на динамику советского государства многообразных факторов, изменения в сфере культуры не были в достаточной степени отражены в его работе. Если в своем более раннем анализе «сталинизма как цивилизации» Коткин, как уже отмечалось, делал акцент на культурном измерении формировавшегося советского модерна, то при обсуждении его коллапса не был представлен сопоставимый анализ упадка коммунистической идеологии. Такого рода анализ содержится в исследовании А. Юрчака, в котором рассматриваются предпосылки распада советской системы на микроуровне повседневной жизни [Юрчак 2014].

Подробный перечень возможных причин советского коллапса приводит в одной из своих работ Р. Саква. Как отмечает этот политолог, дискуссии вокруг событий 1991 года фокусировались на вопросе о том, почему советское государство, одержавшее победу над нацистской Германией и достигшее к середине 1970-х гг. стратегического паритета с США, рухнуло «столь стремительно» [Sakwa 2013: 66]. Для ответа на данный вопрос привлекались многообразные причины. В целом были выделены различные экономические, политические и идеологические факторы, а также последствия роста межэтнических противоречий, роль политического лидерства, деятельность общественных движений и влияние Запада [Ibid.: 66-71]. В конечном итоге Саква приходит к выводу, что ни один из указанных факторов не может считаться решающим, но лишь их сочетание позволяет объяснить крушение советской системы. Тем не менее фундаментальной причиной такого крушения стала, по его мнению, неудавшаяся попытка создания альтернативного модерна. Но для лучшего понимания особенностей динамики и краха советской модели модерна требуется обратиться к подходам исторической социологии.

Историческая социология о распаде СССР и крушении советской модели модерна

Хотя по меркам исторической социологии советский коллапс сравнительно недавнее событие, этот процесс был рассмотрен некоторыми ведущими представителями данного направления как эпизод длительной исторической динамики. В частности, Р. Коллинз, разработавший неовеберовскую концепцию легитимности госу-

дарственной власти [Collins 1986; Масловский 2008], предвосхитил распад СССР за несколько лет до того, как он фактически произошел. В своих работах 1980-х гг. Коллинз выделял роль геополитических факторов в жизни различных государств, включая Российскую империю и СССР. В то же время американский социолог не считал идеологию независимой переменной, поскольку в конечном счете она, по его мнению, следует за геополитикой. Как утверждал Коллинз: «Современные политические идеологии, подобные коммунизму, демонстрируют геополитическую структуру, сходную с такими религиями, как христианство или ислам, в которых ереси и расколы возникали по линии геополитического антагонизма» [Collins 1986: 207]. Своеобразный геополитический детерминизм получил отражение и в предложенном им прогнозе распада СССР. Впервые Коллинз выступил с этим прогнозом в 1980 году в своих докладах в Йельском, Колумбийском и ряде других американских университетов, что встретило «повсеместно отрицательную» реакцию со стороны советологов [Коллинз 2008: 6-7]. Публикация его статьи, посвященной данной проблеме, в сборнике «Веберианская социологическая теория» в 1986 году осталась в тот момент практически незамеченной. Тем не менее Коллинз оказался более проницательным, чем проигнорировавшие его прогноз советологи.

66

Согласно Коллинзу, чрезмерное расширение территории «советской империи» (включая находившиеся в сфере влияния СССР страны Восточной Европы) привело к ресурсному напряжению, которое создавало условия для государственной дезинтеграции. Он указывал в этой связи: «Особое сочетание событий может даже привести к стремительной утрате территорий в течение ближайших тридцати лет, а в XXI веке вероятность упадка становится очень высокой» [Collins 1986: 187]. Как подчеркивал Коллинз, успех попытки любого из советских сателлитов в Восточной Европе выйти из-под контроля СССР означал бы значительный рост шансов на подобный сценарий и в соседних странах [Ibid.: 202]. Более того, с потерей Восточной Европы «были бы запущены кумулятивные процессы внутреннего ослабления, ведущие к утрате следующего пояса этнически своеобразных регионов: балтийских государств, Украины, Кавказа, среднеазиатских мусульманских территорий» [Ibid.: 203]. По мнению американского социолога, вероятным сценарием распада Советского Союза стал бы «внутренний раскол русского коммунизма на территориально локализованные ереси или фракции» [Ibid.: 207]. Можно предположить, что Коллинз представлял себе что-то вроде отделения от СССР, где сохранялся бы советский режим, например, еврокоммунистической Прибалтики или маоистской Средней Азии. Во всяком случае именно такова была логика предложенного им подхода. Тем не менее реальный ход исторических событий ока-

зался совсем иным. Но Коллинз стремился объяснить, прежде всего, распад единого советского государства, а не крушение советской версии модерна.

Следует отметить, что в своих более поздних работах Коллинз ссылается на понятие цивилизации. Американский социолог характеризует цивилизации как «зоны престижа и социальных контактов» [Collins 2001]. С одной стороны, цивилизация выступает как источник самоидентификации для принадлежащих к ней индивидов; с другой стороны, она является центром притяжения для тех, кто находится за ее пределами. В данном случае Коллинз опирается не столько на свой анализ геополитической динамики, сколько на собственные исследования социальных сетей, в особенности распространения различных философских и научных направлений. Использование цивилизационного подхода добавляет в концепцию Коллинза культурное измерение и несколько смягчает геополитический детерминизм, характерный для его более ранних исследований по исторической макросоциологии. Однако к объяснению советского коллапса с учетом цивилизационного фактора этот социолог уже не обращается.

С позиций современного цивилизационного анализа в исторической социологии динамику и крушение советской версии модерна рассмотрел Й. Арнасон. В 1993 году была опубликована его книга «Неудавшееся будущее: происхождение и судьбы советской модели» [Agnason 1993], которая содержала такой анализ. В дальнейшем Арнасон неоднократно возвращался к проблематике коммунистического модерна. В частности, он рассмотрел распространение советской модели как форму глобализации, а также охарактеризовал формирование специфической версии коммунистического модерна в Китае. В своей новейшей работе, посвященной теории модерна, он расширяет сравнительный анализ советского и китайского коммунизма [Agnason 2020]. Как указывает В. Шпон, Арнасон сформулировал «оригинальный цивилизационный подход к изучению коммунистических режимов в России и других регионах мира, который заслуживает дальнейшего теоретического развития и проведения сравнительных исследований» [Spohn 2011: 30]. Осуществленный Арнасоном анализ советской версии модерна получил отклик и в работах отечественных социологов [Браславский, Масловский 2014; Карасев 2021; Maslovskiy 2023].

Уже в своей книге «Неудавшееся будущее» Арнасон отмечал особенности российской традиции, сочетавшей «периферийное положение в западном мире с некоторыми чертами особой цивилизации», что способствовало формированию установки, соединявшей «отрицание западного модерна с претензиями на то, чтобы превзойти его» [Agnason 1993: 18]. С точки зрения этого социолога, сравни-

тельное изучение коммунистических проектов и режимов является одним из наиболее многообещающих путей для включения проблематики множественных модернов в социологический цивилизационный анализ [Arnason 2003: 335]. В рамках данного подхода Арнасон исследовал глобальную динамику коммунистической модели модерна. По его мнению, «разрывы и мутации, которые преобразовали большевистскую субкультуру в новый социальный строй, могут рассматриваться также как поворотные точки в длительном процессе взаимодействия России и Запада. В результате усиления контактов и более широких заимствований отношение России к западному миру приобрело черты цивилизационного столкновения и конфликта» [Арнасон 2021: 247].

В ряде своих работ Арнасон обращает внимание на цивилизационные аспекты советской модели модерна. Он подчеркивает, что советская система определяла себя как альтернативу западному модерну — в экономической, политической и культурной сферах. Капиталистическая экономика заменялась плановой экономикой, несмотря на сохранение некоторых элементов рыночного обмена. На смену западной модели демократии должна была прийти социалистическая или народная демократия. В сфере культуры коммунистическая идеология претендовала на роль подлинно научной доктрины, преодолевшей ограниченность буржуазных идей. При этом претензии на создание новой цивилизации, превосходящей западный модерн, играли ключевую роль в советском идеологическом арсенале. Тем не менее Арнасон характеризует советскую модель модерна как обладавшую лишь некоторыми цивилизационными чертами, не получившими полного развития. Но он указывает на признаки межцивилизационного взаимодействия, характеризуя конфликты внутри социалистического лагеря и, прежде всего, взаимоотношения СССР и Китая.

Обращаясь к анализу перестройки в СССР, Арнасон не принимает точку зрения тех исследователей, кто рассматривал процесс реформ как следствие развития гражданского общества. По его мнению, реформистское руководство страны отнюдь не действовало в соответствии с запросами гражданского общества, но следовало собственной стратегии [Arnason 1993: 210]. Реформаторы были убеждены в том, что в коммунистическую модель можно было вдохнуть новую жизнь. «Сама идея гласности в ее радикальном смысле, то есть принятия общественной дискуссии об истории и состоянии советского общества, отражала оптимистический взгляд на советскую культуру как устоявшуюся традицию и ее потенциал саморефлексии. Подобным же образом поразительное непонимание и недооценка национальных проблем со стороны руководства могут быть объяснены лишь как результат веры в объединяющую и асси-

милирующую мощь советской социокультурной модели. Кажется вероятным, что непоследовательность новой экономической политики Горбачева была обусловлена теми же причинами: пока общие цивилизационные рамки казались прочными, возникало искушение экспериментировать с разными подходами в различных сферах» [Арнасон 2021: 208-209].

В конечном итоге, согласно Арнасону, советский коллапс был вызван целым комплексом экономических, политических и культурных факторов. Он полагает, что данный пример служит «особенно наглядным свидетельством неадекватности монокаузальных объяснений» [Arnason 2020: 140]. В то же время концепция Арнасона не вписывается в классификацию подходов к объяснению коллапса СССР, представленных в советологической литературе. Отмечалось, что этот социолог был в числе тех, кто «положил начало переходу от тоталитарной к имперской концептуализации советского режима» [Rowley 2001: 420]. Однако такая характеристика является неполной. Хотя в первой половине 1990-х гг. Арнасон использовал применительно к советской системе свою модель имперской модернизации, в дальнейшем он в большей степени выделял цивилизационные аспекты коммунистической версии модерна. Это проявилось и в его оценке крушения советской модели.

69

Значение социологического цивилизационного анализа для понимания причин советского коллапса подчеркивает Р. Саква. По мнению этого политолога, цивилизационная теория Эйзенштадта и Арнасона в большей степени применима для объяснения долгосрочных тенденций развития советского общества, чем мейнстримные советологические подходы. В целом Саква соглашается с Арнасоном в том, что «советский эксперимент» представлял собой неудавшуюся попытку создания «альтернативного модерна» [Sakwa 2013: 74]. В таком случае советская система может рассматриваться не как антимодернистская, но как модернизированная «неправильным образом» (mismodernised). Следуя за Арнасоном, британский политолог указывает, что советская адаптация к вызовам модерна «не привела к выработке последовательной стратегии, позволяющей справиться со всей совокупностью этих вызовов» [Ibid.: 75]. В конечном итоге альтернативный модерн в его советской версии оказался нежизнеспособным. Однако иная ситуация сложилась в коммунистическом Китае.

Возвышение Китая: трансформация альтернативного модерна и роль цивилизационного фактора

В Китае, что отличает его от СССР и Восточной Европы, оказалась возможной постепенная трансформация коммунистической модели

модерна. Однопартийный коммунистический режим в Китае уже превзошел советский режим по длительности своего существования. Более того, период после крушения советской версии модерна отмечен стремительным экономическим ростом Китая. Как отмечает в этой связи М. Манн, «после одной опрометчивой попытки, чуть было не обернувшейся катастрофой, китайские коммунисты сумели найти экономическое решение, которое позволило им избежать новых революционных потрясений, обеспечило стабильный экономический рост и вернуло стране исторический статус азиатского гиганта» [Манн 2018: 322]. Противопоставление СССР и Китая довольно часто встречается в литературе, посвященной советскому коллапсу, причем акцент, как правило, делается на структурных и экономических факторах. Так, С. Коткин подчеркивает, что успех китайских реформ, начатых Дэн Сяопином, был во многом обусловлен огромным объемом прямых иностранных инвестиций, причем инвесторами выступали главным образом зарубежные китайцы, тогда как у России «не было своих Гонконга и Тайваня» [Коткин 2018: 183]. Но сугубо экономический подход к анализу причин возвышения Китая, по-видимому, является недостаточным. Для целостного понимания происходивших в Китае трансформационных процессов требуется обращение к сфере культуры, на чем настаивает социологический цивилизационный анализ.

70

Й. Арнасон выделяет три отличия СССР от коммунистического Китая. Во-первых, у Китая не было внешней периферии в виде союзных республик и других социалистических государств. Во-вторых, китайская версия альтернативного модерна соединяла собственный имперский опыт с уже существующим опытом советской модели. В-третьих, Китай «более бережно относился к собственным традициям и более умело комбинировал их» [Титаренко 2022: 86]. Однако следует отметить, что о бережном отношении к собственным традициям едва ли возможно говорить в период правления Мао Цзэдуна. Характерно, что последняя крупная идеологическая кампания, развернутая при жизни Мао, была направлена против конфуцианского влияния. Тем не менее вскоре после смены политического курса в конце 1970-х гг. были подвергнуты переоценке некоторые элементы конфуцианской традиции, занявшие заметное место в официальном дискурсе.

В целом модернизационная траектория китайского коммунизма демонстрирует «особенно сложное сочетание антитрадиционализма, преемственности и возврата к традиционным истокам» [Arnason 2020: 3]. Новый поворот к конфуцианству в идеологической политике КПК намечился в 2005 году, когда лидер партии Ху Цзиньтао указал на значение конфуцианского идеала социальной гармонии и призвал партийные кадры к построению гармоничного об-

щества. Хотя в 2011 году после дискуссии в партийном руководстве статуя Конфуция убрали с площади Тяньаньмэнь, уже через три года Си Цзиньпин стал первым лидером страны коммунистического периода, публично отмечавшим годовщину смерти Конфуция. В настоящее время партийные функционеры должны посещать лекции по конфуцианской философии, а тексты Конфуция изучаются в системе школьного образования. При этом в заявлениях китайских официальных лиц ссылки на конфуцианские идеи широко используются для иллюстрации стремления Китая к более гармоничному миру [Coker 2019: 105].

Согласно получившей широкую известность формуле Л. Пая, Китай представляет собой «цивилизацию, притворяющуюся национальным государством» [Pye 1992: 232]. Как отмечает К. Коукер, в случае Китая мы имеем дело с цивилизацией, которая не только превосходит все другие по длительности непрерывного существования, но и является наиболее самодостаточной в культурном отношении. В данном случае может вызывать удивление не само по себе утверждение о том, что Китай является цивилизационным государством, «а тот факт, что потребовалось так много времени для появления этого утверждения» [Coker 2019: 98]. Но, хотя китайское руководство «настойчиво возрождает конфуцианство», следует учитывать, что традиция конфуцианства пересекается и конкурирует «с альтернативными традициями даосизма, буддизма, ислама, христианства, народной религиозности, атеизма и секуляризма» [Katzenstein 2012: 10]. Кроме того, акцент исключительно на наследии религиозных традиций приводит к недооценке сохраняющегося в Китае влияния альтернативной модели модерна.

С точки зрения П. Катценштейна, возвышение Китая не является «ни историческим разрывом, ни возвращением в историю. Вместо этого мы можем распознать в этом возвышении рекомбинацию старых и новых паттернов и компонентов» [Ibid.: 6]. Как полагает Арнасон, в постмаоистском Китае сочетание паттернов капиталистического развития, элементов марксистско-ленинской политической практики и идеологии, а также избирательного возрождения конфуцианского наследия и имперской традиции является чем-то большим, чем вариант советской модели. В официальной идеологии КПК используется такой термин, как «социализм с китайской спецификой». В данном случае понятие социализма подчеркивает преемственность истории Китая после 1949 года, а ссылка на соответствующую специфику может относиться «к традициям китайской цивилизации, современному китайскому национализму или усилению Китая на мировой арене» [Arnason 2020: 170]. Но в любом случае партия определяет, что именно должно считаться такого рода спецификой. Как отмечает Й. Терборн, буду-

щее покажет, насколько успешным может оказаться союз между коммунистической партией и «возрожденной неоконфуцианской цивилизацией» [Theborn 2021: 239].

В конечном итоге происходившие в последние десятилетия в Китае экономические и социальные процессы требуют определенного изменения сложившегося восприятия коммунистического модерна. С точки зрения Арнасона, следует пересмотреть события конца XX в., которые воспринимались как повсеместное крушение коммунизма или свидетельство неизбежности этого крушения. «Воссоединение Китайской империи под коммунистическим правлением являлось ключевым фактором построения и реструктуризации государства развития; китайский опыт, следовательно, имеет решающее значение для оценки исторического наследия коммунизма» [Arnason 2020: 183]. Как полагает этот социолог, в долгосрочной перспективе воссоздание китайского государства на основе заимствования и адаптации советской модели может оказать большее влияние на ход мировой истории, чем формирование и динамика данной модели в российском контексте.

72

Тем не менее остается неясным, в какой мере сегодняшний Китай может расцениваться как пример альтернативного модерна. «Общепризнанно, что идеологические претензии и глобальные амбиции китайского режима, насколько можно судить по их открытым проявлениям, далеки от советских прецедентов периода холодной войны, однако наблюдатели отмечают растущую тенденцию противопоставлять успехи Китая упадку Запада и указывать на китайский путь как на образец для развивающихся стран» [Арнасон 2022: 105]. В любом случае требуются как дальнейшая разработка концепции альтернативного модерна, так и более детальный анализ происходящих в Китае социальных процессов с позиций данной концепции.

Заключение

В работах представителей различных течений (пост)советологии, посвященных проблеме советского коллапса, как правило, проявлялись идеологические предпочтения их авторов. В 1990-е гг. сторонники теории тоталитаризма и ревизионистской социальной истории продолжали вести дискуссии о характере советской системы, опираясь на ранее сформулированные подходы и лишь распространив их на анализ предпосылок ее крушения. Однако с середины 1990-х гг. складывается новое постревизионистское направление в изучении советского общества. Сторонники данного подхода в целом оказались менее идеологически ориентированными, чем их ближайшие предшественники. Ведущий представитель пост-

ревизионизма С. Коткин признавал влияние на динамику советского государства преимущественно структурных факторов. Однако изменения в сфере культуры не были в достаточной степени отражены в его книге «Предотвращенный Армагеддон», в отличие от его более раннего анализа сталинизма как цивилизации.

Среди исследований исторических социологов, затрагивающих проблему крушения советской системы и распада СССР, особого внимания заслуживают труды Р. Коллинза и Й. Арнасона. Но следует учитывать, что Коллинз, предложивший прогноз распада СССР, не предвидел возможности коллапса коммунистической версии модерна. Согласно Арнасону, фундаментальной причиной крушения советской системы стала неудавшаяся попытка создания альтернативного модерна. С точки зрения этого социолога, советский коллапс был вызван целым комплексом экономических, политических и культурных факторов. Если в первой половине 1990-х гг. Арнасон использовал применительно к советской системе свою модель имперской модернизации, то в дальнейшем он в большей степени выделял цивилизационные аспекты исторической динамики советской версии модерна, в том числе ее крушения.

73

В отличие от СССР в Китае происходила постепенная трансформация коммунистической модели модерна. Вместе с тем в период после краха его советской версии наблюдался быстрый рост китайской экономики. Как демонстрируют работы исторических социологов, для адекватного объяснения причин возвышения Китая требуется обращение к сфере культуры. Особенностью Китая стало соединение мощного цивилизационного наследия с коммунистическим проектом альтернативного модерна. Согласно Арнасону, характерное для постмаоистского периода сочетание паттернов капиталистического развития, элементов марксистско-ленинской политической практики и идеологии, а также избирательного возрождения конфуцианского наследия и имперской традиции является уже чем-то большим, чем вариант советской модели. В то же время остается открытым вопрос о том, может ли сегодняшний Китай считаться примером альтернативного модерна.

Библиография / References

Арнасон Й. (2021) *Цивилизационные паттерны и исторические процессы*. М.: Новое литературное обозрение. EDN: OMAUNS

— Arnason J. (2021) *Civilizational Patterns and Historical Processes*. Moscow: Novoe Literaturnoe Obozrenie. — in Russ.

Арнасон Й. (2022) Тоталитарный раскол: альтернативные модерности XX века. *Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре*, 1: 105-130. EDN: BUJUOC

— Arnason J. (2021) The Totalitarian Schism: Alternative Modernities of the 20th Century. *Neprikosnovennyi zapas. Debaty o politike i kul'ture*, 1: 105-130. — in Russ.

Браславский Р., Масловский М. (2014) Цивилизационный анализ и советский модерн. *Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре*, 6: 45-55. EDN: VOFVDZ

— Braslavskiy R., Maslovskiy M. (2014) Civilizational Analysis and Soviet Modernity. *Neprikosnovennyi zapas. Debaty o Politike i kul'ture*, 6: 45-55. — in Russ.

Дэвид-Фокс М. (2016) Модерность в России и СССР: отсутствующая, общая, альтернативная или переплетенная? *Новое литературное обозрение*, 4: 19-44. EDN: ZCJGUR

— David-Fox M. (2016) Russian-Soviet Modernity: None, Shared, Alternative or Entangled? *Novoe Literaturnoe Obozrenie*, 4: 19-44. — in Russ.

Карасев Д. Ю. (2021) Реляционно-цивилизационный подход Й. Арнасона и глобальное измерение советского модерна. *Социологические исследования*, 9: 151-156. EDN: YHDGTQ. <https://doi.org/10.31857/S013216250016501-4>

— Karasev D.Yu. (2021) J. Arnason's Civilizational and Relational Analysis and Global Dimension of Soviet Modernity. *Sotsiologicheskije issledovaniya*, 9: 151-156. — in Russ. <https://doi.org/10.31857/S013216250016501-4>

Коллинз Р. (2008) Макросоциологическое предсказание: пример коллапса СССР. *Социологический журнал*, 3: 4-29. EDN: PFORYT

— Collins R. (2008) Prediction in Macrosociology: The Case of Soviet Collapse. *Sotsiologicheskij zhurnal*, 3: 4-29. — in Russ.

Коткин С. (2018) *Предотвращенный Армагеддон. Распад Советского Союза, 1970-2000*. М.: Новое литературное обозрение.

— Kotkin S. (2018) *Armageddon Averted: The Soviet Collapse, 1970-2000*. Moscow: Novoe Literaturnoe Obozrenie. — in Russ.

Крылова А. (2016) «Советская современность»: Стивен Коткин и парадоксы американской историографии. *Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре*, 4: 118-136. EDN: WYLKMF

— Krylova A. (2016) "Soviet Modernity": Stephen Kotkin and the Paradoxes of American Historiography. *Neprikosnovennyi zapas. Debaty o politike i kul'ture*, 4: 118-136. — in Russ.

Манн М. (2018) *Источники социальной власти: в 4 т. Т. 4. Глобализации, 1945-2011 годы*. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС. EDN: KRHAPJ

— Mann M. (2018) *The Sources of Social Power. Vol. 4. Globalizations, 1945-2011*. Moscow: RANKhiGS. — in Russ.

Масловский М. В. (2008) Неовеберянская историческая социология. *Социологические исследования*, 3: 119-126. EDN: IPJEHL

— Maslovskiy M. V. (2008) Neo-Weberian Historical Sociology. *Sotsiologicheskije issledovaniya*, 3: 119-126. — in Russ.

Титаренко Л. Г. (2022) Восточноазиатский модерн в цивилизационной концепции Йохана Арнасона. *Журнал социологии и социальной антропологии*, 25 (2): 80–95. EDN: APVZKR. <https://doi.org/10.31119/jssa.2020.25.2.4>

— Titarenko L. G. (2022) Eastern Asian Modernity in the Civilizational Conception of Johann Arnason. *Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii*, 25 (2): 80–95. — in Russ. <https://doi.org/10.31119/jssa.2020.25.2.4>

Юрчак А. (2014) *Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение*. М.: Новое литературное обозрение.

— Yurchak A. (2014) *Everything Was Forever Until There Was No More: The Last Soviet Generation*. Moscow: Novoe Literaturnoe Obozrenie. — in Russ.

Arnason J. (1993) *The Future that Failed: Origins and Destinies of the Soviet Model*. London: Routledge.

Arnason J. (2003) *Civilizations in Dispute: Historical Questions and Theoretical Traditions*. Leiden: Brill.

Arnason J. (2020) *The Labyrinth of Modernity: Horizons, Pathways and Mutations*. Lanham: Rowman and Littlefield.

Coker C. (2019) *The Rise of the Civilizational State*. Cambridge: Polity.

Collins R. (1986) *Weberian Sociological Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.

Collins R. (2001) Civilizations as Zones of Prestige and Social Contact. *International Sociology*, 16 (3): 421–437. <https://doi.org/10.1177/026858001016003011>

Fitzpatrick S. (2007) Revisionism in Soviet History. *History and Theory*, 46 (4): 77–91. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2303.2007.00429.x>

Katzenstein P. (2012) China's Rise: Rupture, Return or Recombination? In P. Katzenstein (ed.) *Sinicization and the Rise of China: Civilizational Processes Beyond East and West*. Abingdon: Routledge: 1–38.

Kotkin S. (1995) *Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization*. Berkeley: University of California Press.

Maslovskiy M. (2023) Johann P. Arnason's Analysis of Communism and the Debate on Soviet Modernity. *International Journal of Social Imaginaries*, 2 (1): 26–46. <https://doi.org/10.1163/27727866-bja00024>

Pye L. (1992) *The Spirit of Chinese Politics*. Cambridge: Harvard University Press.

Rowley D. (2001) Interpretations of the End of the Soviet Union: Three Paradigms. *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*, 2 (2): 395–426. <https://doi.org/10.1353/kri.2008.0107>

Sakwa R. (2013) The Soviet Collapse: Contradictions and Neo-Modernization. *Journal of Eurasian Studies*, 4 (1): 65–77. <https://doi.org/10.1016/j.euras.2012.07.003>

Spohn W. (2011) World History, Civilizational Analysis and Historical Sociology: Interpretations of Non-Western Civilizations in the Work of Johann Arnason. *European Journal of Social Theory*, 14 (1): 23–39. <https://doi.org/10.1177/1368431010394506>

Therborn G. (2021) States, Nations and Civilizations. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 14 (2): 225–242. <https://doi.org/10.1007/s40647-020-00307-1>

Масловский Михаил Валентинович — доктор социологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник, Социологический институт РАН — филиал ФНИСЦ РАН, Санкт-Петербург, Российская Федерация. Научные интересы: современные социологические теории, историческая социология, политическая социология.

ORCID: 0000-0002-1323-0935. E-mail: m.maslovskiy@socinst.ru

Mikhail V. Maslovskiy — Doctor of Sciences (Sociology), Professor, Lead researcher, Sociological Institute of Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, St.-Petersburg, Russian Federation. Research interests: contemporary sociological theories, historical sociology, political sociology.

ORCID: 0000-0002-1323-0935. E-mail: m.maslovskiy@socinst.ru

Причины войн и их роль в социальной эволюции: обобщение современных концепций

НИКОЛАЙ С. РОЗОВ

Институт философии и права Сибирского отделения РАН;
Новосибирский государственный технический университет,
Новосибирск, Российская Федерация

ORCID: 0000-0003-2362-541X

Рекомендация для цитирования:
Розов Н. С. (2024) Причины войн и их роль в социальной эволюции: обобщение современных концепций. *Социология власти*, 36 (3): 77-98
<https://doi.org/10.22394/2074-0492-2024-3-77-98>

For citations:
Rozov N. S. (2024) Causes of Wars and Their Role in Social Evolution: Generalization of Modern Concepts. *Sociology of Power*, 36 (3): 77-98
<https://doi.org/10.22394/2074-0492-2024-3-77-98>

Поступила в редакцию: 27.04.2024;
прошла рецензирование:
01.07.2024;
принята в печать: 25.07.2024
Received: 27.04.2024; Revised:
01.07.2024; Accepted for publication:
25.07.2024



This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

© 2024 by the author.

В статье представлен системный и исторический взгляд на войны с учетом обобщения современных концепций об их природе и причинах. Обобщение сделано на основе политико-социологического аппарата с такими базовыми понятиями, как «заботы» разного типа (включая «интересы», «мотивы», «цели», «ценности»), расширение схемы вызов-ответ (А. Тойнби), позитивное и негативное «подкрепление» (Торндайк-Скиннер), «обеспечивающие структуры» (А. Стинчкомб). Все заботы, связанные с войнами, имеют в своей основе социальные универсалии М. Вебера и М. Манна: могущество-безопасность, власть-доминирование, престиж-достоинство-легитимность, богатство-ресурсы-доступ к ресурсам. Рассмотрены геополитические заботы (относительно контроля над территориями), символические ставки и заботы поддержания международного порядка. Приоритетность соответствующих забот меняется как в долгой социальной эволюции, так и в краткосрочной динамике взаимодействий. Рассмотрена спиральная динамика как динамическая модель причины непреднамеренных войн, «которых никто не хотел». Соответствующие решения, действия правителей и элит, связанные с войной, проанализированы в контексте быстрого и медленного мышления по Д. Канеману. Общие принципы социального взаимодействия и социальной эволюции позволяют судить об условиях, повышающих и снижающих вероятность возникновения новых войн, а также о закономерностях динамики и прекращения войн.

Объясняются эмпирические обобщения характеристик войн в мировой истории, сделанные современными специалистами (С. Ван Эвера, Г. Кэшман и др.). Показано, какую роль играют войны в коэволюции социальных, ментальных и техноприродных порядков, а также в целом в социальной эволюции.

Ключевые слова: причины войн, непреднамеренные войны, преднамеренные войны, социальная эволюция, роль войн в истории, социальные порядки, ментальные порядки, демократический мир, коллегиальное разделение власти

Causes of Wars and Their Role in Social Evolution: Generalization of Modern Concepts

Nikolai S. Rozov

Institute of Philosophy and Law, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences; Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russian Federation

ORCID: 0000-0003-2362-541X

78

The article presents a systemic and historical view of wars taking into account the generalization of modern concepts about their nature and causes. The generalization is produced on the basis of a political and sociological apparatus with such basic concepts as: "concerns" of different types (including "interests", "motives", "goals", "values"), an extension of the challenge-response scheme (A. Toynbee), positive and negative "reinforcement" (Thorndike-Skinner), and "support structures" (A. Stinchcombe). All the concerns related to wars are based on the social universals of M. Weber and M. Mann: power-security, power-dominance, prestige-dignity-legitimacy, and wealth-resources-access to resources. Geopolitical concerns (regarding control over territories), symbolic stakes, and concerns with maintaining the international order are considered. The prioritization of relevant concerns changes in both the long run of social evolution and the short run of dynamics of interactions. The article considers spiral dynamics as a dynamic model of the cause of unintended wars "that no one wanted." Relevant decisions and actions of rulers and elites related to war are analyzed in the context of fast and slow thinking according to D. Kahneman. The general principles of social interaction and social evolution allow us to judge the conditions that increase and decrease the probability of new wars, as well as the regularities of the dynamics and termination of wars. Empirical generalizations of the characteristics of wars in world history made by modern specialists (S. Van Evera, G. Cashman, etc.) are discussed. It is shown what role wars play in the co-evolution of social, mental, and techno-natural orders, as well as in social evolution in general.

Keywords: causes of wars, unintentional wars, intentional wars, social evolution, role of wars in history, social orders, mental orders, democratic world, collegial division of power

В XXI веке вооруженные конфликты и войны разной степени интенсивности и масштаба возобновляются с удручающим постоянством. Этот факт находится в остром противоречии не только с исходными идеями и предназначением объединяющей все признанные государства Организации Объединенных Наций, но и с широко распространенными представлениями о нормальности, желательности мирного сосуществования обществ, сколь бы различными они ни были в своем политическом и экономическом устройстве, а также в религии, идеологии, культуре, ценностях. Даже политические силы, начинающие и продолжающие вооруженные столкновения и войны, избегают объявлять их нормальным и желательным состоянием, претендуя на то, что они готовы установить справедливый и прочный мир (разумеется, только после своей победы).

Данное противоречие указывает на существование неких глубинных и, вероятно, сложных, разнородных причин возобновляющихся войн, которые никак несводимы к «ошибкам», «нерациональности», «непреодоленному животному началу», «извечной агрессивности человеческой природы» и т.п. ходовым, поверхностным объяснениям. В социальных и исторических науках накоплен солидный объем знаний, однако само обилие разнородных концепций природы и причин войн существенно затрудняет их использование. Требуется некий «общий знаменатель» — достаточно абстрактный политико-социологический аппарат, позволяющий корректно связывать и совместно использовать эти концепции.

При построении такого аппарата внимание будет сосредоточено на понятиях, связанных с разного рода движителями («драйверами») человеческого поведения. Таковы потребности, заботы, интересы, решения. Объективные структурные факторы и субъективные особенности акторов, разумеется, значимы в каждом случае возникновения военного конфликта, но все они действуют не помимо, а через указанные движители.

Заботы — универсальный драйвер человеческого поведения

В (пост)марксистском обществензнании фундаментальным концептом, объясняющим человеческое поведение, являются «потребности». Это понятие наиболее адекватно для уровня базовых индивидуальных нужд, источников мотивов и желаний в сферах пропитания, комфортности среды, родительства, сексуальности, общения с близкими. На производных, надстроенных уровнях более корректно использовать понятие «забота».

Действительно есть потребности в еде и в том, чтобы в доме было тепло. Но нашими действиями по закупке продуктов, заготовкам на зиму, обустройству кухни и столовой, починке плиты или холодильника, по решению проблем, связанных с отоплением, непосредственно движут уже не сами нужды организма, а *заботы* — нормативные представления о должном состоянии соответствующих предметов и условий. Тем более в охватывающих социальных масштабах (район, город, область, страна, союз государств) руководители, организации, институты движимы *заботами*, в том числе связанными с безопасностью, престижем, легитимностью, доступом к ценным ресурсам и т. д.

Здесь будем говорить только о тех заботах, для обеспечения которых сообщество готово применять вооруженное насилие. Такого рода *заботу* определим как *отношение, связывающее: 1) сообщество, 2) гомеостатическую переменную как шкалу значений (предмет заботы) и 3) установку на применение насилия (вынужденное или возможное)* для возвращения этих значений к приемлемому состоянию, либо доведения их до желаемого, целевого состояния.

80 Чтобы каждый раз не делать оговорки о широком разнообразии внутренних политических устройств и распределении полномочий, будем далее говорить о «сообществе» и его «заботах», подразумевая, что сообщество способно начать войну или вступить в войну вследствие решения полномочных правителей — *терминальных акторов* (индивидуальных или коллективных).

Несмотря на непривычность, понятие «забота» более предпочтительно, чем «потребность», поскольку предполагает активность, усилия, действия в осуществлении заботы. Понятие «потребность» слишком связано с состояниями организмов, непосредственными желаниями, стремлениями. Понятие «забота», скорее, связано с обязательствами, рациональным ожиданием трудностей, дефицитов, препятствий, к которым надо готовиться и которые приходится преодолевать, а также с нормативностью и институтами. Странно говорить и думать, что политик или чиновник испытывает «потребность» в безопасности, в расширении круга союзников или в росте могущества державы. Таковы именно *заботы* лиц и групп, попавших в соответствующие институциональные позиции.

Кроме того, *забота* как стремление удерживать в нужных рамках значения *гомеостатической переменной* встроена в конструктивную охватывающую модель с понятиями *обеспечивающая структура, издержки, напряжения* [Stinchcombe 1987: 80-100].

Понятие заботы допускает многократное усложнение, в результате которого можно говорить о *производных заботах* второго, третьего, четвертого порядка. Политическая забота о могуществе обеспечи-

вается такой структурой, как армия, но поддержание боеспособной армии является особой — уже производной — заботой. Далее вырастают следующие слои забот по развитию и обновлению вооружений, профессиональной подготовке офицеров, постройке и поддержанию училищ, лагерей для военной подготовки и учений, развитию школы военных хирургов и т.п.

Интересы как типы геополитических забот

Интересы дипломатии, ведущие к заключению и разрыву союзов, к военным действиям и развязыванию войн, также могут быть осмыслены как производные заботы в отношении к более глубоким заботам или конкретным целям, причем все они «питаются энергией» типовых политических, а иногда и базовых антропных забот, например, когда задеты честь, достоинство правителя, правящей группы как терминального актора [Браун 2003; Blattman 2022].

В качестве главного понятия для анализа мотиваций, связанных с войнами, обычно используют «интересы», например, интерес получить военно-политический контроль («присоединить», «захватить» или «освободить») такую-то территорию или такой-то пролив [Copeland 2000; Fry 2013]. Говорят также об интересах сохранить и увеличить свое могущество, влияние, престиж и т.п. Таким образом, «интерес» является слишком общим, размытым понятием. Его следует разделить на следующие уровни:

- интерес как *цель* — в данной ситуации получить такой-то конкретный результат;
- интерес как более или менее *долговременный мотив* (в течение десятилетий или даже столетий) относительно каких-то внешних объектов, например, интерес Российской империи к получению контроля над проливами, интерес Британской империи, а затем Соединенного Королевства к получению и сохранению контроля над Гибралтаром и Суэцким каналом; интерес США к контролю над Панамским каналом;
- интерес как *типичная политическая забота* — стремление, выраженное в поведении, действиях, терминальных акторов к сохранению или возвращению значений определенной переменной (предмета заботы) в приемлемую или желаемую область; именно такими заботами являются «интерес держав в поддержании и росте своего могущества, влияния, авторитета, достоинства», «интерес обладать паритетной или превосходящей военной силой», «интерес к сохранению или расширению подконтрольных территорий» и т. д.;

- интерес как *базовая антропная забота* — стремление поддерживать условия обеспечения человеческих потребностей в пропитании, защиты от ненастья, холода, зноя, доступа к жизненно важным ресурсам, статуса, положения среди себе подобных, сексуальности и родительства.

Наиболее ходовые в геополитической и военной тематике понятия «интерес», «мотив», «цель», «задача» являются конкретными, частными выражениями более общих забот. Так, типовой «национальный интерес» к контролю над проливами или каналами является выражением заботы о беспрепятственном прохождении собственных военных и торговых судов в наиболее значимые акватории и о своей способности регулировать такое прохождение чужих судов. Не было бы этой заботы, не существовало бы и таких интересов.

Беззаботные не начинают войн и не ввязываются в войны. Даже если война — ответ на вызов, то воздействие воспринято как вызов лишь оттого, что задело, активизировало некую весьма значимую заботу.

82

Геополитические заботы, символические ставки и международный порядок

Под *геополитикой* (как реальностью) здесь понимается сфера социальных взаимодействий относительно военно-политического контроля над территориями (в широком смысле, включая акватории: моря, проливы, озера, реки). Основные *геополитические заботы* связаны с сохранением контроля над уже имеющимися пространствами и с расширением этого контроля на новые земли.

Территориальные войны происходят, когда для одного сообщества или альянса другие сообщества или их вооруженные силы оказывают помехами в осуществлении полного и признанного контроля над определенным пространством [Lebow 2010]. Иными словами, такие войны ведутся сообществами, *в заботы которых входит контроль над одной и той же территорией.*

Особую роль среди геополитических забот играют т.н. *символические ставки*, когда контроль над определенной территорией, городом, морем, проливом связывается не столько с экономической выгодой, сколько с традиционными святынями, идентичностями, а значит — с моральным и политическим престижем державы, ее правителей и элит [Senese, Vasquez 2008: 17; Martin 2018].

Понятие *символических ставок* указывает на необходимость включения в предметы заботы таких специфических сущностей, как *символы*, в том числе религиозные святыни, моральные и политические ценности, культурные традиции, правовые принципы.

Символы всегда связаны с сильными эмоциями, такими как гордость, самоуважение от причастности к символам и успешной их защиты, как унижение, подавленность или ненависть, когда принимаемые символы, особенно святыни, принципы, традиции, кем-то попораны или оскорблены [Higonaka 2005; Mann 2023].

Следует также указать на особые заботы утверждения и защиты международного правового порядка. Благодаря наличию таких забот у сильнейших держав («мировых полицейских») международные нормы и институты способны быть факторами как ограничителей, препятствий войнам, так и пусковыми крючками для развязывания новых войн [Lebow 2010].

Все ли войны ведутся из-за территорий и за территории? Увы, мотивов развязывать войны больше. Они ведутся для принуждения выполнить какие-то требования, для наказания, для мести, для восстановления или поддержания своего престижа и т. д. В целях охвата довольно широкого круга таких мотивов, целей, интересов, желаний следует принять во внимание и другие заботы.

Общий тезис состоит в том, что все типы стремлений возникают только при наличии забот относительно тех или иных предметов. Например, представители сообщества (племени, вожества, государства) *А* убили мужчин, захватили женщин сообщества *Б*, оскорбили его богов или священную память предков, отравили воду в реке, напустили порчу, привели своими грехами к засухе и болезням. Не будем уточнять достоверность и даже возможность таких возмутительных действий. Важно, что у сообщества *Б*, его правителей и элит есть уверенность в их реальности, которая служит достаточным стимулом для возмездия — вооруженного нападения на сообщество *А*. Такое нападение может привести к войне, если сторона *А*, в свою очередь, сопротивляется и отвечает насилием на насилие. Как видим, круг забот, способных привести к войнам, принципиально открыт.

Вызовы-угрозы и вызовы-возможности

Тойнбианская схема «вызовы и ответы» уже давно вошла в словарь политических аналитиков, публицистики и авторов бюрократических документов. С одной стороны, слишком частое и вольное употребление размывает и загуманивает значение понятий, с другой стороны, эти неприятности не отменяют здравого ядра и полезности концептов.

Уточним элементы этой схемы посредством понятия «забота» как части охватывающей функциональной модели [Stinchcombe 1987: 80–85]. Поскольку *предмет заботы* представляется в форме переменного параметра — шкалы с зонами приемлемых значений, то *вы-*

зов-угроза является воздействием, которое выводит или способно вывести эти значения за пределы этой зоны. Иначе говоря, *вызов-угроза* — это такое проявление *напряжения*, которое наносит ущерб или воспринимается как вероятное нанесение ущерба для *предмета* той или иной *заботы*, т. е. выведение значений *гомеостатической переменной* за пределы *приемлемости*.

Допустим, в состав забот некоего сообщества входят контроль над территорией (исключительный доступ к ней), безопасность самих членов сообщества, сохранность их ресурсов (запасов, жилищ, инфраструктуры, производств) и доступ к ним, защищенность своих святынь от каких-либо оскорблений.

Ответ на вызов-угрозу обычно состоит в действиях, направленных на устранение угрозы. Тогда реальный, ожидаемый или кажущийся нанесенный извне ущерб для любого из этих предметов забот вполне может вызвать такой ответ — агрессивные вооруженные действия, направленные на реальные или предполагаемые источники угрозы, что способно стать началом войны.

84 Кроме того, на той же шкале обычно располагается другая зона — желаемых, привлекательных для актора значений (больше могущества, больше ресурсов, больше престижа и т.п.). Соответственно, *вызов-возможность* (или *вызов-соблазн*) определяется как новые или ставшие известными актору обстоятельства, открывающие ему привлекательные перспективы, что позволяет ставить конкретные практические цели для достижения новых привлекательных значений в шкале своего значимого предмета заботы.

Захват чужой богатой ресурсами земли, накопленных запасов, ценностей, подчинение, присвоение чужих женщин или детей, а также юношей, мужчин как потенциальных работников или солдат — все это типовые вызовы-возможности сильных воинственных сообществ на протяжении длительной истории, не исчезнувшие по сию пору.

Принцип подкрепления, социальные универсалии и приоритетность забот

Перспективным представляется использование на разных уровнях анализа принципов *позитивного и негативного подкрепления* Торндайка-Скиннера в отношении ответов на вызовы (А. Тойнби). Отметим, что эти принципы работают в широком спектре: от индивидуального до международного масштабов, от ситуативных реакций до учета длительного исторического опыта¹. Типы подкрепления соответ-

1 Сами бихевиористы, в том числе Скиннер, распространяли свои принципы на все человеческое поведение, включая образование, науку, экономику

ствуют успехам и провалам. В обсуждаемой конструкции успехи и провалы относятся к *заботам* как долговременным и деятельно обеспечиваемым интересам, которые всегда связаны с веберийскими универсалиями: могущество/безопасность, власть/доминирование, престиж/достоинство/легитимность, богатство/ресурсы/доступ к ресурсам, причем приоритетность соответствующих забот меняется как в долгой социальной эволюции, так и в краткосрочной динамике взаимодействий [Манн 2018].

Вообще говоря, *изменчивая приоритетность забот* вполне может претендовать на роль общей основы многих объяснительных принципов. Диагностировать эту приоритетность можно через сравнительный анализ вкладов (инвестирования) субъектами ресурсов, сил, времени на обеспечение каждой заботы. Значимость разных забот также может быть реконструирована через выявление их признаков в главных поступках и решениях субъекта, в красноречивых умолчаниях, в произвольном выражении эмоций государственными лидерами, политическими деятелями, когда они сталкиваются с ущемлением забот или новых возможностей для их обеспечения. Воспринимаемая и выражаемая ввне опасность рисков, готовность на трату ресурсов и на новые риски прямо пропорциональны уровню приоритетности угрожаемой заботы.

Решения о войне

Главными управленческими действиями являются решения. Управление также включает сбор и обработку информации (для принятия решений), контроль за исполнением решений, результаты которого, опять же, служат для принятия новых решений.

Начало любых вооруженных действий, сопротивление чужому нападению всегда связаны с рисками. Без решений, причем с обеих сторон, такие события не обходятся. Притом что понятие решения всем хорошо знакомо, следует эксплицировать его связь с другими базовыми понятиями данной конструкции.

и политику. Но историки, политики, дипломаты и теоретики в этих сферах обычно игнорируют такой «редукционизм». Разве можно «высокую политику войны и мира» опускать до такого «примитива»? При этом не замечают, что известная и широко применяемая логика «учитывать уроки истории», «не наступать на те же грабли», «следовать примеру великих предков», «развивать ранее достигнутые успехи» — исконно бихевиористская. Указанные и многие другие ходовые, причем вполне действенные формулы представляют собой идеологическую вербализацию тех же подкреплений: отрицательных («грабли» — досадные провалы, поражения) и положительных (прошлые достижения, успехи, победы).

Все решения включают как минимум три составляющие: *диспозиционную* (какова ситуация, что сейчас происходит), *целевую* (чего нужно достичь, каково новое требуемое состояние ситуации) и *исполнительную* (какими действиями, с помощью кого и какими средствами достигать цели). Первые две в простых решениях часто не проговариваются и даже не осознаются.

В сфере военных действий и геополитики наиболее значимы решения верховной политической инстанции — *терминального актора*, за которыми следуют цепочки подчиненных решений, приказов. Последние реализуются в более или менее контролируемых перемещениях вооруженных групп людей, в их действиях, а также в сопутствующих процессах, связанных с вооружениями, средствами обеспечения, вспомогательными службами, информационным, пропагандистским сопровождением.

В плане коллективной и индивидуальной психики каждое эффективное управленческое решение прежде всего *меняет заботы, соответствующие когнитивные и поведенческие установки всех задействованных организаций, групп, индивидов*. Теперь их воля, и так уже связанная должностями и институциональными правилами, получает гораздо более жесткую направленность и более тесные границы, что определено организационной позицией, обязанностями каждого в спланированной коллективной деятельности по выполнению решения.

Правомерно постулировать, что решения, прямо или опосредованно ведущие к началу военных действий, к войнам, всегда отвечают на вызов-угрозу или на вызов-возможность (иногда на то и другое вместе). Сведения о таком решении одной стороны (например, мобилизации, перевооружении, концентрации войск) нередко становятся вызовами-угрозами для потенциальных противников, которые принимают ответные решения.

Решения в форме официального объявления войны вовсе не обязательны для развязывания войн, что показала история, начиная со второй половины XX века¹. Также к войнам не обязательно ведут решения типа «мы начинаем войну с таким-то государством». Вместо этого предпринимаются мобилизационные действия, стратегические действия (перемещения войск с пересечением границ), собственно военные действия (вооруженные нападения на объекты или силы противника, влекущие жертвы и/или разрушения).

1 Вообще говоря, практика официального объявления войны была конкрет-но-исторической традицией круга европейских держав, когда действовали принятые в геополитической ойкумене правила «хорошего тона». После Второй мировой войны и делегитимации войн от таких объявлений вовсе отказались, но войны возобновляются с удручающим постоянством.

Причины войн, «которых никто не хотел»

Спиральная динамика, приводящая к непреднамеренным войнам, возникает, когда усиление агрессивности ответа каждой стороны отвечает ее заботе, ставшей ситуативно приоритетной: не остаться униженным, не показаться сдавшимся и слабым, не остаться беззащитным перед преимуществом первого удара. При достижении определенного предела агрессивности, когда растут унижительность для противника, опасность используемого оружия, масштаб разрушений и количество жертв от первых ударов, вступление в большую войну становится наиболее вероятной перспективой [Wendt 1992]. В таких обстоятельствах актуализируется забота сохранения и усиления государства (населения, территории, экономики, статуса среди других государств).

Пользуясь *медленным мышлением* по Д. Канеману [Kahneman 2011], правители принимают в расчет опыт прежних войн, известное им соотношение сил, ожидания масштаба и темпа поддержки со стороны союзников для обеих сторон, вероятные издержки в главных аспектах и т.п. Такие расчеты вполне могут предостеречь акторов от дальнейшей эскалации действий, чтобы обоим противникам не свалиться в большую войну с огромными жертвами и чрезмерными рисками. Вероятность войны резко снижается, когда под влиянием пугающих расчетов противникам удастся наладить коммуникацию, обсудить способы преодоления роста напряжения и рисков.

Однако даже при режиме *медленного мышления* могут совпасть многие факторы, повышающие вероятность войны: долговременная вражда, исключая установление доверия, опыт недавних военных побед, искажение восприятия с иллюзиями близкой легкой победы, возможности атаковать «чужими руками», страх стать жертвой первого удара, ведущий к решению о превентивном нападении, ставшее неприемлемым выполнение невыгодных обязательств [Джервис 2022].

Спиральная динамика с большей вероятностью ведет к войне, когда на обеих сторонах преобладает *быстрое мышление* по Канеману, особенно если агрессивное действие становится ответом на вызов-возможность избегания большого ущерба для актуально приоритетной заботы. Сходная логика присутствует в известной «теории перспектив» [Cashman 2014: 79].

Условия, повышающие вероятность войн

Стефан Ван Эвера в своей книге подтвердил множеством примеров следующие тезисы, с которыми вряд ли следует спорить:

«Государства воюют тогда, когда считают, что одержат верх, когда они полагают, что преимущество будет на стороне напавшего первым, когда считают, что их относительная мощь снижается (вызов-угроза от усиления державы-претендента. — Н. Р.), когда предполагают высокую кумулятивность ресурсов (т. е. захват одного ресурса дает доступ ко многим другим. — Н. Р.) и самое главное, когда считают, что завоевание будет легким. В совокупности эти представления объясняют значительную часть современных войн. При их полном отсутствии война возникает редко» [Van Evera 1999: 255].

Добавим положения, сделанные на основе обобщения результатов нескольких исследований [Wendt 1992; Van Evera 1999; Copeland 2000; Senese, Vasquez 2008; Levy, Thompson 2010; Lebow 2010; Wimmer 2013; Martin 2018; Orme 2018; Blattman 2022; Джервис 2022].

Вероятность войны тем выше:

- чем больше диадных отношений *отчуждения* и чем больше между ними *враждебности*;
- чем в большей степени предметы споров обретают не экономический, делимый, а *символический, ценностный характер*, обуславливающий для противников их достоинство, статус, престиж, уровни легитимности, причастности к святыням;
- чем больше *объективных дисбалансов сил* между соседями и между соперниками за контроль над спорными территориями;
- чем меньше у противников доступ к информации о силах сторон, а значит, больше вероятность *субъективного дисбаланса* (особенно преувеличения собственной военной мощи);
- чем сильнее связь между *легитимностью правителей и возвратом прежних, захватом новых ресурсов* (особенно контроля над символически значимыми территориями);
- чем *слабее оборонительные союзы*, чем в меньшей степени они способны контролировать своих членов, препятствовать их инициативным военным действиям;
- чем *менее ясны и строги международные правила и соглашения*, направленные на сохранение мира, чем меньше готовность их поддерживать со стороны сильнейших держав.

Конкретные войны возникают вследствие наступления хотя бы одного из следующих комплексов условий:

- сочетание высоких значений некоторых вышеупомянутых факторов для одной из сторон, ведущее к принятию правителем или правящей группой решения начать войну при достаточных административных и силовых ресурсах для его реализации, при отказе сдать другую сторону (преднамеренные войны);
- сочетание высоких значений некоторых вышеуказанных факторов, приводящее к пошаговой эскалации взаимных вызовов-угроз (непреднамеренные войны).

Какие именно сочетания наиболее опасны — предмет эмпирических исследований, однако некоторые теоретические обобщения уже можно сделать.

Предварительные ответы на фундаментальные вопросы

Леви и Томпсон разделяют вопрос о причинах войны на три разных, но пересекающихся вопроса:

«(1) что вызывает постоянное повторение войн?

(2) что вызывает вариации войны и мира, или при каких условиях возникает война?

(3) что вызывает конкретные войны?» [Levy, Thompson 2010: 217].

Разумеется, на первые два вопроса можно ответить только на уровне весьма высокой абстракции и обобщения. Вряд ли попытка может быть полностью успешной и исчерпывающей, но она должна быть сделана. Войны до сих пор постоянно возобновляются вследствие совместного действия следующих обстоятельств:

- В отношениях между политиями (теперь преимущественно государствами) и внутри них всегда возникают и с тем или иным успехом обеспечиваются *заботы укрепления власти, легитимности правителей и режимов, властных элит*.
- Эти заботы обычно тесно связаны с *символами исторической памяти* в массовых мировоззрениях населения этих государств (идентичностями, святынями), а также со *статусом государства* среди других государств, с *позициями деловых и общественных структур на внешних экономических и культурных рынках*.
- Вследствие неравномерного развития обществ всегда есть объективный и/или субъективный *дисбаланс сил*, приводящий к таким *вызовам-возможностям* одних акторов, риторика или действия которых становятся *вызовами-угрозами* для вышеуказанных *забот* других акторов.
- Вызовы-угрозы для легитимности правителей и элит, для крепости режимов также возникают вследствие *напряжений во внутренней социально-политической динамике*, где свои акторы (актуальные или потенциальные контрэлиты) получают *вызовы-возможности для перехвата власти*.
- Среди известного и доступного *арсенала ответов* на внешние и/или внутренние вызовы терминальные акторы государств (обычно в лице правителей, формально и неформально институционализированных элит) есть *вооруженные акции* со стремлением получить или вернуть доступ к новым ресурсам или контроль над ними, а также разные формы *давления, сило-*

вого воздействия на соседей, конкурентов, что становится вызовами-угрозами для них.

- Такие опции ответов наиболее привычны и легко актуализируемы в *двухсторонних отношениях вражды* из-за прошлой истории конфликтов и войн, спорных территорий, соперничества в экономике, *взаимного неприятия* в сферах религии, идеологии и морали.
- Военно-политические союзы, доминирующие коалиции сами становятся *факторами вызовов-возможностей* для их членов, что провоцирует их на военные действия.
- Оборонительные союзы, принятые правила сохранения мира, недопущения агрессии не являются достаточно распространенными и *обеспеченными силой*, т. е. риски, угрозы противодействия инициаторам вооруженных конфликтов *слишком слабые*.
- Вследствие всех вышеуказанных причин терминальные акторы способны отвечать на неприемлемые для них вызовы-угрозы, пытаться реализовывать вызовы-возможности через провокации, концентрацию сил у чужих границ, мобилизацию, наконец, предпринимать вооруженные атаки, вторжение, что при спорадическом схождении объективных и субъективных условий ведет к новой полномасштабной войне.

90

Наличие среди слабых соседей давнишних соперников, тем более врагов, неизбежно приводит к новым вызовам-возможностям для правителей сильной державы, если они не отягощены миролюбием и уважением к международному праву: повысить могущество державы и свой престиж «маленькой победоносной войной».

Действительно, если война входит в арсенал ответов актора на вызовы-угрозы и вызовы-возможности, то при отсутствии достаточных внутренних запретов (моральных, правовых, политических) и внешней запретов (со стороны влиятельного союзника или сильнейшей коалиции) объяснить следует уже не развязывание войны, а то, *почему в таких обстоятельствах она не была развязана*.

Чем крупнее организация с функциями насилия, тем длиннее иерархическая цепочка командования, тем слабее чувства эмпатии, солидарности между представителями разных уровней, тем легче руководству принимать решения, предполагающие большие жертвы среди подчиненных (ср. с «железным законом олигархии» Р. Михельса).

Динамика и прекращение войн: общие принципы

Начавшаяся война если не привела к быстрой победе, то усиливает решимость сторон продолжать воевать («война сама себя питает»)¹. Месть за убитых товарищей на нижних уровнях военной организации, вызов профессиональному самоутверждению для офицеров и генералов, страх утратить легитимность для политического руководства — все это мотивирует стороны расширять военные действия, привлекать новые ресурсы, создавать коалиции [Collins 2008; Martin 2018]. Таков широко известный «капкан войны» — войну гораздо легче начать, чем завершить.

Чем дольше длится война и чем она разрушительнее, тем сильнее становятся заботы безопасности среди участников и наблюдателей; соответствующее повышение *спроса на порядок* ведет к росту *предложения порядка* [Модельски 2003] — усилению прежних и/или созданию новых средств и организаций насилия как *обеспечивающих структур военных забот*.

При примерном равенстве сил проигрывает войну та сторона, чья организационная структура быстрее распадается [Collins 2010]. Как правило, на проигрывающей стороне складывается мегатенденция «Колодец» — контуры положительной обратной связи между трендами разрушения логистики и координации действий, роста масштаба потерь, ухода союзников. На стороне успешно наступающего будущего победителя формируется мегатенденция «Лифт» — контуры положительной обратной связи между трендами подъема боевого духа, успеха маневров, огневого поражения, поддержки союзников (см. о мегатенденциях: [Розов 2011: 23–40]).

Победители в войнах, как правило, обретают высокую легитимность, преобразуют соответственно своим интересам, заботам, идеям внутренние и международные порядки в зонах своего могущества и влияния [Модельски 2003]. Державы получают военный отпор и проигрывают, если их действия, политика, порядки противоречат базовым заботам, ценностям других держав, способных объединиться в коалицию и обладающих преимуществами в геополитических ресурсах (богатстве и населении) [Stinchcombe 1987; Коллинз 2015].

Войны также заканчиваются при примерном паритете сил и уровней истощения, когда ни одна из сторон не видит возмож-

1 Ср. с закономерной заменой «ориентации на долю» (когда приоритетом являются приобретения и возможны компромиссы) «ориентацией на актора» (когда приоритетом становится подавление вплоть до уничтожения и компромиссы даже не рассматриваются) [Vasquez 1993: 80–82].

ности победить, после чего открываются возможности для переговоров, заключения мира или перемирия.

Долгий мир ослабляет заботы о безопасности — снижает спрос на порядок у тех, кто обеспечивает базовые заботы мирными средствами [Модельски 2003]. Соответственно, в таких обществах снижаются инвестиции в оборону, они становятся или кажутся более слабыми, и нападение на них становится вызовом-возможностью для держав-претендентов — потенциальных агрессоров.

Роль войн в коэволюции трех порядков

История каждого общества включает последовательность сменяющих друг друга *фигураций* — относительно стабильного единства «прилаженных» друг к другу *социального, ментального и техноприродного порядков* [Элиас 2001]. Поскольку эти фигурации сменяются вместе со своими порядками, то резонно говорить о коэволюции этих порядков.

92 При рассмотрении множества обществ выявляются общие черты их фигураций, соответственно, можно говорить о фазах социального развития (дикость-первобытность, варварство, ранняя, зрелая государственность, этапы модернизации) и переходах между фазами [Дьяконов 2007; Розов 2019а: 347–364]. Таков первый уровень — *коэволюция порядков внутри каждого общества*.

Поскольку в фигурациях каждой фазы есть сходство между порядками разных обществ, причем не только в политическом устройстве, но также в ментальных структурах, в типах технологий, то понятие «коэволюция порядков» вполне применимо к системе международных отношений. Когда населенный мир был разделен на несколько относительно изолированных макрорегионов с миросистемами (мир-империями, геополитическими ойкуменами, мир-экономиками, цивилизациями), в каждом происходили отдельные коэволюции. Таков второй уровень — *коэволюция порядков внутри каждой миросистемы*.

По мере усиления связей — военных и колониальных, торговых, культурных — и особенно с XX века, двух мировых войн и их последствий (создания Лиги Наций, позже ООН), обширных революционных волн [Goldstone et al. 2022] и глобализации стал складываться третий уровень — *глобальная коэволюция порядков*.

Рассмотрим в контексте трех уровней коэволюции порядков (условно национальный, миросистемный, глобальный) наиболее крупные войны, которые не являются частью порядков, но существенно меняют их, а значит, *служат факторами смены фигураций*.

Каждая такая война составляла кризисный период в коэволюции порядков каждой воюющей стороны и части задействованной

международной системы. «Кризисность» означает, что *привычные ответы на вызовы-угрозы оказывались неадекватными* и только усугубляли напряжения, ухудшали параметры предметов забот и требовали ответов нового типа.

Поиск таких ответов бывает успешным, тогда они превращаются в *новые обеспечивающие структуры*: армии, способы их ресурсного и кадрового обеспечения, военные союзы, международные конференции и постоянные организации с функцией разрешения конфликтов [Wimmer 2013]. Победившие государства становятся *гегемонами*, начинают доминировать, т. е. принудительно навязывать свои порядки, *и/или лидерами*, когда их соседи и союзники склонны реформировать свои порядки по привлекательным образцам такой державы [Модельски 2003].

Если *ответы* правителей и элит продолжают быть *неадекватными*, то такие государства проигрывают войны. В этих случаях они могут попасть в подчинение завоевательной империи, претерпеть революцию или распаться. Лишь в периферийных, никому не интересных анклавах могут консервироваться прежние порядки проигравшего крупную войну общества. В столицах, крупных городах и богатых провинциях следует ожидать поиск новых форм, скорее всего, близких к порядкам обществ-победителей в крупных войнах.

Полномасштабные войны не «выбиваются» из логики коэволюции, тем более не останавливают ее [Модельски 2003; Mann 2023]. Наоборот, каждая такая война служит могучим драйвером смены порядков и фигураций. Более того, *подъем обществ на каждую новую ступень* социальной эволюции, как правило, происходил *вследствие серии крупных войн*, к которым в эпоху модернизации добавились *революционные волны*, что составило *периоды турбулентности* [Goldstone et al. 2022; Розов 2019b].

Хорошо видимы и известны послевоенные смены социальных порядков во внутренней политике, экономике, сословной и классовой структуре, в международных отношениях. Существенно обновлялись техноприродные порядки: бурное развитие вооружений, фортификаций, военных производств, добычи сырья, особенно руды, угля, нефти.

Несколько слов нужно сказать о не столь очевидных изменениях в ментальных порядках после крупных, прежде всего, оборонительных отечественных — «экзистенциальных» — войн. В таких обществах меняется структура исторического времени, которое распадется на «до войны» и «после войны». Перестраиваются иерархии приоритетов, сакральности в круге символов данной культуры [Malešević 2017]. Все ассоциируемое с победой возвышается, в том числе правители, их династии, тип режима, идеологии. Ассоциируемое с поверженным опасным врагом воспринимается как из-

начально порочное и злое. Сокрушительные поражения нередко раскалывают общества, разделяя их на движения реванша, в которых причинами поражения считаются «предатели», и движения обновления (реформ, революций), в которых поражение связывается с пороками политического устройства, требующего радикального демонтажа, перестройки, или с негодной властной верхушкой, которую необходимо свергнуть.

Все эти изменения касаются не только идей и мыслей, но также *установок*, регулирующих поведение индивидов и групп. Соответственно, происходят множественные *ритуалы рефрейминга*, включающие потоки письменного и устного дискурса. Если в обществе не удастся достигнуть хотя бы базового согласия относительно смысла прошедшей войны в связи с актуальными социально-политическими проблемами, то в последующей фигурации (относительной стабильности порядков) сохраняется ментальный и социокультурный раскол.

94

Во враждебных друг другу больших группах воспроизводятся свои *интерактивные ритуалы*, подкрепляющие чувства и установки [Collins 2004]. Последние обычно включают прямые выводы из осмысления прошедшей большой войны, соответствующую приверженность определенным лидерам, идеологиям, партиям при полном неприятии их противников.

Чем более разрушительны и масштабны войны, тем с большей вероятностью рушатся те фигурации и их порядки, при которых лидеры и элиты оказались не способны к адекватным ответам на военные вызовы. Таким образом, становятся гораздо более интенсивными процессы отбора обеспечивающих структур, порядков и охватывающих их фигураций [Malešević 2017]. Иными словами, войны именно благодаря своей безжалостной разрушительной силе становятся мощными ускорителями социальной эволюции¹.

Заключение

Проведенный анализ показал, что войны ни в коем случае не являются выражением «хаоса», «безумия», «зверства» и т.п. Войны, меняющие свой характер в ходе социальной эволюции, начинаются, протекают, завершаются и возобновляются соответственно позна-

1 Следует заметить, что социальная эволюция отнюдь не совпадает с моральным прогрессом: новые фигурации и порядки могут оказаться не более, а гораздо менее гуманными. Иными словами, в результате войн защищенность жизни, свободы, достоинства, благосостояния индивидов и групп может не повыситься, а понизиться или вовсе упасть до минимума.

ваемым закономерностям, что, разумеется, не исключает всегда присутствующие в реальной истории случайно складывающиеся обстоятельства разных типов и масштабов.

Сугубо эмпирические наблюдения обозревателей многих десятков и сотен войн отчасти требовали уточнения, но в своем большинстве они получили основательные теоретические подтверждения. При этом был использован понятийный аппарат, включающий социальные универсалии М. Вебера и М. Манна (власть, богатство, престиж, насилие/безопасность), расширенную схему А. Тойнби (ответы на вызовы-угрозы и вызовы-возможности), модель А. Стинчкомба (коэволюция забот и обеспечивающих структур), закономерности положительного и отрицательного подкрепления Э. Торндайка и Б. Скиннера, принципы геополитической динамики и коллегиального разделения власти Р. Коллинза. Эти весьма разнородные концепты с разными степенями известности, сложности и нетривиальности показали способность к продуктивному совмещению.

Следует также отметить, что выявленные закономерности возникновения войн отнюдь не свидетельствуют в пользу их неизбежности, фатальности. Трансформация обстоятельств разной природы и глубины, ведущих к войнам на разных этапах социальной эволюции, в теоретическом плане вполне способна прекратить войны. Практическая реализация таких стратегий далека от достижения, что показывает трагическая история первых десятилетий XXI века. Однако растущее знание объективных и субъективных условий, способных переводить действительно неизбежные межгосударственные, межэтнические, классовые конфликты в мирное русло правовых и демократических процедур, дает вдохновляющие надежды.

Смелые идеи Канта относительно республиканизма, учета воли граждан, правового порядка во внутренней и внешней политике [Кант 1994] лишь отчасти воплотились в множественных международных организациях, в том числе правовых и судебных. Для установления пусть не «вечного», но долгого, надежного и справедливого мира еще многое предстоит сделать.

Библиография/References

Браун С. (2003) Почему люди воюют? *Война и геополитика. Альманах «Время мира»*, Новосибирск: НГУ, (3): 17-31.

— Brown S. (2003) Why do people go to war? *War and geopolitics. Almanac "Vremya mira"* — Novosibirsk: Novosibirsk State University Publishing House, (3): 17-31. — in Russ.

Джервис Р. (2022) *Восприятие и неверное восприятие в международной политике*. М.: Центр анализа стратегий и технологий.

— Jervis R. (2022) *Perception and Misperception in International Politics*. М: Center for Strategy and Technology Analysis. — in Russ.

Дьяконов И. М. (2007) *Пути истории. От древнейшего человека до наших дней*. М: Ком-книга. EDN: QPFEMH

— Dyakonov I. M. (2007) *The Paths of History. From the Earliest Man to the Present Day*. М: Komkniga — in Russ.

Кант И. (1994) К вечному миру. Кант И. *Соч. в 4 тт.* Т. 1. М: Ками: 353–477. EDN: TJNICN

— Kant I. (1994) *Toward Eternal Peace*. Kant, I. *Op. in 4 vols.* Vol. 1. М: Kami: 353-477. — in Russ.

Коллинз Р. (2015) *Макроистория. Очерки социологии большой длительности*. М: УРСС. EDN: USHTOX

— Collins R. (2015) *Macrohistory: Essays in Sociology of the Long Run*. М: URSS. — in Russ.

Манн М. (2018) *Источники социальной власти*. Том 1. М: Дело.

— Mann M. (1987) *The Sources of Social Power*. Vol. I. М: Delo. — in Russ.

96

Моделски Дж. (2003) Объяснение долгих циклов в мировой политике: основные понятия. *Война и геополитика. Альманах «Время мира»*, вып. 3. Новосибирск: НГУ: 455–485.

— Modelski, G. (2003) Explaining long cycles in world politics: basic concepts. *War and geopolitics. Almanac "Vremya mira"* — Novosibirsk: Novosibirsk State University Publishing House, 3: 455–485. — in Russ.

Розов Н. С. (2011) *Колея и перевал: макросоциологические основания стратегий России в XXI веке*. М: РОССПЭН. EDN: QOMVNX. <https://doi.org/10.12731/978-5-8243-1480-9>

— Rozov N. S. (2011) *Track and Pass: Macrosociological Foundations for Russia's Strategies in the 21st century*. М: ROSSPEN. — in Russ. <https://doi.org/10.12731/978-5-8243-1480-9>

Розов Н. С. (2023) Причины массового обоюдного насилия: структурирование концепций и субъективные факторы преднамеренных войн. *Гуманитарный вектор*, 18(4): 9–19. EDN: XCBMBG. <https://doi.org/10.21209/1996-7853-2023-18-4-9-19>

— Rozov N. S. (2023) Causes of mass mutual violence: structuring concepts and subjective factors of deliberate wars. *Humanitarian Vector*, 18(4): 9–19. — in Russ.

Элиас Н. (2001) *О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования, тт. 1, 2*. М — СПб: Университетская книга.

— Elias, N. (2000) *The Civilizing Process: Sociogenetic and Psychogenetic Investigations*. Wiley Blackwell.

Blattman Ch. (2022) *Why We Fight: The Roots of War and the Paths to Peace*. Penguin.

- Cashman G. (2014) *What Causes War? An Introduction to Theories of International Conflict*. Rowman & Littlefield.
- Collins R. (2004) *Interaction Ritual Chains*. Princeton University Press.
- Collins R. (2010) A Dynamic Theory of Battle Victory and Defeat. *Cliodynamics: The Journal of Theoretical and Mathematical History*, 1(1): 3–25. <https://doi.org/10.21237/C7clio11195>
- Copeland D. C. (2000) *The Origins of Major War*. Cornell University Press.
- Fry D. (ed.) (2013) *War, Peace, and Human Nature: The Convergence of Evolutionary and Cultural Views*. Oxford University Press.
- Goldstone J. A., Grinin L., Korotayev A. (eds). (2022) *Handbook of Revolutions in the 21st Century. The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of Disruptive Political Change*. Springer Nature.
- Hironaka A. (2005) *Neverending Wars*. Harvard University Press.
- Kahneman D. (2011) *Thinking. Fast and Slow*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Lebow R. N. (2010) *Why Nations Fight*. Cambridge University Press.
- Levy J. S., Thompson W. R. (2010) *Causes of War*. Malden, MA: Wiley-Blackwell.
- Mann M. (2023) *On Wars*. Yale University Press.
- Malešević S. (2017) *The Rise of Organised Brutality: A Historical Sociology of Violence*. Cambridge University Press.
- Martin M. (2018) *Why We Fight*. London: Hurst.
- Orme J. D. (2018) *Human Nature and the Causes of War*. Springer Nature.
- Senese P. D., Vasquez J. A. (2008) *The Steps to War: An Empirical Study*. Princeton University Press.
- Stinchcombe A. (1987) *Constructing Social Theories*. The University of Chicago Press.
- Van Evera S. (1999) *Causes of War: Power and the Roots of Conflict*. Cornell University Press.
- Vasquez J. A. (1993) *The War Puzzle*. Cambridge University Press.
- Wendt A. (1992) Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics. *International Organization*, 46(2): 391–425. <https://doi.org/10.1017/S0020818300027764>.
- Wimmer A. (2013) *The Waves of War: Nationalism, State Formation and Ethnic Exclusion in the Modern World*. Cambridge University Press.

Розов Николай Сергеевич — доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии и права Сибирского Отделения РАН, профессор кафедры международных отношений Новосибирского государственного технического университета, г. Новосибирск. Научные интересы: макросоциология, политическая социология, философия истории, теория ценностей, антропогенез, методология социальных наук.

ORCID: 0000-0001-8585-298X. E-mail: nrozov@gmail.com

Nikolai S. Rozov — Doctor of Philosophy, Professor, Chief Researcher, the Institute for Philosophy and Law, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Professor of the Department of International Relations, Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Research interests: macrosociology, political sociology, philosophy of history, theory of values, anthropogenesis, methodology of social sciences.

ORCID: 0000-0001-8585-298X. E-mail: nrozov@gmail.com

Эпистемологический статус харизмы в исторической макросоциологии

ДМИТРИЙ В. КАТАЕВ

Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семёнова-Тянь-Шанского, Липецк, Российская Федерация

ORCID: 0000-0003-4391-8949

ВАЛЕРИЯ О. КАЛИНИНА

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Российская Федерация

ORCID: 0009-0007-3759-3400

Социология разрабатывает свои понятия и выявляет закономерности также и под тем углом зрения, поможет ли это историческому каузальному сведению важных культурных явлений.

Макс Вебер

99

Рекомендация для цитирования:
Катаев Д. В., Калинина В. О. (2024) Эпистемологический статус харизмы в исторической макросоциологии. *Социология власти*, 36 (3): 99-135
<https://doi.org/10.22394/2074-0492-2024-3-99-135>

For citations:
Kataev D. V., Kalinina V. O. (2024) The Epistemological Status of Charisma in Historical Macrosociology. *Sociology of Power*, 36 (3): 99-135
<https://doi.org/10.22394/2074-0492-2024-3-99-135>

Поступила в редакцию: 01.08.2024;
прошла рецензирование: 12.09.2024;
принята в печать: 14.09.2024
Received: 01.08.2024; Revised: 12.09.2024; Accepted for publication: 14.09.2024



This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

© 2024 by the authors.

Неопределенный эпистемологический статус харизмы во многом связан с ее многозначностью и полиморфностью. Макс Вебер тематизирует его в разнообразных контекстах и значениях — различие магической, религиозной харизмы и харизмы разума, выделение траекторий рутинизации и объективации харизмы, типологизация различных видов пророчеств. В свою очередь, множественные (ре)актуализации этого «блистательного понятия» [Роза] в качестве подкрепления собственных теорий в виде разновидностей символического капитала, резонанса, повседневной, реперсонализованной или рискологической харизмы ведут либо к смысловому сжатию, либо к размыванию значения, как в рамках социологической теории, так и в междисциплинарном дискурсе. Для определения научного содержания харизмы авторы предлагают тематизировать ее в исторической макросоциологии. При этом ключевой вопрос адресован междисциплинарным связям в интеллектуальном наследии Вебера — категория «харизма» является задумкой Вебера-историка или Вебера-социолога? Прояснение эпистемологического статуса харизмы, выраженного

в его двойственном характере (феномен vs. идеальный тип), становится возможным благодаря обращению к дискуссии о корпусе текстов классика двух выдающихся немецких вебероведов — В. Шлюхтера и Ф. Тенбрука. В свою очередь, реконструкция и систематизация подходов веберовской исторической макросоциологии позволяет уточнить границы и возможности применения категории. Так, эволюционно-теоретическая перспектива определяет эвристический потенциал харизмы с точки зрения отражения динамики культурно-ценностных ориентаций в процессе возникновения и укрепления социального порядка и институциональных структур, а сравнительно-исторический подход определяет взаимосвязь между аналитическим и эмпирическим уровнями социологии Вебера посредством «погружения» идеальнотипического конструкта в реальный исторический нарратив. Таким образом, в рамках исторической макросоциологии преодолеваются наиболее обоснованные критические воззрения С. Тернера относительно несостоятельности, гетерогенности и остаточного характера категории.

Ключевые слова: харизма, историческая макросоциология, харизма разума, рутинизация, объективация, деперсонализация, история развития

100

The Epistemological Status of Charisma in Historical Macrosociology

Dmitry V. Kataev

Lipetsk State Pedagogical Semenov-Tyan-Shansky University, Lipetsk,
Russian Federation

ORCID: 0000-0003-4391-8949

Valeria O. Kalinina

National Research University Higher School of Economics, Moscow,
Russian Federation

ORCID: 0009-0007-3759-3400

The uncertain epistemological status of charisma is largely due to its polysemy and polymorphism. Max Weber thematizes it in a variety of contexts and meanings — distinguishing between magical, religious charisma and the charisma of reason, highlighting the trajectories of routinization and objectification of charisma, typologizing different types of prophecies. In turn, the multiple (re)actualizations of this “brilliant concept” [Rose] as reinforcements of their own theories in the form of varieties of symbolic capital, resonance, the everyday, the re-personalized, or the risky charisma lead to either semantic compression or the blurring of meaning, both within sociological theory and in interdisciplinary discourse. To define the scientific content of charisma, the authors propose to thematize it in historical macrosociology. The key question is addressed to the interdisciplinary connections in Weber’s intellectual heritage — is the category “charisma” attributable to Weber the historian or Weber the sociologist?

The clarification of the epistemological status of charisma, expressed in its dual character (phenomenon vs. ideal type), becomes possible thanks to the discussion of a corpus of the classic texts by two prominent German Weberologists — W. Schlüchter and F. Tenbruck. In its turn, the reconstruction and systematization of approaches of Weberian historical macrosociology allows us to clarify the boundaries and possibilities of the category's application. Thus, the evolutionary-theoretical perspective defines the heuristic potential of charisma in terms of reflecting the dynamics of cultural and value orientations in the process of emergence and consolidation of social order and institutional structures. The comparative-historical approach, in turn, defines the relationship between the analytical and empirical levels of Weber's sociology through the "immersion" of an ideal-typical construct in a real historical narrative. In this way, historical macrosociology overcomes the most valid criticisms (S. Turner) of the category's failure, heterogeneity, and its residual character.

Keywords: charisma, historical macrosociology, charisma of reason, routinization, objectification, depersonalization, history of development

Введение

Содержание категории «харизма» в социологии Макса Вебера отличается полиморфным и фрагментарным характером. Многозначность понятия и широкое применение термина к феноменам, не поддающимся рациональному объяснению, как в работах самого Вебера, так и в их последующих интерпретациях, не позволяет определить границы концептуального содержания этой категории.

101

Классическое определение термина Вебера предполагает обращение к категории в рамках социологии религии и социологии господства. При этом харизма выступает, с одной стороны, личным экстраординарным качеством, позволяющим устанавливать отношения преданности, послушания и эмоционального напряжения между носителем этого качества и аудиторией последователей. В этом случае харизма является феноменальным проявлением конкретной исторической личности, позволяющим считаться ей «посланцем богов, совершенством и поэтому вождем» [Вебер 2016: 279]. С другой стороны, харизма выступает идеально-типической конструкцией, аналитическим средством в отношении социологии господства, наряду с традиционным и рациональным типами. В этом случае значение приобретают гипотезы истолкования идеальных типов, которые «рисуют идеализированный, т. е. возможный ход протекания действия, эмпирическая значимость которого проблематична» [Шлюхтер 2004: 34], а содержание категории апеллирует к характеристикам установленных отношений господства и подчинения (революционный и антихозяиственный характер, неустойчивость в сравнении с иными типами и т. д.).

Ряд исследователей также отмечают отсутствие внимания Вебера к первоначальному персонализированному содержанию термина как в контексте феномена, так и в отношении методологического средства — «собственные дискуссии Вебера о харизме имеют конкретную направленность. Даже беглый взгляд на соответствующие тексты показывает, что большая часть этих текстов была посвящена не столько харизме, сколько ее трансформации или рутинизации» [Schluchter 1989: 392], в связи с чем рассуждения Вебера «гораздо больше дают для исследования превращения харизмы в повседневное явление, чем для анализа ее возникновения» [Йоас 2005: 35]. В результате феноменальное и экстраординарное личное качество редуцируется до источника «типичного начального явления религиозного или политического господства» [Вебер 2016: 290], а модели идеальных типов сводятся к рутинизации (традиционализации, легализации) и объективации (институционализации) харизматических отношений господства и подчинения.

Таким образом, классическое содержание категории «харизма» в работах М. Вебера отличается двойственностью в сочетании определения конкретного исторического носителя экстраординарного качества и аналитической модели господства, а также фрагментарным и не проясненным статусом личного типа харизмы. К тому же теологические истоки термина, отсылающие к Первому Посланию св. апостола Павла к Коринфянам и учению Р. Зомы о церковном строе и сакраментальном праве, затрудняют введение однозначного содержания понятия, поскольку апеллируют к дескриптивному определению харизмы как благодати и дара Святого Духа.

Отсутствие достаточной концептуализации определяет множественность трактовок. Среди них — отождествление с понятием резонанса [Катаев 2020: 440; Rosa 2018: 55], унификация и редукция категории при анализе рыночных констелляций, когда в центре внимания находятся предпринимательская деятельность и уникальные модели экономического поведения [Кгаемег 2008: 63], применение для исследования стратегий контроля в рамках внутриорганизационной структуры [Biggart 1989] и системы управления персоналом инновационных корпораций [Samier 2005], а также при концептуализации культурологических конструктов, включая понятие «аура» [Беньямин 1996]. К тому же универсально-исторический характер категории позволяет включать харизму в анализ различных эмпирических и этнографических сюжетов, включая, например, массовую поддержку бунта Емельяна Пугачева в образе императора Петра III [Мауль, Лазарева 2024: 21-22]. В дополнение к широкому распространению термина в рамках междисциплинарного дискурса, понятие «харизма», согласно В. Шлюхтеру, «стало частью повседневного употребления, и в процессе популяризации

его значение вышло из-под «теоретического контроля» [Schluchter 1989: 392]. В результате и без того расширенная трактовка термина дополняется «парадоксом безблагодатной харизмы» [Каспэ 2012: 36], «рукотворной, сфабрикованной» [Glassman 1984: 217-234] формой, а также «псевдохаризмой» [Фреик 2001: 12], имеющей в основе своей формальную рациональность.

Следствием подобного неопределенного статуса термина выступают критические изыскания С. Тернера в отношении несостоятельности, остаточного и гетерогенного характера конструкта, предоставляющего объяснение там, где других объяснений недостаточно, поскольку понятие демонстрирует «убедительное описание социального явления, однако никак его не объясняет» [Turner 2003: 8].

Исходя из наиболее значимого содержательного противоречия в отношении категории «харизма» между реальным историческим феноменом и сконструированным идеальным типом, множественность трактовок и непроясненный характер обусловлены прежде всего «принципиальным различием между эмпирическим и аналитическим уровнями в социологии Вебера» [Kalberg 1994: 117]. Однако указанное противоречие частично разрешается при обращении к сравнительно-исторической социологии Вебера, поскольку именно здесь вспомогательные методологические конструкты приобретают реальное историческое содержание.

В этой связи, отмечает Тенбрук, всемирно-исторические вопросы и значимые культурные явления требуют объяснения с точки зрения существующих исторических констелляций, а не всеобщих универсальных законов [Тенбрук 2020: 113]. При этом, рассматривая проблему рационализации религии с позиции культурного наследия идей и трансформации интересов как центральную ось социологии Вебера, ключевым является категория «харизма», истоки которой необходимо искать в существующих практиках «ответа» на избыточные переживания и опыт страдания, вызванный социальной несправедливостью [Там же: 108].

Итоговые размышления о специфике исторической социологии Тенбрук посвящает главному интеллектуальному наследию Вебера, «Собранию сочинений по социологии религии», где расположено «ядро веберовских идей, сердце его социологии» [Там же: 116]. При этом внимание к «Хозяйству и обществу» продиктовано лишь наличием там замкнутой системы разработанных понятий. Иная же точка зрения отразилась в работах В. Шлюхтера, согласно которому «Хозяйство и общество» и «Собрание сочинений по социологии религии», взаимодополняя друг друга, образуют центр веберовской «поздней социологии» с точки зрения и содержания, и систематического изложения [Катаев 2017: 429]. В итоге только комплексное

прочтение работ позволит составить адекватную оценку междисциплинарных связей в рамках двойного интеллектуального проекта исторической макросоциологии Вебера.

Наше предположение заключается в том, что, во-первых, прояснение эпистемологического статуса харизмы, выраженного в его двойственном характере (феномен vs. идеальный тип), становится возможным благодаря обращению к дискуссии о корпусе текстов классика двух выдающихся немецких вебероведов. Во-вторых, мы предлагаем уточнение границ и возможностей применения харизмы посредством обращения к реконструкции и систематизации подходов веберовской исторической макросоциологии.

Многоликая природа харизмы классика

Центральной темой для творчества М. Вебера на протяжении всей жизни оставалась проблема становления западноевропейского рационализма. В основе ключевых теоретико-методологических работ социолога располагаются апелляции к правовым, юридическим и историческим материалам, позволяющие обратиться к изучению вопросов господства, в связи с чем интерес М. Вебера касался в первую очередь рациональных, стабильных и закреплённых порядков и структур. «Все, что казалось иррациональным, было для него чуждым. Так, он писал Фердинанду Тённису, что в религиозных вопросах он “немузыкален”» [Adair-Toteff 2016: 32; Weber 1994: 65, 70]. Однако начиная с 1910 года личные интересы Вебера начинают затрагивать произведения искусства и прежде всего литературы. «Вебер был способен не только понимать, но и ценить людей, которые придерживались “иррациональных” убеждений и совершали “иррациональные” поступки. Для него и Стефан Георге, и Толстой были харизматическими лидерами» [Ibid.: 33]. Именно на этом этапе творческой карьеры Вебер приступает к концептуальной разработке категории «харизма».

В рамках типологии господства М. Вебер обращается к харизме с позиции методологии идеальных типов, то есть «конструкций, представляющих собой лишь техническое средство, позволяющее прояснить материал и уточнить терминологию» [Вебер 2017а: 400]. В этой связи содержание категории можно определить сопоставлением с ключевыми характеристиками двух других типов легитимности — рационального и традиционного.

Прежде всего предметом сравнения является повседневный и устойчивый характер власти, закреплённый либо правовыми нормами, либо традиционным наследием. На этом фоне харизматическое господство отличает, во-первых, источник легитимности авторитета, апеллирующий к личному неординарному и сверхъ-

естественному качеству носителя. Во-вторых, будучи «великой революционной силой в связанные традицией эпохи» [Вебер 2016: 283], харизма предполагает создание и продвижение нового строя в изначально сложившихся условиях. Из этого следует, что харизма — «типичное начальное явление религиозного или политического господства» [Там же: 290], которое в сравнении с иными типами господства отличается неустойчивостью, в особенности когда «господство стабилизируется и, прежде всего, как только оно принимает массовый характер» [Там же]. С другой стороны — подобный кратковременный характер установленного господства формирует представление о харизме как о «вечно новом» [Weber 1988: 481] источнике авторитета.

Еще одной отличительной чертой харизматического господства, напрямую связанной с теологическими истоками понятия, выступает отрицание формально обоснованных решений и принятых норм. «Формально право творится актуально от случая к случаю, сначала по Божьему приговору и откровению. Материально же харизматический вождь строит свое право по формуле “Сказано было..., а я говорю вам...!”» [Вебер 2016: 281], на основе которой формулируются идеи, доктрины и учения харизматика.

105

Чуждая по отношению к любым хозяйственным и правовым проявлениям, харизма отрицает понятия профессии, карьеры и должности. В случае харизматического господства мы можем говорить о миссии того, кто призван служить, когда «преданность харизме пророка, или вождя на войне, или выдающегося демагога в народном собрании или в парламенте как раз и означает, что человек подобного типа считается внутренне призванным руководителем людей, что последние подчиняются ему не в силу обычая или установления, но потому, что верят в него» [Вебер 2022: 47].

Дальнейшее сопоставление касается деперсонализированного содержания господства, поскольку «юридическая власть безлична в силу безличной должности, а традиционная власть безлична в силу долгой и безличной традиции» [Adair-Toteff 2016: 103; Weber 2009: 90]. Принципиальным для харизматической организации власти же является, во-первых, ключевая роль носителя экстраординарного качества и формирование проекции личности с позиции лидерства, во-вторых, со стороны последователей требуется безусловное, иррациональное признание авторитета, личная преданность по отношению к легитимному харизматику и выдвинутым доктринам.

При этом содержание категории может быть раскрыто при обращении к конкретным предметным областям социологии М. Вебера. В целостном своем содержании харизма предстает там, где мы

наблюдаем пересечение между историческим феноменом и сконструированной моделью, поскольку «хотя Вебер и предпочитал обсуждать “идеальные типы”, он также был достаточно историком и реалистом, чтобы увидеть последствия харизматического лидерства в религиозных кругах, в социальной среде, а также в политических группах» [Adair-Totefm 2016: 42].

В области социологии религии Вебер обращается к харизме как к силе, выходящей за рамки повседневности. Источниками экстраординарного свойства являются либо природный дар личности, либо искусственная трансляция дара конкретному лицу или объекту неповседневными средствами. Из определения четко следует типологическое разделение в соответствии с «природой» харизмы на непосредственно личную, подлинную и рутинизированную, объективированную.

В отношении личного типа Вебер говорит о харизме пророка и колдуна, где ключевым является акцент на индивидуальных действиях, связанных с магическими манипуляциями. Сила пророка же определяется миссией в формировании религиозного учения и трансляции Божьей воли. В этой связи магическая составляющая харизмы колдуна сменяется личным откровением и различными формами систематизации нового учения. При этом Вебер предлагает два типа пророчества: этическое и экземплярное. В первом случае речь идет о трансляции и реализации воли Бога посредством приказа или абстрактной нормы, требующих послушания как этического долга со стороны последователей. Здесь Вебер выделяет Будду и пророков Ветхого Завета в качестве иллюстрации исторически-феноменальных типов этического пророчества [Вебер 2017b: 129]. Во втором случае — пророк является самостоятельным источником религиозного спасения. Здесь преданность последователей адресована прежде всего личному примеру. Таким образом Вебер характеризует предлагаемые Заратустрой, Иисусом и Мухаммедом пути к спасению [Там же: 115].

В перспективе исторической макросоциологии Вебера предложенная типология носителей личной харизмы раскрывается в отношении проблемы рационализации религии, что отражено в процессе перехода от магических манипуляций к систематизации религиозного учения: «исторически маг был предшественником пророка: и пророка, дававшего личный пример для подражания, и пророка-спасителя. Как правило, пророк и спаситель легитимировали себя через обладание магической харизмой. Но у них это было лишь средством достижения признания в качестве, примера для подражания, посланца или обладателя качеств спасителя. Содержание пророчеств или заповедей спасителя ориентировало способ ведения жизни на достижение спасения, что означало его относи-

тельно рациональную систематизацию либо в отдельных моментах, либо целиком» [Вебер 2017а: 403-404].

Отдельным образом Вебер касается объективированного типа харизмы. Исходя из того, что священство представляет собой «круг лиц, нацеленных на регулярное, связанное с определенными нормами, местом и временем и ориентированное на определенный союз культовое производство» [Вебер 2017а: 103], харизма священнослужителя является вариантом должного типа, предполагающего наличие сакрального института и аппарата функционеров. Здесь не повседневная сила становится свойством безличного предприятия и распространится на каждого его члена по факту имеющейся «должности».

Такая же логика прослеживается в работе «Политика как призвание и профессия», в которой классик противопоставляет харизматичного вождя и «профессионального политика». В этой связи конкретным историческим феноменом для Вебера выступают политические фигуры и демагоги в контексте неавторитарного переосмысления харизмы — диктатура Кромвеля, греческая демократия Перикла, наполеоновское «господство гения» [Вебер 2016: 304-306]. В свою очередь, В. Моммзен считает, что «Вебер наделяет харизматического лидера чертами, взятыми из теории личности Ницше. Речь идет об элитарном индивиде, который в состоянии единолично порвать со всеми традиционными и рациональными нормами и инициировать революционную перестановку всех ценностей» [Йоас 2005: 36].

В результате обращение к классическому определению категории «харизма» М. Вебера сохраняет двойственный характер содержания и в отношении конкретных предметных областей. В рамках социологии религии харизма является типологическим инструментальным средством, фиксирующим источник экстраординарных сил и содержание миссии идеальных типов колдуна, пророка или священнослужителя. При этом за каждым из выделенных типов стоит конкретный исторический феномен: братство колдунов Гаметса у индийских племен Британской Колумбии, движения последователей Будды, Иисуса или Заратустры, священство как результат постапостольского периода христианской церкви. В случае политического господства харизма также выступает аналитическим средством в отношении типов легитимности, при этом находя свое проявление при описании эмпирически зафиксированных политических режимов под руководством лидеров-демагогов.

Исходя из двойственного характера категории, последующие переосмысления и реинтерпретации классического определения «харизмы» представлены множественными трактовками содержания термина. При этом вариативность подходов зачастую косвенно

указывает на существующее противоречие в отношении средства и конкретных исторически-феноменальных проявлений. В этом случае следует отметить одностороннюю экспликацию категории харизмы. Она рассматривается либо как методологическое средство (идеальный тип), либо как конкретный исторический феномен.

Так, К. Гирц, развивая предметную область социологии религии с позиции культурных символических систем, отождествляет харизму с «мегаконцепциями» (наряду с понятиями «отчуждение», «значение» и «модернизация») [Гирц 2004: 32]. Актуализация операционального подхода к содержанию подобных феноменов, по мнению Гирца, «позволит думать не только реалистически и конкретно о них самих, но, что еще важнее, творчески и образно с их помощью» [Там же]. То есть прежде чем говорить о возможностях конструкта как методологического средства, необходимо определить содержание термина в рамках конкретного исторического контекста. Отсюда следует повышенный интерес Гирца к этнографическому и антропологическому анализу исторических реалий, по результатам которого харизма представляется источником авторитета в отношении религиозных общностей, «гипнотической притягательности выдающейся личности» [Там же: 128]. При этом харизматическое влияние неразрывно связано с понятием «религиозной перспективы», включающим в себя элементы прояснения и формирование символических представлений о картине мира, что способствует преодолению субъективных проблем смысла и хаоса. Стоит также отметить, что по подобию классического определения Вебера, содержание харизмы Гирца насыщено не только религиозным, но и политическим контекстом. Наряду с выдающимся вкладом жрецов в развитие балийской религиозной системы [Там же: 205-212], Гирц отмечает и вклад лидеров политической национальной борьбы — Ганди, Неру, Сукарно и Мухаммед V [Там же: 268].

Подобные рассуждения о категории «харизма» не затрагивают в полной мере проблему двойственного характера термина, а скорее редуцируют имеющиеся противоречия в отношении конкретного феномена и методологического средства до переосмысления содержания в контексте лишь одной из сторон категории, например, в контексте «изысканного габитуса» предпринимателей [Калинина 2024: 167-168]. Такой подход в значительной степени актуализирует понятие, выявляет лакуны и реинтерпретирует классика, соглашаясь тем самым с непроясненным статусом категории.

Наиболее развернуто указанное противоречие отражено в дискуссии Ф. Тенбрука и В. Шлюхтера. Исходя из того, что главное открытие социологии Вебера заключается в религиозно-историческом анализе процесса рационализации, ключ к пониманию Вебера, считает Тенбрук, можно обнаружить лишь в «Собрании

сочинений по социологии религий», поскольку именно этот труд занимал Вебера весь период его творчества, и именно здесь представлен «уровень знания, достигнутый Вебером в ходе его занятий темой всей жизни» [Тенбрук 2020: 101; Tenbruck 1975]. Ключевые темы веберовской социологии, такие как обсуждение всемирно-исторических вопросов, антропологическая теория и, что наиболее важно, итоговые замечания в отношении рационализации религии, представлены в «Хозяйственной этике мировых религий». При этом наиболее известный труд «Хозяйство и общество» является изложением основных теоретических понятий — «там сложно усмотреть углубленную разработку его социологии. <...> С ориентированными на устойчивую проблему исследованиями, а именно с “Протестантской этикой” и “Хозяйственной этикой мировых религий”, он соотносится как систематический и, в конце концов, идеальнотипический компендиум» [Там же: 115].

Позиция В. Шлюхтера выглядит иначе. Он отстаивает значимость «Хозяйства и общества» как наиболее системного изложения теоретико-методологических основ социологии Вебера. Этот труд и «Собрание сочинений по социологии религии» «фактически служат дополнением и интерпретацией друг друга как с точки зрения развития работ Вебера, так и с точки зрения систематики» [Schluchter 1989: 431], поскольку первая из работ в большей мере связана с социологией Вебера, вторая же с Вебером-историком. В связи с чем любое сопоставление и выделение «главного труда» в отношении социологии Вебера является неуместным, считает Шлюхтер, «поскольку игнорирует различие в целях, задачах и задумках — «Хозяйство и общество» предназначалось прежде всего для формирования социологических концепций, тогда как «Хозяйственная этика» посвящена анализу ценностных сфер посредством применения социологических концепций, «руководствующихся центральным вопросом формирования уникального характера Запада и фундамента, на котором он покоится» [Ibid.: 432]. Он, таким образом, стремится показать взаимную комплементарность незаконченных произведений и их значение для понимания Вебера как социолога [Катаев 2017: 429]. Однако несмотря на оценку двух работ как равноправных с точки зрения научной значимости и веса в интеллектуальном наследии немецкого социолога, приведенное выше сопоставление целей в изложении материала и реконструкция творческого пути Вебера в формате 10 контраргументов, адресованных вызову Тенбрука, явно указывают на приоритет «Хозяйства и общества» как исходной и отправной точки для дальнейших научных изысканий классика.

Таким образом, представленные полярные точки зрения в отношении оценки наиболее значимого научного труда М. Вебера

формируют центральный вопрос настоящей статьи: категория «харизма» является задумкой Вебера-историка или Вебера-социолога? И что является первичным в этой задумке — конкретный исторический феномен или же конструирование методологического средства? Выделение и систематизация различных подходов в оптике исторической макросоциологии Вебера позволят прояснить эпистемологический статус категории «харизма».

Эволюционно-теоретическая перспектива

Для представителей эволюционно-теоретической оптики исторической макросоциологии М. Вебера ключевой проблемой является динамика изменений и преобразований в процессе возникновения и закрепления существующего социального порядка. Отправной точкой развития выступает накопление индивидуальных результатов деятельности отдельно взятых субъектов. Поэтому эвристический потенциал категории «харизма» отражается в апелляции к исторически значимым феноменальным проявлениям. При этом в центре внимания эволюционного подхода расположена не только предметная область социальных изменений, но и реинтерпретация способов трансформации харизмы. Так, концепции Э. Шилза [Shills 1965] и Ш. Айзенштадта [Eisenstadt 1968] предполагают включение должностного типа харизмы в стратификационный и институциональный анализ в качестве источника закрепления основ существующего социального порядка. Определение центральной системы ценностей как исходной структуры развития позволит обратиться к харизме с позиции повседневного феномена, интегрируя тем самым исключительное действие в структуру институционально закрепленных обыденных реалий.

Ключевым положением для Э. Шилза и Ш. Айзенштадта является расширенная трактовка категории «харизма» в ее светской интерпретации. Для Шилза включение харизмы в повседневные условия достигается путем определения центральной системы ценностей, отражающей потребность в символической упорядоченности окружающей действительности. Наличие в отдельно взятых сферах деятельности харизматических элементов, то есть личностей, способных «инициировать, создавать, управлять, трансформировать, поддерживать или разрушать то, что жизненно важно в жизни человека» [Shills 1965: 201], определяется содержанием ценностных ориентаций, закрепленных в существующем социальном порядке, и выступает в роли источника потенциального развития. При этом действия харизматика (созидания или преобразования) могут быть измерены с точки зрения объема действий, их интенсивности и последствий.

Степень влияния конкретной личности на общественные структуры определяется ее местом в стратификационной модели, поскольку индексируется массовой организацией распределения власти. В результате источником легитимности харизматических проявлений выступает статус должности, занимаемой индивидом в рамках ранжированной системы сфер деятельности и внутренней иерархии конкретных организаций: «корпоративные организации — светские, экономические, правительственные, военные и политические — приобретают харизматические качества просто благодаря огромной власти, сосредоточенной в них» [Ibid.: 207]. В свою очередь, дифференциация элит определяется массовой оценкой престижа отдельно взятой профессии на основании принадлежности к центральным ценностным системам.

Концепция рассеянного и ослабленного существования институциональной повседневной харизмы позволяет обратиться к содержанию термина с позиции укрепления социальных порядков, поскольку возникновение харизматических связей продиктовано существующей социальной иерархией, что в результате отождествляет конечную точку распределения власти с «трансцендентальной силой» [Ibid.: 201] и «идеей святого» [Ibid.: 205]. В случае отрицания иерархии харизма выступает сдерживающей силой социальных изменений, поскольку любой бунт, по мнению Шилза, косвенным образом признает легитимность существующего порядка. Таким образом, харизма является основополагающим элементом институционализации, при этом революционная сила трансформируется в источник укрепления стабильности социального порядка.

Продолжая идею центральной системы ценностей, интеграция должностной харизмы в повседневные институциональные структуры в концепции Ш. Азейнштадта представлена преодолением разрыва между исключительным событием и элементом упорядоченной социальной жизни. Потребность в закономерной интерпретации окружающей действительности является не только «чем-то экстраординарным, существующим в крайних деструктивных ситуациях» [Eisenstadt 1968: xxvi], но и отражается в отдельно взятых функциях социальной структуры. Источником формирования новых институтов и организаций, отвечающих потребностям поиска смысла и укрепления социального порядка, выступают культурно значимые инновационные цели и решения, «индивидуальная свобода и творчество» [Ibid.: xviii] личности или группы лиц. Поскольку «стремления и цели во многом зависят от дифференцированного положения в социальной структуре и той власти, которую они таким образом могут получить» [Ibid.:

xxxvi], распределение необходимых ресурсов заведомо продиктовано высоким статусным положением харизматика. Как следствие, образование новых организаций в рамках центральной системы ценностей формирует символическое содержание взаимовлияния автономных структурных харизматических центров и зависимых периферий [Eisenstadt 2004: 10] в отношении влияния и соответствующего распределения власти. В результате харизма организует самовоспроизводство социального порядка посредством инновационных практик в области центральных институциональных сфер.

Концепции «светской» харизмы Э. Шилза и Ш. Эйзенштадта выступили основой для современного переосмысления категории. Так, подход У. Бахмана к харизме выстроен вокруг определения феномена повседневности как способствующего стабилизации социальных порядков. Исходя из персонализированного характера харизмы, личные неординарные проявления не могут быть отражены в контексте современной структуры дифференцированных порядков, поскольку «если харизма вообще имеет место в дифференцированных порядках современных обществ, то она выполняет институционально-разрушительную функцию, дестабилизирует, приобретает характер чуждого, разрушительного, если не угрожающего структурным достижениям современных обществ» [Bachmann 2021: 143]. Однако, отмечает Бахман, подобный разрушительный эффект возможно преодолеть посредством переосмысленного содержания термина: необходимо освободить харизму от «ее экстраординарного мистицизма» [Ibid.: 144], заменив его на имеющийся у харизматика символический капитал, позволяющий производить культурную валюту в контексте ограниченной сферы воздействия. В результате предложенный подход предлагает актуальную модификацию содержания харизмы с позиции феноменального лидерства и накопленного символического капитала в соответствии с условиями модерна.

При этом эволюционно-историческая оптика обращается не только к процессам, способствующим сохранению социального порядка, но и, напротив, — к элементам, трансформирующим социальную действительность в результате эволюционной динамики исторических констелляций.

Так, Г. Рот выделяет три логических этапа исторического анализа Вебера. Первый — конфигурационный — предполагает разработку социально-исторических понятий. Сконструированные модели являются редуцированным вариантом структурного восприятия специфических исторических констелляций, отличных от таких универсальных категорий, как, например, «социальное действие». Второй — эволюционный — представлен уровнем «теории разви-

тия»¹, способной описать ход исторических событий в контексте используемой типологии первого уровня. Третий уровень — ситуационный — предполагает анализ исторического материала с позиции причинно-следственных связей, отрицая при этом фактор исторической случайности [Roth 2020: 125-126].

В этой связи главным интеллектуальным наследием исторического анализа Вебера является «Хозяйство и общество», поскольку именно здесь систематическое изложение идеальных типов сопровождается историческим объяснением [Roth 2020: 124]. Однако при обращении к категории «харизма» возникает ряд сложностей: «ни одна другая часть социологии господства Макса Вебера в книге “Хозяйство и общество” не оказалась столь трудной и в то же время такой провокационной, как разделы, посвященные харизме» [Ibid.: 128]. Во-первых, транскультурный характер концепта и адаптация изначально теологического термина к секулярным предметным областям формируют представление об универсальном феномене, так как вследствие надисторической природы харизмы отдельно взятое применение категории не может быть фальсифицировано, а лишь субъективно оценено на предмет применимости к конкретным историческим реалиям [Roth 2020: 129]. Подобная критика, отмечает С. Тернер, справедлива, поскольку, исключая из содержания понятия силу Святого Духа, концептуализация Вебером экстраординарного качества не предлагает ничего взамен [Turner 1993: 240]. Во-вторых, в отношении категории «харизма» затруднительными являются попытки провести границу между первым, конфигурационным, и вторым, уровнем «теории развития». В результате реализация заключительного, ситуационного этапа, доступного лишь специалисту-историку, и вовсе ставится под сомнение [Roth 2020: 125].

Для преодоления двух намеченных противоречий Рот предлагает секуляризованную трактовку модели харизматического общества и «теорию развития» харизмы разума. Несмотря на ограниченную предметную область иллюстрации первых двух уровней эволюционно-исторического анализа, представленный теоретико-методологический синтез предлагает один из способов восприятия

1 Г. Рот применяет понятие «светская (секулярная) теория» (secular theory), под которой он понимает «теорию развития», поскольку «развитие» вызывает эволюционные ассоциации, а сам «Вебер выступал против эволюционных тенденций своего времени в пользу конкретно-исторического объяснения уникального развития Запада» [Roth 2020: 125]. Хотя Вебер не отрицал, что существует «общее развитие культуры» (allgemeine Kulturentwicklung), включающее структурную дифференциацию и рационализацию на различных уровнях, но это не является законом, либо неумолимым телеологическим процессом [Ibid.].

исторической макросоциологии М. Вебера и позволяет различить характерные черты отдельных этапов в качестве «узнаваемых вариаций на исторически знакомые темы» [Ibid.: 143].

Модель харизматического сообщества выстроена вокруг определения идеологических виртуозов на основании экзemplярного типа пророчества социологии религии Вебера. С точки зрения контркультурных движений воинствующие и пацифистские группировки 1970-х годов составляют «то меньшинство людей, чьи духовные потребности и страстные обязательства не могут быть удовлетворены постепенными социальными улучшениями или политическими компромиссами» [Ibid.: 131]. Интенсивность как характеристика эффективности действий сообщества определяется культурным и политическим влиянием, которое возможно оказать на общество за пределами членства движения. При такой организации рутинной власти члены харизматического сообщества изолированы от политических, социальных, религиозных процессов. Однако как только легитимность установленного господства окажется под угрозой, потенциала харизматических движений может быть вполне достаточно для организации революционных событий [Ibid.: 132].

114

Харизма разума, в свою очередь, представлена уникальным объективированным типом, содержание которого апеллирует к исторически безликой системе революционных доктрин и взглядов: «в ходе исторической рационализации и разочарования мира харизматическая легитимность начинает в большей мере зависеть от идей, чем от магических или наследственных качеств личности их носителя» [Ibid.: 134]. При этом объективация не является способом рутинизации, поскольку результатом последнего типа трансформации становится национальное провозглашение доктрины и переход к официальной идеологии.

Концепция харизмы разума и контркультурных харизматических сообществ отражает динамику эволюционного развития посредством секуляризации ключевых понятий социологии М. Вебера, отхода от мистифицированного содержания концептов вследствие потребности отражения исторических процессов рационализации культурных областей и возникновения деперсонализированного характера организации отношений господства на языке теоретических конструкторов

Однако исключительно эволюционная трактовка исторических процессов предоставляет ограниченный набор аналитических подходов к осмыслению исторического проекта макросоциологии Вебера. Отдельные положения концепций во многом разрешают противоречия отдельных содержательных свойств харизмы, однако повышенное внимание к конкретному историческому феномену

как исходному материалу для критического переосмысления содержания трансформированных форм во многом игнорирует комплексный статус категории с точки зрения ее методологических оснований. В результате применения исключительно эволюционно-теоретической оптики может быть недостаточно, что, в частности, продемонстрировано в работах В. Шлюхтера.

Исходные эволюционные воззрения Шлюхтера основаны на систематизации трехчастного логического анализа «зрелой исследовательской программы» Вебера. Элементами аналитического подхода являются методология культуры, основанная на философии ценностей; теория культуры, которая апеллирует к эмпирическому содержанию важнейших ценностных сфер с точки зрения их типологической и структурированной формы; история культуры, которая рассматривает развитие цивилизаций с позиции поэтапной динамики преобладающих культурных и ценностных ориентаций в рамках формирования восприятия действительности и картины мира [Schluchter 1989: 48].

В рамках анализа этапов процесса развития западноевропейской рационализации Шлюхтер обращается к динамике этических компонент. В исследовании исторического дискурса вокруг возникновения и развития повседневной этики христианства промежуточные теоретические размышления представлены апелляцией к трансформации изначально личной харизмы в объективированный тип, включенный в долговременные институциональные структуры. Позиция Шлюхтера в отношении категории «харизма» отражает два ключевых замечания: широкое распространение термина за пределами научного сообщества и отсутствие в трудах Вебера строгой концептуализации понятия вне процессов трансформации стирают границы уместного употребления категории в ее изначальном содержании. Обращение к термину с позиции исключительно личного феноменального проявления не раскрывает эвристический потенциал, заложенный в аналитические возможности категории, так как «наибольшая редукция значения понятия “харизма” происходит там, где харизма рассматривается как исторически инвариантная личность» [Ibid.: 394]. В результате, отмечает Шлюхтер, «получить социологически адекватную версию харизмы, которая соответствует тому, как ее использовал Вебер, и отвечает требованиям систематичности, возможно, только если интерпретировать это понятие с точки зрения проблемы трансформации и/или рутинизации» [Ibid.: 393].

Тем не менее определение личной харизмы является отправной точкой и исходным материалом для изучения способов ее трансформации. Так, элементы власти личного типа предполагают наличие персонализированной миссии, признания со стороны учеников

как основы легитимности, доказательства харизматиком вне обыденных сил и качеств в харизматически релевантных ситуациях (ситуациях экзистенциального воздействия) и абсолютной личной преданности последователей в следовании миссии. При этом отсутствие структуры власти и ее оформления на базе исключительного существования конкретной личности образует эфемерный, нестабильный и кратковременный характер управления, что в конечном счете определяет причины преобразования личной харизмы. В свою очередь, механизм трансформации затрагивает видоизменение любого из четырех представленных выше элементов и любой их комбинации.

Ключевым положением теоретических размышлений Шлюхтера является противопоставление рутинизированных и объективированных преобразований. Если объективация — это форма сохранения источника харизматической силы и содержания миссии, то рутинизация полностью разрушает внеобыденное свойство, адаптируя составные элементы власти личного типа к условиям повседневности посредством традиционализации или легализации харизмы. В связи с чем институциональный тип харизмы является наиболее точной структурной альтернативой личного типа с преимущественным свойством стабильной организации власти. Основопологающим этапом в траектории объективации является деперсонализация, то есть «организация преемственности харизмы, ее транспозиция в институциональную не путем передачи харизмы от исходной личности к другим лицам, а путем ее переноса в социальные структуры» [Schluchter 1989: 232].

116

Завершающим же этапом выступает аксиоматическое разделение личности и харизматического института власти, что позволяет сохранить статус сакрального вне зависимости от личных компетенций должностных лиц. При этом внутренняя структура института позволяет «раздавать благодать», то есть наделять функционеров и членов организации харизматическим свойством. Результатом промежуточных теоретических размышлений стала расширенная типология господства на основании критериев повседневной и экстраординарной, а также личной и безличной организации власти. Элементы «неофициальной» типологии представлены традиционной (повседневно-личной), радикально-юридической (повседневно-безличной), личностно-харизматической (экстраординарно-личной) и должностно-харизматической (экстраординарно-безличной) структурами [Ibid.: 234].

На основании предложенной оптики Шлюхтер обращается к возникновению раннехристианской этики и «института благодати» в процессе рационализации религии. Организация святым апостолом Павлом «движения христианства первого поколения»

[Schluchter 1989: 230] заложило фундамент по сохранению миссии Иисуса в отношении ее закрепления и формирования вокруг нее общины. Рост численности последователей со временем выдвигал требования к институциональному оформлению учения с позиции укрепления легитимности «гарантий спасения и благодати». В результате образование раннехристианской церкви как сакрального института способствовало переходу от апостольства к организованному священству, избегая приобщения к обыденности за счет рутинизации миссии. С другой стороны, образование официального института гарантировало каждому христианину доступ к благам и обещание спасения. То есть возникли две траектории формирования институциональных структур — по средствам распределения церковных должностей и «как системы рукоположений и харизматических служений, во главе которых стоит тот, от которого харизма следования за Христом излучается как бы на все нижестоящие должности и посты» [Bienfait 2006: 293] и ритуала крещения как способа приобщения мирянина к сакральному. Основанием в создании церкви выступили следующие элементы: формирование священства, универсализм благодати, рационализация догм и обрядов, а также служебно-харизматическая (экстраординарно-безличная) структура организации [Schluchter 1989: 237]. Формирование христианской церкви выступило первой формой рациональной бюрократии в мировой истории за счет утверждения ряда принципов в отношении спасения, получить которое без членства в «институте благодати» невозможно; смещения акцента с личной квалификации священнослужителя на функциональные составляющие института в оценке эффективности «распространения благодати»; а также безразличия личной религиозной квалификации человека, нуждающегося в гарантиях и обещаниях спасения [Schluchter 1989: 239]. В результате оформление раннехристианской церкви позволило обеспечить стабильность и вневременное постоянство первоначально личной «харизмы» Иисуса Христа, сохранив при этом ореол сакрального статуса — «сила чудес, исходившая лично от Иисуса и даже от Павла, стала институционализированной. Это осуществлялось каждый раз, когда священник раздавал мирянину причастие» [Schluchter 1989: 229].

Таким образом, заключает Шлюхтер, с точки зрения эволюционных этапов истории религии для развития западноевропейского рационализма раннее христианство «было одновременно “неудачей” и “прогрессом”. Это была “неудача”, поскольку она “очаровывала” путь к спасению; это был “прогресс”, поскольку предлагал новую форму этики» [Schluchter 1989: 244]. В сочетании с идеей этического Бога и враждебностью к магическим манипуляциям, древний иудаизм и раннее христианство выступили в роли насле-

дия и одной из конститутивных предпосылок возникновения аскетичного протестантизма, завершившего историю рационализации религии.

Идеи Шлюхтера нашли свое отражение в современном прочтении и интерпретации должностного оформления харизмы. Так, концепция реперсонализации А. Бьенфе сосредоточена вокруг проблемы укрепления легитимности должностного типа на примере официальной католической церкви. Исходя из оппозиции личная/объективированная, Бьенфе противопоставляет разрушительному процессу рутинизации (неизбежному в случае оформления харизматического господства в стабильно действующую систему) должностную харизму в рамках «института благодати», позволяющую постоянно обеспечивать повседневную жизнь и учитывать потребности последователей, гарантируя каждому крещеному христианину доступ к благам и обещание спасения. Однако, как и любому институту, официальной церкви и священству угрожает процесс бюрократизации, поскольку оформлению должностной харизмы предшествует деперсонализация, потеря связи с источником подлинной святости и личной харизмы, необходимого для легитимации религиозного господства, — «чрезмерная объективизация и деперсонализация харизмы служителя неизбежно вступает в противоречие с подлинно религиозной потребностью в личном, конкретном опыте веры в форме внеповседневных переживаний. Любая потеря репрезентативной способности также снижает харизматическую легитимацию» [Bienfait 2006: 295]. В результате для сохранения уверенности в гарантиях благодати необходим обратный процесс — реперсонализация как способ укрепления легитимности института посредством «заряжения церковной должности сакральной аурой» [Ibid.: 307]. Подобный процесс, отмечает Бьенфе, наблюдается каждый раз при беатификации и канонизации после реформы Иоанна Павла II в области канонического права.

118

Детальное обращение Шлюхтера к корпусу текстов Вебера способствовало систематике аналитического материала с позиции «истории развития» как многоуровневой системы анализа «основных социальных конфигураций и их вариантов в эволюционной и сравнительной перспективе» [Schluchter 1992: 5]. Несмотря на автономную логику развития идей и обоснование западной рационализации с позиции необходимой последовательности от древнего иудаизма к протестантизму, позиция Ф. Тенбрука в отношении исключительно эволюционной трактовки событий в трудах Вебера, считает Шлюхтер, является однобокой и противоречивой, поскольку игнорируют включение в логику развития анализ институциональных структур и частных промежуточных процессов. Столь же редуцированной является попытка отнести Вебера к представи-

телям типологических взглядов в области исторического анализа [Ibid.: 4-5]. В связи с этим адекватное представление о социологии Вебера можно получить, лишь усмотрев в ее исходных положениях синтез двух наиболее значимых историко-социологических оптик.

Основное содержание концепции «истории развития» представлено ценностной сферой материальных и идеальных интересов и миром идей, отражающим символическую систему мотивов в форме систематизированных и абстрактных содержаний. Влияние идей на интересы достигается путем оформления институциональной сферы, которая выступает в роли посредника, благодаря чему динамика интересов образует социально значимое действие. Каждому институционально закрепленному социальному порядку, способному к интеграции в систему «тотальных порядков», соответствует частное мировоззрение. Элементами социального порядка выступают организационный аппарат как совокупность инструментального содержания институциональной сферы, а также сфера смысла как отражение этической составляющей. При этом макросоциологическая исследовательская программа Вебера, в дополнение к функциональным предпосылкам, исходит из того, что ориентиром для идентификации отдельно взятого социального порядка являются действия «исторических личностей, будь то индивидуальные или коллективные» в совокупности с эмерджентными свойствами и структурными эффектами конкретной институциональной сферы. В результате ценностная сфера и частные социальные порядки являются первым уровнем исторического анализа Вебера.

119

Второй этап представлен уровнями и измерениями социальных отношений. В этом случае индивидуальные действия должны соответствовать двум перспективам социального порядка: распределению власти между частными сферами, где критерием измерения выступает место институциональной сферы в иерархии контроля над ресурсами, и распределением власти внутри частного порядка, где ключевыми являются стратификационная структура и место субъекта по отношению к средствам производства материальных и идеальных благ.

При этом различие между частным порядком и действием, то есть между структурным и личностным аспектами исторического анализа, не является строго радикальным, поскольку каждый из элементов опосредован субъективным смыслом. В результате апелляция к определению ориентаций социального действия, влияние символического содержания порядков, динамика абстрактных идей, а также наличие этического компонента в рамках институциональной сферы образуют взаимодействия двух представленных уровней в логике исторического анализа Вебера.

Для выявления этической составляющей базовых конфигураций социальных порядков Шлюхтер исходит из эволюционной теории, основанной на логике развития: «в основе теории лежит тезис о соответствии между субъективной компетентностью к действию и объективной компетентностью структуры действия. Из развития компетентности актора теория выводит критерии структурного развития символических сфер, в которых происходит развитие индивидуальной компетентности» [Schluchter 1992: 39]. На основании эволюционной теории и сравнительных исследований мировых религий Вебера Шлюхтер систематизирует типологию религиозной этики, где магическая, юридическая, этика убеждения и этика ответственности составляют ядро базовых конфигураций как диапазон возможностей, заключенных в сравнительно-типологические модели для анализа исторической вариативности религиозного развития на пути к рационализации [Ibid.: 52].

120

Дальнейшие исследования Шлюхтера обращены в сторону диалектики харизмы и религиозной этики с той точки зрения, что харизма является революционной и творческой силой развития истории [Ibid.: 54]. В своем авторитарном содержании определяющие черты харизматического господства адресованы руководящему принципу легитимности по отношению к признанию миссии харизматика. При этом правление ограничивается лишь внутренними пределами, игнорируя значение внешних частных социальных порядков. Изменения в оптике анализа и включение институциональных схем в область эволюционной интерпретации приводят Шлюхтера к систематизации структуры власти личного типа господства, наличие которой ранее отрицалось. Для защиты исключительного характера содержания правления структура харизматической власти покоится на двух предпосылках: «(1) личные органы управления должны состоять из лиц, отказавшихся от своего экономического положения и семейной жизни, готовых пожертвовать собой и свободно выполнять свои задачи; (2) харизматический лидер и его последователи не должны удовлетворять свои потребности посредством рутинной экономической деятельности. Скорее, они должны полагаться на прерывистые приобретения посредством добычи, как в случае воинственных харизматических сообществ, или посредством подарков и жертвований, как в случае мирных харизматических сообществ» [Ibid.: 122]. Тем не менее разрыв между организационными принципами и повседневной реальностью настолько велик, что харизматическое правление постоянно сталкивается с угрозами развала или рутинизации. Для этого, отмечает Шлюхтер, есть как минимум три основания: «(1) введение внешних ограничений легитимации в связи с проблемой преемника, (2) возникновение семейных свя-

зей среди сотрудников, (3) использование “харизматической благодати” как источника дохода и, следовательно, переход к рутинной экономике» [Ibid.: 122]. Иными словами, личное харизматическое господство склонно к различного рода трансформациям и является исторически изменчивой системой. Исходя из проведенного Вебером различия между магической, религиозной и харизмой разума; процессами рутинизации и деперсонализации; этическим и экземплярным пророчеством, Шлюхтер интегрирует каждую из типологий в систематическое изложение развития харизмы с точки зрения ее преобразований в логике исторических процессов [Schluchter 1992: 124-126].

Переход от магической харизмы к религиозной объясняется с позиции содержательных критериев магической и религиозной этики. Так, только при возникновении дуалистического мировоззрения, идеи Бога, дифференциации действий и норм харизма может быть закреплена в миссии, а миссия, в свою очередь, может быть отделена от конкретной личности. Это принципиальное различие ставит религиозную харизму в своем историческом развитии на ступень выше магической. То же справедливо и в отношении харизмы разума. При этом как только идея «разума» перестает прославлять силы, кажущиеся сверхъестественными и сверхчеловеческими, миссия разума терпит неудачу. И в этом смысле харизма достигает своего исторического завершения.

121

Отказ от исключительно эволюционной оптики также повлиял на определение Шлюхтером процессов трансформации. Теперь рутинизация, включая институциональное и должностное закрепление харизмы, как в случае ее религиозного содержания, отражает лишь структурные изменения. Изменения развития же отражены в процессе деперсонализации с точки зрения «обезличивания» харизмы, когда миссия все чаще контролируется интеллектуально, нежели индивидуальными усилиями личности. В этом смысле образование института благодати и возникновения священства отличается от процветания харизмы разума. При этом факт «обезличивания» не обязательно свидетельствует об исчезновении харизматиков. Способ репрезентации миссии определяется видами пророчеств, и если в случае этического типа мы говорим о послушании в отношении абстрактной нормы, то в случае образцового пророчества — о возможности координации личного жизненного пути жаждущих спасения. Подобная типология также отражает дифференциацию норм и действий на этапе перехода от магической к религиозной харизме.

Результатом теоретических размышлений стала переосмысленная типология господства с точки зрения «легализации этики и власти» [Ibid.: 126] в ходе исторического развития. Таким обра-

зом, Шлюхтер выделяет три базовых конфигурации: непрерывные повседневные структуры традиционного и рационального господства, основанные на руководящем принципе личной лояльности или законности, и прерывистую экстраординарную структуру харизматического господства, основанную на миссионерском принципе [Ibid.: 126].

Итак, «история развития» как стратегия обращения к исторической социологии Макса Вебера исходит из различия между базовыми конфигурациями действия и историческими вариантами ориентаций действия, то есть между аналитическими моделями идеальных типов и конкретным историческим материалом. Вариант как возможный ход эмпирических событий в исторически обусловленном контексте может быть соотнесен с базовыми конфигурациями. При этом идеально-типические модели образуются систематично, эволюционно, поэтапно и в этом смысле определяют радиус возможных вариантов развития исторических событий. Каждая модель также имеет два измерения, представленных мировоззренческим аспектом, то есть динамикой этических компонент, и институциональным оформлением этого аспекта в организационные структуры. Подобная логика анализа, отмечает Шлюхтер, адекватна при обращении к ключевым социальным порядкам — политическому, культурному, экономическому и сфере образования [Schluchter 1992: 133].

122

С этой точки зрения харизма является элементом базовой конфигурации действия с автономной историей развития собственного содержания. На уровне идеально-типических моделей определяются ключевые и универсальные положения в отношении структуры и принципов организации господства. Однако дальнейшее включение конфигурации в исторический процесс видоизменяет отдельно взятое свойство харизмы в соответствии с текущим уровнем развития и историческим контекстом. Систематизация двух уровней образует динамичное содержание конструкта, в том числе и саму харизму.

Стоит отметить, что в отношении основных положений веберовской исследовательской программы позиция В. Шлюхтера остается неизменной. Смена оптики и оптимизация комплексного подхода с точки зрения систематики эволюционной природы развития и сравнительно-типологического анализа промежуточных процессов все также базируется на строгих методологических принципах социологии Вебера. Так, на протяжении всего интеллектуального пути Шлюхтер выделяет два исходных исследовательских аспекта на уровне социологических концептов и сравнительно-аналитического подхода к историческому дискурсу. Первый аспект предполагает обобщенную форму типизации концептуальных контуров

исторически значимых явлений и процессов. Идеальный тип с набором отличительных критериев выступает в роли отправной точки эмпирической цели исследования, то есть в роли «специальных базовых социологических концепций, посредством сочетания которых можно рассмотреть общий контекст исторических действий» [Schluchter 2013: 41]. При этом степень абстракции отдельно взятой модели выстроена таким образом, чтобы отразить возможный смысл конкретной исторической реальности. Включение в содержание конструктора гипотетического диапазона развития реальных констелляций позволяет облегчить причинно-следственную атрибуцию исторического анализа и при этом достигнуть уровня причинности, адекватного эмпирическому материалу. Дальнейший сравнительный анализ контекста исторических событий с точки зрения промежуточных процессов развития «между» идеально-типичными этапами составляет основу исторического анализа Вебера. При этом в содержании модели акцентируются универсальные свойства и определяющие критерии, которые были видоизменены с учетом влияния реального хода событий. Организация динамического содержания социологических концептов обуславливает «относительно пустые конструкторы, содержание которых наполняет исторический материал» [Schluchter 2004: 40]. При этом наполнение категорий реальным содержанием не должно рассматриваться как «скатывание Вебера к историографии» [Ibid.: 41], поскольку каждый элемент внутренней структуры и автономной логики развития идеального типа, погруженного в исторический контекст, также определяется с теоретической, то есть сравнительно-исторической точки зрения.

С учетом указанной логики в историческом анализе Вебера совершенно оправданной является позиция В. Шлюхтера в отношении методологического спора с Ф. Тенбруком. Фактически оценку трудов «Хозяйство и общество» и «Собрание сочинений по социологии религии» можно свести к постановке различных целей в рамках одной социологической идеи. При этом, отмечает Шлюхтер, «поздняя» социология Вебера не может быть обнаружена ни в одном из текстовых фрагментов, взятых отдельно. Только рассматривая их с точки зрения взаимной интерпретации, можно адекватно реконструировать исследовательскую оптику Вебера [Schluchter 1989: 432]. Так как «для «воссоздания образа аутентичного Вебера» необходимо прояснение междисциплинарных связей в его творчестве, перспектива обращения к «понимающей социологии» в ее позднем, соответствующем изначальной интеллектуальной идее виде возможно лишь на основании комплексного прочтения двух основных проектов в Полном собрании сочинений [Катаев 2017: 429].

Сравнительно-исторический подход

Организационной системой отсчета веберовской социологии, считает С. Калберг [Kalberg 1994], является теоретико-методологический синтез, представленный разработкой предметной области с позиции теоретической структуры и конструированием идеально-типических моделей в рамках конкретной исследуемой области. Подобное сочетание позволяет обратиться к причинно-следственному анализу ориентаций действия на уровне гипотетических истолкований, не претендующих на исчерпывающее определение реальных, эмпирических случаев. Тем не менее существующий набор аналитических ориентиров действия в рамках ограниченной предметной области позволяет установить адекватную причинно-следственную связь, отраженную в конкретном историческом материале.

Наиболее значимым в отношении раскрытия содержания категории «харизма», согласно сравнительно-историческому подходу, выступает трехэтапная каузальная методология при анализе исторических феноменов, поскольку «только динамические взаимодействия, включающие причинно-следственную значимость как настоящего, так и прошлого, интегрирующие отдельные средства и необходимые ориентации действия в структуру множества ориентаций, обеспечивают адекватные причинно-следственные объяснения случаев и событий» [Kalberg 1994: 147]. Структура каузальности Вебера представлена систематизацией существующих ориентаций действий, анализом диахронического взаимодействия и «дальности проникновения» типичного действия, а также оценкой конъюнктурного влияния.

Эвристический вклад ориентаций с позиции содержания харизмы представлен посредством систематизации моделей образования гипотез. Так, динамическая и контекстуальная системы, а также модели сравнения и развития «находятся в самом центре сравнительно-исторической социологии Вебера и вносят ключевой вклад в ее строгость, аналитическую мощь и уникальность» [Ibid.: 93], поскольку позволяют обозначить динамическую структуру и эмпирическую значимость идеально-типических конструкторов.

Динамика как свойство идеального типа отражает взаимодействие конструкторов между собой, внутреннее состояние сопротивления и в результате противопоставляет однолинейной трактовке типичных ориентаций действия. Применительно к категории «харизма» динамическая система затрагивает как возникновение харизматической фигуры, так и трансформацию изначально персонализированного, нестабильного и революционного типа господства. В первом случае речь идет о борьбе за признание в рамках конкуренции

с устоявшимся режимом, либо с новоиспеченными соперниками, чьи ориентации действия связаны с притязаниями на статус пророка или вождя [Вебер 2016: 218]. При этом процесс рутинизации как способ укрепления позиций харизматического господства также встречает сопротивление последователей харизматика и его штаба управления — «нельзя забывать об изначально личностных требованиях к харизме господина, и борьба служебной и наследственной харизмы с личной — типичный для истории процесс» [Там же: 289]. Кроме того, результатом процесса рутинизации является традиционализация, или легализация харизмы, что также отражает динамический характер взаимодействия идеально-типических моделей господства.

Контекстуальная система, в свою очередь, отражает причинную значимость существующих типичных действий в отношении конкретного идеального типа, а также подчеркивает его динамическую силу в отношении взаимодействия с актуальной окружающей средой. В этом случае характер харизматического господства предполагает учет контекста ситуации в ориентациях действия харизматика, то есть в содержании миссии. Поскольку сам факт возникновения экстраординарной фигуры обусловлен кризисным положением, требующим неотложного решения, легитимность доктрины, выдвигаемой харизматиком, определяется отражением способов стабилизации существующего дисбаланса. С учетом того, что условия социального страха, безнадежности, опасности и недостатка информации, с одной стороны, выступают значительной ресурсной базой для возникновения харизматика [Turner 2003: 16], а с другой — в своем содержании являются изменчивыми и динамичными, харизма выступает в качестве «вечно нового» [Weber 1988: 481] источника власти.

Наиболее значимыми же в рамках формирования типичных ориентаций действия являются модели сравнения. Выделение и сопоставление отличительных характеристик, а также определение аналитических отношений между содержанием идеальных типов формируют основу представления о методологических конструктах Вебера. В отношении харизмы (без учета процессов трансформации) такие принципиальные черты, как революционный характер, отсутствие стабильности, антихозяйственная ориентация и, безусловно, личная структура отношений господства и подчинения, определяются посредством сравнения с традиционным и легальным типом легитимности и тем самым составляют ядро концептуализации содержания термина. При этом аналитические отношения избирательного сродства или антагонизма возможно проследить как в идеальных типах (харизма резко противостоит традиции и легальности), так и в рамках содержания конкретной

предметной области для отдельно взятой категории — «пути спасения, которые в целом относятся к конstellациям ценностей, имплицитно или эксплицитно артикулированных доктринами, налагают ограничения на определенные действия таким образом, что не только мистик и аскет выбирают радикально различные стратегии действий; кроме того, действия, относящиеся к другим путям спасения — спасение через спасителя, институт, ритуальные добрые дела и веру — являются взаимоисключающими» [Kalberg 1994: 107].

В свою очередь, модели развития предполагают апелляцию к гипотезам о процессе развития идеально-типических конструкторов в результате прохождения типичных стадий и этапов. Ориентация действия последователей и аппарата управления на заинтересованность в укреплении позиций харизматической власти и обеспечении долговременными экономическими ресурсами выступает движущей силой рутинизации и объективации харизмы. При этом подобные трансформации являются типичным и центральным этапом развития модели харизматического господства — «эта конструкция развития предполагает, что вес разнообразных заинтересованных сторон изменяет харизматическое послание в догму, доктрину, теорию, закон или окаменевшую традицию; ученики становятся “профессиональными” магами и священниками; великие воины — владельцами вотчин, основателями знатных родов и королями; последователи — государственными и партийными деятелями; а харизматическое сообщество — церковью, иерократией, сектой, академией или партией» [Ibid.: 125].

126

Внутренние законы идеально-типических конструкторов, наряду с непрерывно организованными ориентациями действий, представлены взаимодействием с исторически сложившимися социальными порядками. В результате систематизация представлений о диахроническом взаимодействии ориентаций позволяет концептуально охватить аморфные эмпирические реальности, зафиксированные в моделях типичного действия, с позиции способа возникновения и влияния отдельно взятого ориентированного действия на кластер ограниченной предметной области.

Отрицая дихотомию «традиционного и современного», Вебер исходит из того, что общества являются системой скрепленных друг с другом многочисленных конкурирующих и взаимодействующих моделей ориентаций действия. Такая позиция предполагает признание прошлого как источника «новых» событий, когда «типичное социальное действие может играть влиятельную причинную роль в настоящем, далеко от его истоков» [Ibid.: 159].

Взаимодействие прошлого и настоящего может быть реализовано в двух формах: наследия и предшествующих условий. В пер-

вом случае речь идет о существующих ориентациях, имманентно закрепленных в структуре социальных порядков и организующих их взаимовлияние в контексте исторического нарратива: «Вебер подчеркивает, что закономерности действия одного порядка жизни в одну эпоху распространяются на целый ряд порядков в последующую эпоху, что является эмпирически распространенным процессом» [Kalberg 2013: 39]. Так, наследие в рамках предметной области религии представлено достижениями древнего индуизма, транслируемыми католицизму и протестантизму, т. е. в признании монотонического Бога и отказа от магических манипуляций. Предшествующие условия, в свою очередь, формируют регулярные ориентации на восприятие типичных действий из прошлого в видоизмененной форме. В этом смысле маг является предшественником этического и экземплярного пророчества, харизма великого воина и рыцаря — предшественником королевской власти [Kalberg 1994: 164-165].

Тем не менее подобная логическая каузальная цепочка не является исчерпывающим причинным истолкованием возникновения существующих ориентаций действия, в том числе нацеленных на харизматические проявления. Поскольку диахронное взаимодействие прошлого и настоящего затрагивает линейный ход развития событий, в основе которого расположены изолированные идентифицированные феномены, динамика адекватного причинного анализа достигается путем включения конъюнктурного взаимодействия. И хотя влияние контекста на ориентации действия уже было обозначено в рамках гипотез формирования идеальных типов, Вебер «стремится во всех своих сравнительно-исторических трудах интегрировать “конкретный факт” как реальный причинный фактор в реальный, следовательно, конкретный контекст» [Ibid.: 170]. В результате только динамическое взаимодействие наследия и/или предшествующих условий и актуального контекста ориентаций действия становится решающим фактором в возникновении конкретного исторического феномена.

Итак, сравнительно-историческая оптика в работах Калберга преодолевает противоречие в отношении двойственного характера категории «харизма» как феноменального исторического проявления и в то же время методологического средства с помощью исходных положений социологии Вебера. Выделение автономных предметных областей с позиции теоретического осмысления исторических констелляций и конструирование идеальных типов, погруженных в конкретную историческую действительность ограниченной предметной области, предполагает включение эмпирического материала в образование идеально-типических конструкций. Ключевым в сравнительно-исторической социологии Вебера выступает трех-

этапная каузальная методология, согласно которой исторический нарратив является основой для отдельно взятого идеального типа [Kalberg 2013: 22]. Аналитический подход при обращении к историческому материалу в рамках ограниченной предметной области организован в перспективе динамической системы влияния прошлых ориентаций действия на современные социальные порядки с учетом актуальных контекстуальных конфигураций. Выделение типичного действия как связующего звена различных эпох в унификации феноменальных проявлений позволяет отразить механизмы переплетения истории и современности при образовании идеально-типических конструкций. То есть, исходя из существующих ориентаций действия, закрепленных в историческом наследии и условиях, позволяющих состояться типичному действию в настоящем, конкретные исторические трансформации выступают результатом контекстуального преобразования ориентаций на прошлые социальные порядки. Аналогично харизма, вопреки инновационному характеру, является отражением ранее существующих ориентаций в контексте современных условий. Связывая прошлое и настоящее, харизма остается унифицированной формой типичного действия, содержание которой подвергается изменениям посредством конъектурного взаимодействия с современным социальным порядком.

128

Стоит отметить, что переплетение истории и современности в контексте внутренней динамики идеального типа не исчерпано формами наследия и предшествующих условий. В частности, отмечает Калберг, значение приобретает ряд следующих закономерностей действия — конкретные исторические события, социальные институты, позиция власти и влияние идей [Ibid.: 42].

Так, переплетение идей и интересов с позиции истории рационализации религии отражает систему взаимовлияния прошлого и настоящего, унифицированной формы харизматических практик и их «вечно нового» содержания. Предпосылкой для всемирно-исторического развития выступил синтез допущения о наличии посюстороннего мира и антропологическая проблематика бессмысленного и несправедливого в отношении восприятия окружающей действительности [Тенбрук 2020: 107-108]. Трансцендентальная идея способствовала возникновению потребности в необыденных переживаниях, результатом которой выступила организация харизматических практик. При этом стремление к целостному обоснованию окружающей действительности и динамика в систематизации фактов и унификации действий позволили обнаружить ранее не осмысленные лакуны в установленной картине мира. Трансформация в контекстуальных аспектах каждого из этапов рационализации запускала цикл видоизменения в содер-

жании харизматических проявлений, включая их объяснительные способности и техническое сопровождение — начиная с магических манипуляций и ритуального действия, заканчивая этической религией спасения [Там же: 109]. В результате закреплённая идея о посястороннем мире и динамика интересов с позиции рационального взаимодействия с ним отразились в «харизматической» потребности и харизматических практиках, актуальных для каждого из этапов исторического развития.

Таким образом, с позиции сравнительно-исторической социологии харизма включена в конфигурации действия посредством взаимовлияния прошлых и современных ориентаций. Укоренённые в наследии, идеях, структурах власти и социальных институтах ориентации на харизматические проявления формируют необходимые и способствующие условия для возникновения феномена в настоящем. При этом контекстуальное влияние определяет трансформацию в содержании ранее существующих ориентаций, адаптируя историческое наследие к современным социальным порядкам. Подобная комплексная методологическая структура позволяет прояснить статус категории «харизма» как типичного аналитического средства с вечно новым историко-культурным содержанием.

Заключение

Итак, для прояснения эпистемологического статуса харизмы в исторической макросоциологии мы опирались на фундаментальные положения веберовской исследовательской программы, согласно которым применение наследия Вебера становится возможным благодаря рассмотрению всего корпуса текстов классика, его основных понятий и методологии, в контексте рецепционных и актуализирующих компонент [Катаев 2020: 151]. Для этого мы обращаемся к реконструкции классического содержания категории «харизмы», вариантам реинтерпретации термина в контексте методологического спора в отношении корпуса текстов классика между В. Шлюхтером и Ф. Тенбруком. Это позволило систематизировать различные подходы к пониманию веберовской исторической макросоциологии в целом и харизмы в частности.

Множественность трактовок категории, контекстуальное разнообразие в применении и иллюстративном сопровождении харизмы в трудах самого Вебера, а также дальнейшие вариации переосмысления формируют универсальный, фрагментарный и полиморфный характер содержания термина. Однако непрояснённый эпистемологический статус понятия, то есть противоречие между методологическим средством и конкретным историческим фено-

меном, возможно преодолеть путем обращения к различным оптикам исторической макросоциологии.

Так, эволюционно-теоретическая перспектива определяет содержание категории с позиции динамики культурно-ценностных ориентаций в процессе возникновения и укрепления социального порядка и институциональных структур. Анализ трансформаций и преобразований харизмы в работах Э. Шилза и Ш. Айзенштадта обращен к диапазону значимых функциональных аспектов исключительных действий в процессе социальных изменений. Таким образом, определение харизмы с точки зрения эволюционной оптики исходит из феноменальных проявлений, формирующих прогрессивную точку инновационного воздействия на социальные структуры, в результате чего харизма выступает источником институционализации и дальнейшего развития системы социального порядка.

Теория и история развития Г. Рота и В. Шлюхтера, в свою очередь, исходят из систематизации уровней базовых конфигураций, то есть социологических понятий, и исторических вариаций конкретного эмпирического материала. С этой точки зрения харизма выступает автономным эмерджентным феноменом с собственной логикой развития содержания конструкта, историческим завершением которой стала харизма разума [Schluchter 1992: 124].

130

Основой сравнительно-исторического подхода С. Калберга является трехэтапная каузальная методология, включающая конфигурации типичного действия, диахронное проникновение, а также контекстуальное влияние. В этом случае харизма выступает связующим элементом прошлого и настоящего, то есть отражением существующих в историческом нарративе ориентаций действия с учетом актуального влияния контекстуальных условий в настоящем. В результате мы говорим о типичном аналитическом средстве с вечно новым историко-культурным содержанием.

Систематизируя представленные подходы, можно сделать вывод, что содержание категории харизмы наполняется существующим историческим нарративом. Выделение двух уровней — аналитического и эмпирического, а также определение их взаимосвязи посредством погружения идеально-типического конструкта в реальные условия с учетом видоизменения содержания термина позволяет прояснить эпистемологический статус категории. Многообразие трактовок термина как в трудах Вебера, так и в рамках существующих рецепций, таким образом, объясняется динамичным содержанием унифицированного методологического конструкта.

В этой связи особую значимость приобретают междисциплинарные связи исторической макросоциологии, прояснение которых мы находим в аргументации В. Шлюхтера в контексте методологического спора

с Ф. Тенбруком. Считаем более продуктивной в нашем конкретном случае позицию В. Шлюхтера, согласно которой «Хозяйство и общество» и «Полное собрание сочинений по социологии религии» составляют единый проект социологии Макса Вебера, в рамках которого отражено функциональное разделение интеллектуальных задумок — «в одном случае исторический материал послужил формированию социологических концепций; в другом случае формирование понятий служило главным образом социологическому проникновению в исторический материал» [Schluchter 1989: 422]. В результате адекватное прочтение понимающей социологии возможно лишь с позиции синтеза наследия Вебера-социолога и Вебера-историка, а эвристическая значимость трудов классика расположена на их пересечении.

Таким образом, определение методологии Вебера с точки зрения систематики аналитического и эмпирического уровней и обращение к исследовательской программе с позиции единого интеллектуального проекта на основании комплексного прочтения трудов «Хозяйство и общество» и «Полное собрание сочинений по социологии религии» позволяет сделать вывод, что категория «харизма» — относительно универсальный конструкт с набором отличительных свойств, содержание которых видоизменяется в зависимости от исторического контекста. Систематизация подходов к исторической макросоциологии Вебера и учет комплементарности трудов классика позволяет не только прояснить эпистемологический статус категории, но и преодолеть критику С. Тернера в отношении несостоятельности категории «харизма», а также гетерогенном и остаточном характере термина в свете многоуровневой исследовательской оптики социологии Макса Вебера.

131

Библиография / References

Беньямин В. (1996) *Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости*, М.: Медимум.

— Benjamin W. (1996) *The Work of Art in the Age of Its Technical Reproducibility*, Moscow: Medium. — in Russ.

Вебер М. (2016) *Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии в 4 т. Т. 1*, М.: Изд. дом Высшей школы экономики. EDN: XZYVED

— Weber M. (2016) *Economy and Society: Essays of Understanding Sociology*. 4 vols., vol. 1: Sociology, Moscow: HSE Publishing House. — in Russ.

Вебер М. (2017а) *Хозяйственная этика мировых религий. Опыт сравнительной социологии религии. Конфуцианство и даосизм*, СПб.: Владимир Даль. — in Russ.

— Weber M. (2017a) *The economic ethics of world religions. Experiments in the comparative sociology of religion. Confucianism and Taoism*, St. Petersburg: Vladimir Dahl. — in Russ.

Вебер М. (2017b) *Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии в 4 т. Т. 2*, М.: Изд. дом Высшей школы экономики. EDN: YWQQBV

— Weber M. (2017 b) *Economy and Society: Essays of Understanding Sociology*. 4 vols., vol. 2: Commonalities, Moscow: HSE Publishing House. — in Russ.

Гирц К. (2014) *Интерпретация культур*, М.: РОССПЭН. EDN: QOCQVP

— Geertz C. (2014) *Interpretation of cultures*, Moscow: ROSSPEN. — in Russ.

Йоас Х. (2005) *Креативность действия*, СПб.: Алетейя. EDN: QOERCL

— Joas H. (2005) *Creativity of Action*, St. Petersburg: Aleteia. — in Russ.

Калинина В. О. (2024) Харизма и повседневность в экономическом поле. *Экономическая социология*, 25 (3): 160-182. EDN: LYGVNL. <https://doi.org/10.17323/1726-3247-2024-3-160-182>.

— Kalinina V. (2024) Charisma and Everyday Life in the Economic Field. *Journal of Economic Sociology*, 25 (3): 160-182. — in Russ. <https://doi.org/10.17323/1726-3247-2024-3-160-182>.

Каспэ С. И. (2019) *Политическая теология и nation-building: общие положения, российский случай*, М.: РОССПЭН. EDN: QONKJR

— Kaspe S. I. (2012) *Political Theology and Nation-Building: General Provisions, the Russian Case*, Moscow: ROSSPEN. — in Russ.

132

Катаев Д. В. (2017) Социология Макса Вебера: поздняя, незавершенная и своевременная. *Социологическое обозрение*, 16 (3): 428-435. EDN: YTHMMC

— Kataev D. V. (2017) Sociology of Max Weber: Late, Incomplete, and Timely. *Russian Sociological Review*, 16 (3): 428-435. — in Russ.

Катаев Д. В. (2018) Веберианский и антивеберианский дискурс: к вопросу о гипнотической силе классики на примере «Протестантской этики». *Экономическая социология*, 19 (5): 146-158. EDN: PMOAQI. <https://doi.org/10.17323/1726-3247-2018-5-146-163>

— Kataev D. V. (2018) Weberian and anti-Weberian Discourse: Towards a Question of the Hypnotic Power of the Classics on the Example of “Protestant Ethics”. *Journal of Economic Sociology*, 19 (5): 146-158. — in Russ. <https://doi.org/10.17323/1726-3247-2018-5-146-163>

Катаев Д. В. (2020) Новая критическая теория или аналитический эмпиризм? *Социологическое обозрение*, 19 (3): 426-449. EDN: DKWANI. <https://doi.org/10.17323/1728-192x-2020-3-426-449>

— Kataev D. V. (2020) New Critical Theory or Analytic Empiricism? *Russian Sociological Review*, 19 (3): 426-449. — in Russ. <https://doi.org/10.17323/1728-192x-2020-3-426-449>

Мауль В. Я., Лазарева О. В. (2024) «Царские знаки» и мифические путешествия в системе аргументов Пугачева/Петра III. *Гуманитарные исследования Центральной России*, 30 (1): 20-28. EDN: SXLUDX. <https://doi.org/10.24412/2541-9056-2024-130-20-28>

— Maul V.Ya., Lazareva O. V. (2024) “Royal marks” and mythical travels in the system of arguments of Pugachev/Peter III. *Humanities researches of the Central*

- Russia, 1 (30): 20-28. — in Russ. <https://doi.org/10.24412/2541-9056-2024-130-20-28>
- Роза Х. (2018) Идея резонанса как социологическая концепция. *Глобальный диалог*, 8(2): 41-44.
- Rosa H. (2018) The Idea of Resonance as a Sociological Concept. *Global Dialogue*, 8 (2): 41-44. — in Russ.
- Тенбрук Ф. (2020) Главный труд Макса Вебера. *Социологическое обозрение*, 19 (2): 76-121. EDN: ILKDRW. <https://doi.org/10.17323/1728-192X-2020-2-76-121>
- Tenbruck F. Max Weber's Main Work. *Russian Sociological Review*, 19 (2): 76-121. — in Russ. <https://doi.org/10.17323/1728-192X-2020-2-76-121>
- Фреик Н. В. (2001) Политическая харизма: обзор зарубежных концепций. *Социологическое обозрение*, 1(1): 5-24. EDN: TWMQXR
- Freik N. V. (2001) Political Charisma: A Review of Foreign Concepts. *Russian Sociological Review*, 1(1): 5-24. — in Russ.
- Шлюхтер В. (2004) Действие, порядок и культура: основные черты веберовской исследовательской программы. *Журнал социологии и социальной антропологии*, (2): 22-50. EDN: NBYNWB
- Schluchter W. (2004) Action, Order and Culture: The Main Features of the Weberian Research Program. *The Journal of Sociology and Social Anthropology*, (2): 22-50.- in Russ.
- Adair-Totef C. (2016) *Max Weber's Sociology of Religion*, Tübingen: Mohr Siebeck.
- Bachmann U. (2021) Charisma und Moderne: Zur Bedeutung des personalen Charismas in differenzierten Ordnungen. Bachmann, U., Schwinn, T. (Hrsg.) *Theorie als Beruf. Studien zum Weber-Paradigma*, Wiesbaden: Springer VS: 143-162. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-32000-3_8
- Bienfait A. (2006) Zeichen und Wunder. Über die Funktion der Selig — und Heiligsprechungen in der katholischen Kirche. Schwinn T., Albert G. (Hrsg.) *Alte Begriffe — Neue Probleme. Max Webers Soziologie im Lichte aktueller Problemstellungen*, Tübingen: Mohr Siebeck: 285-310.
- Biggart N. W. (1989) *Charismatic Capitalism: Direct Selling Organizations in America*, Chicago: University of Chicago Press.
- Bourdieu P. (1987) *Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft*, Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Eisenstadt E. S. (1968) Introduction. Charisma and Institution Building. Max Weber and Modern Sociology. E. S. Eisenstadt (ed.) *On charisma and institution building: selected papers*, Chicago: University of Chicago Press: ix- lvi.
- Eisenstadt S. N. (2004) Social evolution and modernity: Some observations on Parsons's comparative and evolutionary analysis: Parsons's analysis from the perspective of multiple modernities. *The American Sociologist*, (35): 5-24. <https://doi.org/10.1007/s12108-004-1020-7>
- Glassman R. (1984) Manufactured Charisma and Legitimacy. Glassman R., Murvar V. (eds.) *Max Weber's Political Sociology: A Pessimistic Vision of a Rationalized World*, Westport: Greenwood Press: 217-236.

Kalberg S. (1994) *Max Weber's Comparative-Historical Sociology*, Chicago: University of Chicago Press.

Kalberg S. (2013) *Deutschland und Amerika aus der Sicht Max Webers*, Wiesbaden: Springer Fachmedien.

Kraemer K. (2008) Charisma im ökonomischen Feld. Maurer, A., Schimank, U. (Hrsg) *Die Gesellschaft der Unternehmen — Die Unternehmen der Gesellschaft*, Wiesbaden: Springer VS: 63-77. https://doi.org/10.1007/978-3-531-91199-1_4

Roth G., Schluchter W. (2020) *Max Weber's vision of history ethics and methods*, Berkeley: University of California Press.

Samier E. (2005) Toward a Weberian Public Administration: The Infinite Web of History, Values, and Authority in Administrative Mentalities. *Halduskultuur*, (6): 60-94.

Schluchter W. (1989) *Rationalism, religion, and domination. A Weberian perspective*, Berkeley: University of California Press.

Schluchter W. (1992) *The Rise of Western rationalism. Max Weber's developmental history*, Berkeley: University of California Press.

Schluchter W. (2004) The approach of Max Weber's sociology of religion as exemplified in his study of Ancient Judaism. *Archives de sciences sociales des religions*, 127(3): 33-56. <https://doi.org/10.4000/assr.2380>

134

Schluchter W., Hanke E., Borchardt K. (2013) Einleitung. *Max Weber — Gesamtausgabe Teil: Abt. 1, Schriften und Reden / Bd. 23. Max Weber Wirtschaft und Gesellschaft Soziologie Unvollendet 1919 -1920*. Tübingen: Mohr Siebeck.

Shills E. (1965) Charisma, Order, and Status. *American Sociological Review*, 30 (2): 199-213. <https://doi.org/10.2307/2091564>

Tenbruck F. H. (1975) Das Werk Max Webers. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 27(4): 663-702.

Turner S. (1993) Charisma and Obedience: A Risk Cognition Approach. *The Leadership Quarterly*, 4 (3-4): 235-256. [https://doi.org/10.1016/1048-9843\(93\)90033-P](https://doi.org/10.1016/1048-9843(93)90033-P)

Turner S. (2003) Charisma Reconsidered. *Journal of Classical Sociology*, 3 (1): 5-26. <https://doi.org/10.1177/1468795X03003001692>

Weber M. (1988) *Gesammelte Schriften zur Wissenschaftslehre*, Tübingen: Mohr Siebeck.

Weber M. (1994) *Max Weber-Gesamtausgabe, Band II/6: Briefe 1909-1910*, Tübingen: Mohr Siebeck.

Weber M. (2009) *Allgemeine Staatslehre und Politik (Staatssoziologie)*, Tübingen: Mohr Siebeck.

Катаев Дмитрий Валентинович — доктор социологических наук, профессор кафедры социологии и управления Липецкого государственного педагогического университета имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. Липецк, Российская Федерация. Научные интересы: современная теоретическая социология, историческая макросоциология, многоуровневая социология, методология социальных наук, социология бюрократии. ORCID: 0000-0003-4391-8949. E-mail: dmitrikataev@rambler.ru

Dmitry V. Kataev — Doctor in Sociology, Professor of Lipetsk State Pedagogical Semenov-Tyan-Shansky University. Research interests: modern theoretical sociology, historical macrosociology, multi-level sociology, methodology of social sciences, sociology of bureaucracy. ORCID: 0000-0003-4391-8949. E-mail: dmitrikataev@rambler.ru

Калинина Валерия Олеговна — магистрант департамента социологии НИУ ВШЭ, направление — комплексный социальный анализ. Научные интересы: теоретическая социология, социология культуры, историческая макросоциология, социология харизмы. ORCID: 0009-0007-3759-3400. E-mail: vaolkalinina@edu.hse.ru

Valeria O. Kalinina — Master's student of the Department of Sociology of the National Research University Higher School of Economics. Research interests: theoretical sociology, sociology of culture, historical macrosociology, sociology of charisma. ORCID: 0009-0007-3759-3400. E-mail: vaolkalinina@edu.hse.ru

Милиция/полиция в (пост)советской массовой культуре (к исторической иконографии власти)

Дмитрий В. Попов

Омская академия МВД России, Омск, Российская Федерация

ORCID: 0000-0002-4587-6351

Рекомендация для цитирования:

Попов Д. В. (2024) Милиция/полиция в (пост)советской массовой культуре (к исторической иконографии власти). *Социология власти*, 36 (3): 136-163
<https://doi.org/10.22394/2074-0492-2024-3-136-163>

For citations:

Popov D. V. (2024) Police/Militia in (Post)Soviet Popular Culture (to the Historical Iconography of Power). *Sociology of Power*, 36 (3): 136-163
<https://doi.org/10.22394/2074-0492-2024-3-136-163>

Поступила в редакцию: 02.08.2024;
прошла рецензирование:
19.09.2024;
принята в печать: 30.09.2024
Received: 02.08.2024; Revised:
19.09.2024; Accepted for publication:
30.09.2024



This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

© 2024 by the author.

Представление о полиции как о «добром порядке» из «полицейской науки» (Polizeiwissenschaft) абсолютизма было развито в биополитической модели заботы о населении эпохи Модерн, занятой обеспечением безопасности и благополучия. Будучи порождением массового общества, нововременное государство сосредоточило внимание на влиянии на общественное мнение. В XIX–XX вв. происходит встречное движение полицейского надзора и искусства, что порождает «полицейскую эстетику». Так, в СССР кинематограф явился действенным средством формирования желаемого образа советской милиции в послевоенный период нормализации общественной жизни. Внося свой вклад в миф о развитом социализме, милицейское кино способствовало переносу с экрана в жизнь новой нормы доверительного отношения между представителем власти и гражданином. Это конструктивистское по духу кино вовлекало зрителя в кинореальность за счет уподобления с главным героем-милиционером, выступающим нравственным ориентиром. Помимо формирования образа «родной милиции», активно развивалось интеллектуальное милицейское кино, сфокусированное на профессионализме. Наибольшей популярностью пользуется милицейское кино, тематизирующее моральную правоту сотрудников милиции, во имя советского гражданина борющихся с преступностью. Вовлечение в кинореальность через уподобление, новизну, память и воображение включало в себя и романтизацию исторических событий революции. В годы перестройки милицейское кино инвертируется. В нем эксплуатируется эффект новизны, связанный с погружением

зрителя в нарождающиеся рыночные отношения. Интерес зрителя сфокусирован на изнаночной, криминальной стороне общественной жизни. Преступность романтизируется, милиция — стигматизируется. От конструирования мифа о сотрудничестве власти и населения милицейское кино переходит к деконструкции мифа. В то же время американское кино привносит элементы боевика, триллера, хоррора. Зритель более не включен во властный проект по трансформации реальности, его привлекает иллюзия, зрелище. Новейшее полицейское кино, преодолевая тотальный деконструктивизм, занято реконструкцией духа советского милицейского кино в современных декорациях. Осциллируя между интенцией на генерацию положительных образов полиции и демонстрацией «правды жизни», современное полицейское кино содержит в себе натальные ростки нового кинематографа, в котором образ полиции имеет важное значение для нормализации общественной жизни.

Ключевые слова: полиция, милиция, полицейская эстетика, пропаганда, массовое общество, кинематограф

Police/Militia in (Post-)Soviet Popular Culture (Towards a Historical Iconography of Power)

Dmitry V. Popov

137

Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russian Federation,
Omsk, Russian Federation
ORCID: 0000-0002-4587-6351

The idea of the police as a “good order” from the *Polizeiwissenschaft* of absolutism was developed in the biopolitical model of caring for the population of the Modern era, engaged in ensuring safety and well-being. Being a product of mass society, the modern state has focused on influencing public opinion. In the XIX-XX centuries, there was a counter-movement of police supervision and art which gave rise to ‘police aesthetics’. Cinematography was an effective means of forming a desirable image of the Soviet militia in the post-war period of normalization of public life. By contributing to the Soviet myth of developed socialism, militia cinema contributed to a screen-to-life transfer of a new norm of trust between representatives of power and citizens. This constructivist cinema involved the viewer in the cinematic reality by likening them to the main character, a militiaman who acts as a moral guide. In addition to forming the image of the ‘familial militia’, intellectual militia cinema — with its focus on professionalism — is actively developing. The most popular version of the latter is militia cinema that thematizes the moral rightness of militia officers fighting crime in the name of Soviet citizens. Involvement in the cinematic reality through assimilation, novelty, memory, and imagination included the romanticization of the historical events of the revolution. Militia cinema was inverted during the years of the perestroika. It exploited the effect of novelty associated with the viewer's immersion in emerging market relations. The viewer's interest was focused on the wrong, criminal, side of public life.

Crime is romanticized, the militia is stigmatized. From constructing the myth of cooperation between the government and the population, militia cinema moves on to deconstructing the myth, achieving an effect of denigration. The fashion for American cinema brings elements of action, thriller, horror. The viewer is no longer included in the imperious project of transforming reality; they are attracted by the illusion, the spectacle. The latest police cinema, overcoming total deconstructionism, is busy reconstructing the spirit of Soviet militia cinema in modern settings. Oscillating between the intention to generate positive images of the police and the demonstration of the "truth of life", modern police cinema contains the natal shoots of a new cinema in which the image of the police is important for the normalization of public life.

Keywords: police, militia, police aesthetics, propaganda, mass society, cinematography

Введение

138

Предметной областью настоящей статьи является милицейское/полицейское советское/российское кино, его историческое развитие, основные смыслы и интенции. Поскольку полиция существует в контексте общей логики развития государства и, в частности, государства эпохи Модерн, постольку в рамках раздела «К исторической социологии полиции» изложен взгляд на роль полиции в современном государстве, прошедшем биополитическую трансформацию XIX в. Стремление к воздействию и даже контролю над общественным мнением, обозначившееся уже в XVIII в. и приведшее к формированию аппаратов пропаганды в начале XX в., а также рецепция средств художественной выразительности, сформировавшая особую «полицейскую эстетику», рассмотрены в разделе «Полиция и искусство: взаимное тяготение». Собственно зарождение и развитие милицейского кино в СССР проанализированы в разделе «Полицейская эстетика в действии». Специфический процесс трансформации милицейского кино в перестроечный/постперестроечный период рассмотрен в разделе «Визуальная антропология распада». В заключении тезисно сформулированы основные тенденции в развитии современного российского полицейского кино. Целью статьи является историко-социологический анализ милицейского/полицейского кино. Автор исходит из представления о важности формирования конструктивного диалога между властью/полицией и обществом/гражданином для нормального развития общества и государства, что и находит отражение в жанре полицейского кинематографа. Автор не претендует на полноту исследования ввиду ограниченного объема научной статьи, масштабности проблематики и возможных субъективных искажений, связанных с автобиографическими пресуппозициями.

К исторической социологии полиции¹

В фундаментальном исследовании, посвященном теологической генеалогии экономики и управления, Джордžo Агамбен несколько провокативно заявляет, что «подлинная проблема, сокровенная тайна политики — это не суверенитет, а управление, не Бог, а ангел, не царь, а министр, не закон, а полиция — иными словами, та управленческая машина, которую они образуют и работу которой поддерживают» [Агамбен 2019: 453].

Свое заключение Дж. Агамбен основывает на модели государства, которая сложилась в процессе перехода от суверенной власти к биовласти в XVIII в. Этот переход выражал тенденцию, которую М. Фуко обозначил как «обуправливание государства» [Фуко 2011: 165]. Для парадигмы «управленчества» (фр. *gouvernementalite*) характерно «доминирование того типа властных отношений, который можно назвать “правлением” над суверенитетом и дисциплиной, и вызывающего развитие, с одной стороны, целого ряда специфических учреждений управления, а с другой — целой категории особых знаний» [Фуко 2011: 163]. «Управленчество» проникает во все сферы жизни общества, регулирует, поддерживает, нормирует, регламентирует самые разнообразныe начинания индивидов.

Полиция в этом процессе играет ключевую роль. Она сплетает в единое целое функции нормализации, стимулирования, надзора, паноптического наблюдения за населением на основе статистики, конструирования правопорядка в рамках изменчивой парадигмы управленчества и, конечно, борьбы с преступностью и правона-

¹ В настоящей статье *милиция* (от лат. *militia* — воинство, служба, ополчение) будет рассматриваться в контексте послевоенной жизни в СССР, в том числе в период «развитого социализма». Содержательно милиция отличается от полиции тем, что она используется для обозначения формируемых на добровольной основе, иррегулярных парамилитарных подразделений, создаваемых для исполнения полицейских функций по обеспечению безопасности и охране правопорядка тогда, когда власть в силу обстоятельств (речь в первую очередь идет о чрезвычайных ситуациях различного рода) не имеет возможности полноценно и на регулярной основе осуществлять свои функции. Однако советская милиция в обозначенный период времени выполняла свои функции регулярно, являясь важным государственным органом власти; сотрудники милиции получали денежное довольствие и имели ряд преференций; а функционал милиции во многом был тождествен полицейской деятельности в других государствах. В связи с этим советская милиция будет рассматриваться как разновидность полиции со всеми характерными для нее сущностными характеристиками, несмотря на те особенные черты, которые ей приписывались в идеологии Советского Союза. Одним словом, в рамках тематики данной статьи действует упрощенная формула *советская милиция послевоенного времени — это полиция*.

рушениями. Последняя из указанных функций является оборотной стороной биополитической заботы о населении, опирающейся на крайне важные для власти механизмы ограничения и исключения тех категорий населения, которые не вписываются в осуществляемые властью социальные проекты. Такое исключение использует инструментарий, который можно уподобить «ситу» (каталогизация, категоризация, рейтингование населения по широкому спектру критериев — образование, здоровье, трудоспособность, лояльность и т.п.), «ножницам» (собственно механизмы профилактики, предупреждения и приостановки нежелательной деятельности) и «бумаге» (юридически удостоверенные документы, на основании которых запускаются процедуры, обеспечивающие тот или иной режим существования лица¹).

Режим полицирования позволяет конструировать относительно эффективную государственную бюрократию, реализующую «утопию правил» в современном развитом обществе. Причем полиция является важнейшим — силовым — элементом этой бюрократии. «Полиция — это бюрократы с оружием. Это очень хитроумная штука, если задуматься. Ведь когда большинство из нас думает о полицейских, мы не рассуждаем о том, что они принуждают к исполнению правил. Мы считаем, что они борются с преступлениями, а когда мы думаем о “преступлениях”, то в голову приходят прежде

140

1 Как пример, рассмотрим паспортизацию как прикладной полицейский и биополитический инструмент, который позволяет применить механизмы включения/исключения в формируемую экономическую, военнополитическую, политико-правовую систему социальных отношений. Паспортизация была осуществлена на основании Постановления ЦИК и СНК СССР № 57/1917 от 27 декабря 1932 г. в целях лучшего учета населения. «Ключевые предикаты в этом Постановлении — учет, разгрузка и очистка — приписаны трем разным категориям населения. Учету на этом этапе подлежала главным образом та часть населения, которая могла работать и тем самым приносить пользу (им-то и будут вручены паспорта). Разгрузка предполагала выселение тех, кто не был связан с производством и работой в учреждениях (из числа местных жителей)... Под очисткой понималось выявление укрывающихся “кулацких, уголовных и иных антиобщественных элементов” со всеми вытекающими последствиями... Из этих трех направлений только учет в какой-то мере соответствовал идее паспортизации. Однако с ее помощью власть рассчитывала прежде всего разгрузить и очистить города. Другими словами, паспортизация была ориентирована не только и даже не столько на тех, кто получит паспорта, сколько на тех, кто их не получит» [Байбурин 2017: 95–96]. В механизме паспортизации недвусмысленно зашифрован и инструментарий «государственного расизма» М. Фуко (как дискриминации по ситуативному признаку), и положение «голой жизни» (Дж. Агамбен), и правовой статус *homo sacer* (Дж. Агамбен), имеющие совершенно определенное биополитическое содержание.

всего преступления насильственные. Хотя, по существу, полиция делает в основном ровно противоположное: она использует угрозу применения силы в ситуациях, которые изначально не имеют с этой угрозой ничего общего» [Гребер 2016: 69].

Полиция насаждает правила поведения, обеспечивающие нормальное (т. е. в пределах задаваемой желаемой нормы) совместное сосуществование граждан. В большинстве случаев это происходит мирно. Полиция обеспечивает законность, оказывая давление на общество с целью того, чтобы оно выполняло предписания, исходящие от оправительственного государства, в большинстве случаев демократического и социального. Полиция принуждает к жизни по правилам. Д. Гребер подчеркивает этот момент со свойственной ему иронией: «Все эти правила подкрепляются насилием. Конечно, в обычной жизни полиция редко появляется, помахивая дубинками, чтобы заставить исполнять предписания закона, но... если кто-то просто делает вид, что государство и его правила не существуют, то происходит именно это. Поскольку резиновые дубинки фигурируют эпизодично, насилие становится сложнее увидеть» [Гребер 2016: 80]. В точке открытого неповиновения полиция, будучи, по сути, находящимся под рукой у государства суверенным насилием [Агамбен 2015: 106-107], выходит на свет в «голом» виде из-за завесы повседневного порядка. «Утверждение, что цели полицейского насилия всегда идентичны целям остального права или хоть как-нибудь связаны с ними, является абсолютно ложным. Скорее, “право” полиции обозначает, в сущности, то место, в котором государство, будь то от бессилия, будь то из-за имманентных связей внутри любого правового порядка, больше не может посредством права гарантировать свои собственные эмпирические цели, которых оно желает достичь любой ценой» [Агамбен 2015: 106-107]. Явление «голой» полиции укладывается в шмиттеанскую модель суверена, отличительной способностью которого является право решения об объявлении чрезвычайного положения. Исторически крайние степени суверенизации полиции соответствуют чрезвычайным периодам в развитии государств, что зачастую порождает режим, при котором функция заботы о населении становится пустым звуком.

Но следует подчеркнуть, что такой режим полицирования совершенно не соответствует задачам оправительственного государства. Ведь «полиция — это аппарат, обеспечивающий функционирование государственного интереса... То, на что нацелена деятельность полиции, это деятельность человека как имеющего отношение к государству... Полиция должна быть инструментом эффективной интеграции деятельности человека в государство, в его силы и их развитие. Речь, следовательно, идет о создании государ-

ственной полезности на основе и через деятельность людей» [Яркеев 2018: 130].

Таким образом, при переходе от суверенной власти к современной биовласти в ходе применения мер биополитического управления, в рамках которых индивид мыслится не как пассивный подданный, но как активный гражданин, возникает широкий спектр возможностей, в рамках которых полиция обнаруживает свой конструктивный и деструктивный, инклюзивный и сдерживающий потенциал. В этом континууме возможностей полиция как орган власти и режим конструирования социального порядка формируется на пересечении тенденций эмансипации граждан, необходимости сохранения правопорядка и гарантий общественной безопасности. Это тонкое равновесие между встречными тенденциями пересборки социального и сохранения общества и государства определяет актуальный выбор режима полицирования из доступного континуума возможностей. Благополучие усиливает социально ориентированную модальность «полиции благосостояния», социальное напряжение влечет усиление «полиции безопасности»¹. Биополитика как гибкая манипулятивная технология власти, основанная на контроле над ключевыми жизненными процессами населения, успешно комбинирует оба арсенала полицейских мер воздействия.

142

Резюмируя, воспроизведем довольно точный вывод А. В. Яркеева: «В биополитическом обществе отношения между государством и населением носят характер “полиции”, под которой подразумевается форма реализации государственного интереса, связанного с самосохранением государства. “Полиция” представляет собой определенный способ получения знания о тех факторах, которые способствуют увеличению мощи государства, и технологию управления этими факторами. Символический порядок полиции репрезентирует социальную реальность в качестве паноптиче-

1 Как отмечает О. В. Кильдюшов, «в конце XVIII века впервые возникает различие между “полицией безопасности” (Sicherheitspolizei), защищающей от опасностей, грозящих государству и отдельным гражданам, и позитивной деятельностью полиции как “благочиния” (Wohlfahrtspolizei). В начале XIX века это... представление превратится в однозначное утверждение, очень близкое к современному пониманию функций полиции: “Полиция всегда имеет дело лишь с безопасностью, а повышение благосостояния лежит вне ее непосредственной цели”...» [Кильдюшов 2013: 23]. При этом наличие многочисленных современных программ партнерского взаимодействия между полицией и населением, реализуемых как за рубежом, так и в России, свидетельствует о том, что функционал полицейского как заботливого помощника гражданина в преодолении повседневных затруднений не только не утрачен, но и все активнее используется.

ской тотальности, в которой гражданство индивида задается через жесткую привязку к месту и функции» [Яркеев 2018: 148]. Полиция, таким образом, предстает как вооруженная агентура всепроникающего биополитического управления.

Полиция и искусство: взаимное тяготение

Кристина Вацулеску в своей блестящей монографии «Полицейская эстетика. Литература, кино и тайная полиция в советскую эпоху» использует в качестве эпиграфа весьма нетривиальную мысль В. В. Набокова: «Русскую историю... можно рассматривать с двух точек зрения... во-первых, как эволюцию полиции... а во-вторых, как развитие изумительной культуры» [Вацулеску 2021: 12]. Безусловно, полиция, как значимый социальный институт заботы о населении, исторически претерпевала существенные изменения. Эволюция полиции имела важное значение для развития российской государственности, учитывая обширность территории и многосоставность населения Российской империи/СССР/Российской Федерации. Безусловным является и историческое развитие культуры России, давшей всемирно известное наследие во всех областях искусства, а в XX в. — среди прочего оригинальный кинематограф. Однако мысль Набокова позволяет сфокусировать внимание на сопряжении эволюции полиции и развития культуры. Действительно, необходимым условием самой возможности развития «изумительной культуры» является наличие устойчивого социального порядка, который призвана обеспечить полиция. В обществе в условиях сползания к *bellum omnium contra omnes* возникают преграды для развития культуры. Великое искусство, конечно, может рождаться в самом пекле социальных катаклизмов, но этот фактор не является необходимым или желательным условием для развития искусства и культуры. Таким образом, эффективная полиция, обеспечивающая социальный порядок, является, пусть косвенной, но причиной развития культуры. Другим аспектом является известное напряжение между наличным и желаемым общественным порядком, которое в том числе выражается в содержащемся в высказывании, обличенном в ту или иную форму искусства, протеста против сложившегося мироустройства, на воспроизводство которого направлены усилия полиции. Здесь полиция выступает как барьер на пути к желаемому миру, а также триггер, провоцирующий протесты. Итак, довольство и недовольство (в любой форме и степени интенсивности) общественным порядком так или иначе прямо и косвенно связаны с полицированием общественной жизни.

Есть и еще одна составляющая, которую детально исследует Кристина Вацулеску — эстетизация полицейской деятельности как фор-

ма притяжения искусства и полиции. «Размышляя над предостережением Вальтера Беньямина по поводу опасности эстетизации политики», К. Вацулеску «была поражена общепринятой манерой описывать полицейские досье в терминах литературы» [Вацулеску 2021: 30], открыв сферу полицейской эстетики и как мобилизацию литературных приемов и форм на службу полиции, и как тяготение самой литературы к полицейской хронике как сфере обнаружения нового способа художественного выражения, а также волнующего и привлекательного для читателя содержания, балансирующего на экзистенциальной грани жизни и смерти, страдания, опасности, испытания и преодоления. Верно усматривая в деятельности милиции 1920–30-х гг. (рассматриваемой Вацулеску как «тайная полиция», что, однако, вносит «смысловую путаницу... тем, что указывает на секретность ее существования, что очевидно было не так») продиктованную биополитически «очевидную озабоченность надзором за населением», К. Вацулеску отмечает, что «в самом центре этого фестиваля секретности находились досье» [Вацулеску 2021: 16–18].

144

«Досье» как метафора и дела оперативного учета лица, и материалов уголовного дела в отношении подозреваемого (обвиняемого, подсудимого, осужденного) является сферой приложения не только профессиональных компетенций следователя (дознателя), но и его литературного таланта, поскольку доказательность включает в себя риторическую составляющую убедительности, доверия, переживания достоверности текста читателем (слушателем) документа (публичной речи). То же относится и к показаниям обвиняемого, уповающего на свой литературный дар, могущий дезавуировать обвинение. «Досье» в таком контексте, следуя Вацулеску, — точка сопряжения и даже контрапункт неумолимой бюрократии и изящной словесности, способной придать вес отстаиваемой точке зрения. Если масштабировать этот взгляд на «досье», то можно понять механизм эстетизации полиции, заинтересованность в которой возникает и у власти, и у населения, и у деятелей искусства, черпающих вдохновение из наблюдаемой жизненной драмы. Следует отметить, что рассматриваемый К. Вацулеску период 1920–30-х гг. — эпоха формирования мощных аппаратов пропаганды в США, Италии, Германии, СССР. Уже в 20-е гг. XX в. Э. Бернейс предлагал использовать пропаганду для конструирования общественного мнения. «Пропаганда — в широком значении организованной деятельности по распространению того или иного убеждения или доктрины — и есть механизм широкомасштабного внушения взглядов» [Бернейс 2021 (1928): 17], и далее: «современный пропагандист должен начать работать над созданием обстоятельств, которые изменят сложившийся порядок вещей» [Бернейс 2021: 70]. На то, что общественное мнение

является конструируемым, обращал внимание и У. Липпман: «Принято считать, что общественное мнение представляет собой моральное суждение о каком-то наборе фактов. Я же предлагаю считать, что... общественное мнение — это, прежде всего, нравоучительная трактовка определенных фактов с учетом разных кодов. Я уверяю, что модель стереотипов, лежащая в основе наших кодов, во многом определяет, какую часть фактов мы увидим и в каком свете» [Липпман 2023 (1922): 142].

Пропаганда стремилась к широкому охвату населения¹. В частности, правительство стремилось заручиться поддержкой, как сейчас говорят, персоналиата (Д. Давыдов) — влиятельных инфлюэнсеров. Важное значение придавалось писателям, литераторам. Власть стремилась захватить возникающие новые техники воздействия на сознание граждан, соответствующие новым средствам коммуникации, на что в своих работах указывают Г. Тард и Г. М. Маклюэн. Например, «новаторский» итальянский политический режим активно опирался на современные ему авангардистские и футуристические проекты, возникшие в среде литераторов, художников, фи-

1 Для Э. Бернейса «сознательное и умное манипулирование сформированными привычками и мнениями масс является важной составляющей демократического общества» [Бернейс 2021: 7]. Аппарат пропаганды предстает как подразделение правительства, муштрующее сознание населения: «Важно, что это воздействие имеет всеохватный и постоянный характер и в итоге позволяет управлять мельчайшими аспектами общественного мнения так же эффективно, как армия управляет телами своих солдат» [Бернейс 2021: 30]. Пропаганда обеспечивает управляемость общества. Следует отметить, что пропаганда начала XX в. опирается на выводы, сделанные более столетия назад. Повышенное значение общественному мнению стали придавать уже в XVIII в. Роберт Дарнтон отмечает: «Люди не только не могут думать без слов... но сама реальность определяется дискурсом... Когда философы и публицисты перестали пренебрегать общественным мнением... и начали звать к нему, как к высшей инстанции, способной выносить решения по государственным вопросам, правительство также было вынуждено принять его всерьез. Министры... побуждали философов... организовывать общественную поддержку своей политике...» [Дарнтон 2010: 122]. Р. Дарнтон в своем расследовании воспроизводит титаническую борьбу полиции, направленную на поиск авторов антиправительственных высказываний. Но борьба эта выглядит как попытка обуздать стихию. Постепенно у правительства выкристаллизовывается идея возглавить эту борьбу. Более того, завоевать авторитет — вопрос выживания власти, ведь в массовом обществе авторитет «является почти единственным козырем власти, единственным рычагом, который есть в ее распоряжении для воздействия на толпы... Уберите авторитет, и останется лишь возможность управлять ими с помощью полиции или администрации, оружия или компьютера. Вместо блеска авторитета — кровь или серость» [Московичи 1998: 170].

лософствующей публики. В подобной интеллектуальной атмосфере возникает взаимное тяготение власти и культуры, в частности, полиции и искусства. Собственно, в этом поле взаимного тяготения и возникает полицейская эстетика, необходимая для насаждения правопорядка и профилактики не одобряемых оправительственным государством способов, образов и форм ведения жизни.

Поскольку дальнейшее содержание статьи будет связано с кинематографом как одним из жанров искусства XX в., обратим внимание именно на роль кино в рамках стремительно нарождающейся полицейской эстетики. К. Вацулеску отмечает, что кинематограф — это новое и даже, по словам Ленина, «важнейшее из искусств» — почти сразу после своего дебюта попал в поле зрения власти. Преодолев период сомнений, «тайная полиция пришла к пониманию важности этого “идеологического оружия”, основав... “Общество друзей советского кино”... во главе которого стоял... первый руководитель ЧК Ф. Э. Дзержинский. ОДСК, игравшее важную роль в первые десятилетия существования советского кино, особенно тщательно отслеживало прием кинокартин публикой — настолько, что даже сделалось пионером в области научных исследований аудитории» [Вацулеску 2021: 25–26]. Как следствие, «тайная полиция» гласно и инкогнито участвовала в создании новостных хроник, документальных лент и постановочных картин.

Указанная тенденция сближения полиции, с одной стороны, и литературы как жанра искусств, непосредственно связанного с полицейским досье, может быть усмотрена в гипертрофированной гротескной форме в романе современного российского писателя Виктора Пелевина «iPhuck 10» 2017 г. (а также в романе «Путешествие в Элевсин» 2023 г.), где введен персонаж литературно-полицейского алгоритма (разновидности ИИ) по имени Порфирий Петрович¹, суть

146

1 Попутно следует отметить, что в русской литературе и, позднее, в советском кинематографе и российской литературе сложилась своеобразная «Порфириада». Порфирий Петрович В. Пелевина восходит к Порфирию Петровичу Ф. М. Достоевского («Преступление и наказание»). Для последнего полицейская деятельность — основная, он следователь. Для первого полицейская деятельность и художественная литература — два равнозначных профиля. Порфирий Петрович Достоевского рационален, честен, изобретателен, но при этом человеколюбив. Рациональность и изобретательность Порфирия Петровича Пелевина — важнейшие его свойства как ИИ, чего нельзя сказать о его человеколюбии, ибо по своей природе ИИ чужероден человеку. Оба Порфирия Петровича — исследователи людей, оба обладают чертами благородства. Однако именно у Достоевского Порфирий Петрович в наибольшей степени homo homini homo est. Подобно Сократу в спорах с Алкивиадом или Калликлом, внешне похожий на Сократа, Порфирий Петрович Достоевского укрощает буйный нрав Родиона Раскольникова,

работы которого состоит в том, чтобы расследовать преступления, а параллельно писать об этом детективные романы, принося доход Полицейскому управлению. В этой утрированной модели полицейское дело и художественная литература слиты до степени неразличимости. Взаимное тяготение завершается крепкими смертельными объятиями, когда уже нельзя сказать, что является целью, а что — средством. Безусловно, мы не склонны столь широко подходить к проблеме полицейской эстетики, но на некоторые аспекты функционирования «литературно-полицейского алгоритма» в отношении советского и постсоветского кинематографа о советской милиции/постсоветской полиции следует обратить внимание. Тем более что это вписывается в обоснованный М. Фуко характерный для эпохи Модерн процесс перехода от полицирования «тел» под эгидой суверенной власти к полицированию «мыслей» в рамках получающей широкое распространение биовласти с весьма разветвленным инструментарием биополитики.

Полицейская эстетика в действии¹

Обратимся к послевоенному советскому кинематографу, в котором милиция стала значимым явлением, нашедшим широкий общественный отклик². В послевоенные 1940–50-е гг. по мере вос-

147

проявляя человеколюбие (см.: [Ищенко 2023]). Надо сказать, что Порфирий Петрович Достоевского, в свою очередь, наследует Порфирию Петровичу М. Е. Салтыкова-Щедрина (рассказ «Порфирий Петрович» из цикла «Мои знакомцы» в «Губернских очерках»). Оба отчасти обезличены отсутствием фамилии, оба изобретательны до изворотливости, рациональны, целеустремленны, прагматичны. Однако Порфирий Петрович Салтыкова-Щедрина — циничный мздоимец и казнокрад в личине опрятного чиновника. Видимо, именно оборотничество и незаурядный ум объединяют этих персонажей. И именно к Порфирию Петровичу Салтыкова-Щедрина восходит персонаж советского кинофильма 1957 г. «Улица полна неожиданностей» по милицейской тематике — Порфирий Петрович Смирнов-Алянский, главбух Стройтреста. Не исключено, что тоже — двуличный прохвост, если учесть неблагоприятный поступок, задающий сюжет в фильме. Как нетрудно заметить, в «Порфириаде» полицейское (милицейское) и литературно-художественное начала переплетены неразсторжимым образом. Это сближение, словно в танце, художественного образа и полицейского контекста сюжета — исторически прослеживаемый «бренд» русской литературы, манифестирующей «полицейскую эстетику».

- 1 Автор выражает благодарность Т. А. Дмитриеву за содержательную помощь при подготовке этого раздела статьи.
- 2 Безусловно, милицейское кино было лишь одним из направлений развития отечественного кинематографа. Развивалось развлекательное (кинокомедии, водевили, мелодрамы), историческое (военно-патриотическое и исто-

становления народного хозяйства возник всеобщий спрос на нормализацию жизни. Милицейское кино было призвано задать представления о нормах жизни, соответствующих реальности не-чрезвычайного времени, «новой нормальности» мирной повседневности. Милицейское кино восстанавливало представление о правопорядке; о сотрудниках, его обеспечивающих; о формах взаимодействия стражей закона и населения; о моральном облике и требованиях, предъявляемых как к милиционеру, так и к гражданину. Кинематограф, будучи искусством визуальным, подходил для подобной роли как нельзя кстати. Формируемая кинореальность эффективно воздействует на индивидуальную субъективную реальность зрителя, а также отражает в зримой форме актуальные тенденции массовой культуры. Кинофильм акцентирует внимание и объясняет, размышляет, дает готовую оценку тому или иному явлению. Кино было рекрутировано для того, чтобы перенести картинку на экране в реальную жизнь — воплотить желаемое в действительность, ведь сообразно духу социалистического реализма (а равно и современной массовой культуры) кинореальность выступает средством конструирования стереотипических объективаций культурной и духовной жизни человека, предопределяя реальность, в которой мы живем. Комбинирование желаемого и действительного в милицейском кино эпохи соцреализма построено по образцу фотомонтажа, который является идеалтипическим инструментом социалистического реализма: «Фотомонтаж стал своего рода квинтэссенцией соцреализма в визуальном искусстве. Использование реальных фотографий создавало иллюзию того, что “есть”, в то время как изображалось то, что “должно быть”» [Визуальная антропология 2009: 205]. Таким образом, сочетание видеоряда, несколько приукрашенного, но соответствующего повседневной жизни, и актуальных текущей ситуации идеологических требований, задавало необходимый для милицейского кино воспитательный и нормализующий контекст.

Репрезентации сотрудника милиции в советском кинематографе имеют примечательную историю, которая много что может рассказать не только о самом кино о милиции, но и о советском обществе и государстве в их исторической эволюции. Со второй половины 1930-х и вплоть до начала оттепели советский кинематограф не знал ни одного фильма, посвященного собственно мили-

рико-революционное), приключенческое, детское (например, киносказки), документальное и научно-популярное кино. Однако милицейское кино занимает в этом ряду особое место. Многие образцы популярного кино включали в себя милицейскую составляющую как важный аспект.

ции и ее повседневной деятельности. Все, что снималось в эти годы, начиная от довоенной «Ошибки инженера Кочина» (1939) до «Тени у пирса» (1955), «Следов на снегу» (1955) и «Тайны двух океанов» (1957) — это, собственно говоря, фильмы не о милиционерах, а о сотрудниках органов государственной безопасности. Милиционеры низового звена, работающие «на земле», выступают в советских фильмах предвоенной поры, в таких как «Волга-Волга» (1938) и «Подкидыш» (1939), исключительно в эпизодических ролях и представляют собой фигуры скорее комичные, но никак не героические. Лишь после смерти И. В. Сталина и объединения в единое Министерство внутренних дел СССР (образовано 7 марта 1953 г.) обособленных ранее МГБ СССР и МВД СССР оформляется властный запрос на создание положительного образа простого советского милиционера, статус которого в глазах советских людей эпохи оттепели был не слишком высок в силу прочных ассоциаций сотрудников органов внутренних дел с «карательными органами» сталинской эпохи. Именно в годы оттепели (1953–1957) появляется первая серия фильмов о сотрудниках советской милиции, которые не занимаются борьбой со шпионами, диверсантами, вредителями и «врагами народа». Показательными в этом ряду являются ленты «За витриной универмага» (1955), «Дело Румянцева» (1955), «Дело № 306» (1956), «Улица полна неожиданностей» (1957), «Ночной патруль» (1957), «Дело “пестрых”» (1958), и, наконец, — как последний аккорд хрущевской оттепели — «Верьте мне, люди» (1964) и «Ко мне, Мухтар!» (1964). Примечательно еще и то, что по крайней мере в трех из них — «Дело Румянцева», «Ночной патруль» и «Верьте мне, люди» — среди сотрудников милиции фигурируют как положительные, так и откровенно отрицательные персонажи, причем в образе антигероя-милиционера последнего типа явно просматриваются черты «старого», условно говоря, «бериевского» (если использовать эту метафору в нарицательном смысле) типа. Фигура милиционера в качестве персонажа с отрицательными чертами характера, обычно противопоставляемого либо старшим «правильным» товарищам, либо «правильным» молодым коллегам, встречаясь эпизодически в советских фильмах о милиции вплоть до конца 1960-х. — начала 1970-х гг. (например, в таких фильмах, как «Инспектор уголовного розыска» (1971)), но в последующем — в 1970-е (т. е. в период, совпавший с появлением общесоюзного министерства, руководство которого во главе с Н. А. Щелоковым весьма ревниво заботилось о появлении на экране сугубо положительных образов советских милиционеров) пропадает с экранов, чтобы снова появиться лишь в 1980-е гг., например, в таких картинах, как «Место встречи изменить нельзя» (1981) и «Внимание, всем постам!» (1985).

Кино, посвященное милицейской проблематике, разнопланово. Оно учитывает различные способы вовлечения зрителя в пространство кинореальности. Согласимся с И. В. Николиным, что существует «четыре способа включения зрителя в кинореальность: 1) через уподобление, 2) через новизну, 3) через память, 4) через воображение» [Николин 2007: 17]. Все это можно обнаружить в милицейском кино послевоенного времени.

Государство осознанно стремилось к созданию положительного, доверительного, гуманного образа милиционера. Этот акцент на «очеловечивание» сотрудника милиции нашел разнообразные решения. Частым приемом, используемым в милицейском кино, становится уподобление, для которого характерно, что герой-милиционер в начале повествования предстает как обычный советский гражданин со знакомыми зрителю привычками и рядом привлекательных черт, что позволяет внушить эмпатию, важную для дальнейшего развития сюжета. Подобное вступление предполагает «эффект разрешенного подглядывания», позволяет прикоснуться к образу жизни протагониста повествования, ощутить близость интересов, найти в сотруднике подобие самому себе. При подобном эмоциональном вовлечении «затем экстремальные события, которые приходится переживать герою, воспринимаются зрителем “близко к сердцу”» [Николин 2007: 17–18]. Обнаруженная близость, но в то же время нетождественность героя зрителю, а также умело сконструированная атмосфера риска, опасности и угрозы жизни, способны вызвать сочувствие, усиливающее связь между героем и зрителем. Кроме того, фильмы о милиции в большинстве случаев не требуют специальных декораций (как, например, исторические фильмы о войне или приключенческие ленты о «далеких странах»). События в милицейском кино происходят как бы прямо по месту жительства зрителя, в стандартных и легко узнаваемых пространствах города (либо сельской местности). Внезапно разворачивающийся «экшн» в привычной среде позволяет сэкономить на съемках («дешево и сердито»), а главное, легко интегрирует воспитательный паттерн прямо в повседневную жизнь, достигая эффекта включения зрителя в происходящие события.

Практически в каждой ленте, посвященной милицейской службе, есть эти составляющие. Например, советский художественный фильм «Ко мне, Мухтар!» (1964) посвящен взаимной преданности сотрудника милиции и овчарки по кличке Мухтар. Трогательная забота о четвероногом друге, самоотверженность и сообразительность собаки, выручающей младшего лейтенанта милиции Николая Глазычева в опасных ситуациях, верность до конца в сложных жизненных обстоятельствах, а также слаженные профессиональные действия человека и пса в процессе поимки преступника, что яв-

ляется результатом служебной подготовки, вызывают зрительские симпатии к дуэту. В свою очередь, эти положительные эмоции формируют кредит доверия к милиции как таковой, что соответствует социальному заказу на такое жанровое кино. Любовь к питомцу и готовность на жертвы ради него — что может быть более человеческим? На эффекте уподобления построен и «Деревенский детектив» (1968), в котором сельский участковый милиционер Федор Иванович Анискин не только расследует кражу, но и проявляет незаурядные человеческие качества (как тут не вспомнить Порфирия Петровича Ф. М. Достоевского?), позволяющие не только вернуть украденное, но и сохранить оступившихся сограждан для общества.

Стремление сблизить милицию и население находит свое отражение в целой серии кинолент, сочетающих жанры кинокомедии и детектива. Образцом этого направления является «Бриллиантовая рука» (1969), в которой «выезд бухгалтера, но в лице Юрия Никулина — доброго клоуна и сказочного простофили — за рубеж затевается автором для того, чтобы возник повод столкнуть частного и довольно разидеологизированного героя с институтами законности и антизаконности, с правильной и порочной идеологиями. Герой попадает в эпицентр общественно-политической борьбы “двух миров, двух моралей”». В одном из эпизодов фильма «в процессе своего тайного сотрудничества с “органами” добрый сказочный герой удостоится пародийного отображения в местной “прессе”. В качестве дурного примера подражания Западу его пропечатывают в настенной газете. А добрый милиционер произведет цензурирование и прикажет снять листок, порочащий честное имя героя» [Визуальная антропология 2009: 354]. Взаимодействующие с главным героем сотрудники милиции, воплощая дружелюбие, рассудительность и вместе с тем бдительность и профессионализм, проявляют прямо-таки отеческую заботу о главном герое. Будучи незримы для окружающих, милиционеры выполняют свою работу по обезвреживанию опасной преступной группы с хирургической точностью. Комическая составляющая в этом детективе связана с наивным главным героем и недалекими себялюбивыми преступниками, создающими неожиданные обстоятельства (à la «ситком»), последствия которых терпеливо нивелируют сотрудники милиции. Привлекательный образ «мягкой силы» формирует эффект «родной милиции», на которую можно положиться.

Те же тенденции можно усмотреть в кинолентах «Джентльмены удачи» (1971) и «Приключения итальянцев в России» (1974). Криминальная составляющая этих фильмов позволяет отнести их к детективам-расследованиям и милицейскому кино, хотя подано все это под густым соусом комедии и приключений. В каждом случае милиция, выполняя свои профессиональные функции, неизменно

проявляет терпение; чудеса конспирации, делающей ее сотрудников незаметными; вежливость и подлинно партнерские отношения с законопослушными гражданами. Милиция как инстанция заботы о населении предстает в этом сегменте сконструированной кинореальности, провоцируя на перенос этих свойств на реальность как таковую, что соответствует стратегической линии на очеловечивание милицейской деятельности. Забота о населении как важнейшая функция советской милиции становится одной из опор конструируемого советского мифа о развитом социалистическом государстве.

Милицейское кино предстает еще и как кино интеллектуальное, а также как кино, призванное продемонстрировать неотвратимость наказания, моральную правоту стражей правопорядка и необходимость деятельного претворения в жизнь принципа *dura lex, sed lex*.

К интеллектуальному милицейскому кино следует отнести сентиментальную детективную трагикомедию «Берегись автомобиля» (1966), в которой главный герой — угонщик Юрий Деточкин — вызывает всеобщее зрительское и даже милицейское (в лице следователя-интеллектуала Максима Подберёзовикова) сочувствие, в то время как потерпевшие от рук угонщика вызывают у зрителя устойчивое неприятие, обусловленное их образом жизни. Неожиданная близость (аллюзия на канцелярит «социально близких»?) находящихся по разные стороны баррикады следователя и угонщика проявляется и в их увлечении театром, и в склонности к аналитической работе («Робин Гуд» Деточкин проводит самостоятельные расследования в отношении лиц, у которых угоняет авто), и во внутренней порядочности, даже благородстве. Парадоксальный сюжет призван выявить иные грани человечности сотрудника, что призвано оказать воздействие на расширяющийся круг советской интеллигенции, в том числе вовлекаемой таким посылом в деятельность правоохранительных органов как потенциальных кандидатов на интеллектуально емкие должности.

Однако гораздо чаще в этом сегменте милицейского кино встречаются не комедии, а подлинно детективные истории. Именно это направление милицейского кино является стержнеобразующим для жанра. К фильмам о милиции, в которых сочетаются и сложная интеллектуальная работа, соответствующая реальной работе оперативного работника и следователя в ходе расследования преступления, и принятие решения в ситуации морального выбора, можно отнести «Дело Румянцева» (1956), «Инспектор уголовного розыска» (1971), «Сержант милиции» (1975), «Петровка, 38» (1980), «Огарева, 6» (1980). Советскому зрителю последовательно предлагается ряд все более изощренных головоломок, в рамках расследования которых зритель вовлекается в кинореальность не только за счет уподобле-

ния главному положительному герою, но и за счет эффекта новизны, связанного с деталями работы уголовного розыска и нюансами законодательства, знакомство с которым у советского гражданина далеко не всегда было удовлетворительным, а также за счет подключения силы воображения, оперирующего возникающими версиями событий. В этом «саду расходящихся тропок» зритель как соучастник расследования вникал в интеллектуальную атмосферу милицейской деятельности, формируя представление о стражах правопорядка как высоких профессионалах, способных отличить ложь от истины, не поддаваться на подвох или провокацию, не совершить ошибку в запутанном деле, не допустить осуждения невиновного. Это — еще один вклад милицейского кино в формирование советской мифологии, в рамках которой «органы не ошибаются».

Милицейское кино стремится «к построению такой кинореальности, которая стремится превзойти многообразием, интенсивностью, полнотой, логичностью и достоверностью окружающую реальность зрителя» [Николин 2007: 12]. Эта универсальная для кино трансформация реальности проявляется как в некотором приукрашивании действительности, так и в стремлении подать в несколько идеализированном виде деятельность милиции. Впоследствии этому конструированию положительного образа постперестроечное милицейское кино противопоставит деконструкцию, последовательно демифологизирующую созданный образ советской милиции. С другой стороны, милицейское кино, формируя имидж эффективной милиции, неожиданно отчасти дезавуирует иные составляющие советской мифологии о социалистическом государстве. Милиция борется с черным рынком, с организованной преступностью. Обнаруживается довольно развитая теневая экономика, коррупция, злоупотребление властью. Возникает целая галерея отрицательных персонажей — вероломных, алчных, изворотливо-расчетливых, никак не соответствующих провозглашенным в обществе моральным ориентирам. Конечно, известная формула из песни «Незримый бой» телевизионного сериала (sic!) «Следствие ведут ЗнаТоКи»:

«Если кто-то кое-где у нас порой
Честно жить не хочет,
Значит, с ними нам вести незримый бой,
Так назначено судьбой для нас с тобой,
Служба дни и ночи»,

— призвана успокоить, поскольку нарушители правопорядка — безусловное меньшинство («кто-то кое-где у нас порой» — это некоторые почти единичные явления), а им противостоит организованная и единая сила («нам» — то есть всем вместе), способная дать отпор. Однако зритель усматривает в подобном кино «правду жизни», в ка-

кой-то части соответствующую личному опыту. В таком контексте милицейское кино одновременно мифологизирует и демифологизирует; соответствует господствующей идеологии и является инструментом деидеологизации, расколдовывания.

Представляется, что символом интеллектуального милицейского кино можно считать именно «Следствие ведут ЗнаТоКи». Сериал, пользовавшийся популярностью у зрителя, на систематической и профессиональной основе воспроизводил ход расследования преступлений, находя все более закрученные сюжеты и тем самым вовлекая в сферу «игр разума» все большее количество зрителей-интеллектуалов. «Знатоки» развивали правосознание, знакомили с законодательством, «профилактировали» против правонарушений и одновременно проводили ликбез в отношении того, как себя вести, чтобы не стать жертвой преступления.

Такое милицейское кино способствовало тому, что «в процессе трансляции кинореальности происходит запрограммированная продюсером трансформация “самости” зрителя. Эта трансформация зрителя в общих чертах представляется как замена “самости” зрителя на “тамость” кинореальности. Трансформация зрителя, происходящая в трансляции кинореальности, оказывает существенное воздействие на трансформацию реальности в кинореальность» [Николин 2007: 13–14]. В процессе такого рассчитанного на освоение юридического универсума кинозритель приближался к реалиям современных ему социальных отношений.

Наконец, еще одной ипостасью милицейского кино являются фильмы, в которых первостепенное значение приобретает моральная правота и неотвратимость наказания. Классическим образцом такого кино является визитная карточка милицейского кинематографа — «Место встречи изменить нельзя» (1979). Отчеканенная Глебом Жегловым фраза о том, что «вор должен сидеть в тюрьме!», стала кредо целых поколений будущих сотрудников милиции, вовлеченных в кинореальность не только через уподобление главным героям с их различными взглядами на жизнь (в частности, речь идет о диссонансе мировоззрений опытного опера Глеба Жеглова и фронтовика Владимира Шарапова), но и через историческую память, реконструирующую послевоенную Москву. Преследование банды «Черная кошка» сотрудниками МУРа предстает и как дело чести, и как жажда справедливого возмездия, и как экзистенциальная «пограничная» ситуация, от решения которой зависит судьба мира — если «Черная кошка» выйдет победителем, то «эра милосердия» может и не наступить. Именно моральная правота милицейской деятельности, в режиме борьбы с преступностью формирующей континуум возможной для граждан СССР благополучной мирной жизни, составляет основное содержание кинокартины.

Кинофильм создает картину нового фронта мужественной и самоотверженной борьбы во имя достойной мирной жизни.

Милицейское кино, сосредоточенное на теме восстановления справедливости, было и до, и после «Места встречи...». К лентам такого рода можно отнести и кинофильм «Улица полна неожиданностей» (1957), ленты «Приступить к ликвидации» (1984) и «Внимание! Всем постамам...» (1985), сериал «Ликвидация» (2007). Возможно, именно этот поджанр милицейского кино наиболее ценим российским зрителем. И «Место встречи...», и «Ликвидация» разобраны на цитаты, образы киноактеров узнаваемы, а довольно радикальные взгляды главных героев на допустимые способы уголовного розыска до сих пор вызывают одобрение у значительной части российского общества.

Можно отметить, что помимо моральной составляющей этих фильмов, есть и еще один важный, связанный с реконструкцией послевоенного времени момент, а именно — романтизация соответствующей эпохи и ее героев. В этом же ряду находятся такие непохожие друг на друга фильмы, как «Рожденная революцией» (1974–1977) и «Зеленый фургон» (1983). И если первый стремится к реконструкции определенных событий и выступает как героическая хроника этапов становления советской милиции, то второй — трагикомедия, в которой воспеваются высокие нравственные идеалы пионеров новой жизни — непосредственных, наивных и полных энтузиазма. «Зеленый фургон» вовлекает в кинореальность через растревоженное воображение и уподобление героям с их благородными порывами, а не через тщательное воспроизводство деталей исторической эпохи, последовательно мифологизируемой. В таком милицейском кино «сюжет может переворачивать смыслы прошлых событий. Сюжет организует цельность событий, а также их достоверность, и если потребуется — достоверность иллюзии» [Николин 2007: 15].

В рамках такого рода реконструкции исторических событий безусловным прорывом в трактовке образа сотрудника НКВД в попытках соблюсти определенный баланс положительных и отрицательных моментов в исторических перипетиях советского прошлого можно считать монументальную экранизацию режиссерами Владимиром Краснополюским и Валерием Усковым первой части телесериала «Вечный зов» (1–12 серии, 1973–1977) по одноименному роману Александра Иванова. Фильм представляет собой эпическое полотно, которое средствами кинематографа рассказывает историю жизни жителей одной сибирской деревни на фоне событий отечественной истории первой половины XX в. В данной экранизации образ сотрудника советской милиции Якова Олейникова, сыгранный замечательным русским актером Владленом Бирюковым, подан как противоречивая фигура, сочетающая в себе характер искрен-

него борца за Советскую власть и «солдата правопорядка» с чертами низового функционера машины сталинского террора, причастного к осуждению невинных людей. Примечательна и судьба героя Бирюкова во второй части сериала (показан на советском ЦТ в 1983–1984) — он уходит на фронт в годы Великой Отечественной войны, служит в военной контрразведке, занимается диверсионной работой за линией фронта и гибнет уже после ее окончания на Западной Украине от рук бандеровцев.

Визуальная антропология распада

Перестройка привнесла в милицейское кино новые элементы, которые к моменту распада СССР сформировали новую парадигму, продолжавшую существовать еще долгое время. Доперестроечное советское милицейское кино было конструктивистским — оно создавало положительный образ милиции, способствуя, насколько это возможно, переносу этого образа с экрана в реальную жизнь. В реальности развитие системы ведомственного образования, включающее освоение профессиональной этики, в том числе с опорой на кинематографический легендарий, как и субъективное влияние образов кино на сознание сотрудников правоохранительных органов и граждан, безусловно, играли свою роль. Кино не может трансформировать реальность напрямую, но способно приблизить реальный мир к своим наилучшим образцам. Если таковые созидательны, то они пересобирают те или иные сегменты социальных отношений по своему образцу. Вместе с тем, как уже отмечалось выше, реализм милицейского кино косвенно способствовал формированию перестроечного тренда на «гласность» в описании общественных отношений. Мода на детективные расследования с экрана перекочевала в общество, которое усилило эту тенденцию и породило спрос на такое кино об обществе вообще и о милиции в частности, где бы демонстрировались все стороны исследуемого явления. Конструктивистские тенденции, исходящие от государства, вытесняет деконструкция, выражающая интерес зрителя к той социальной «грязи», существование которой ранее старательно не замечалось.

Тяга к соприкосновению с неприукрашенной действительностью внезапно стала вовлекаться в кинореальность как новизна, запускающая работу воображения, хотя бы и в направлении, выходящем далеко за рамки привычных норм вплоть до извращенных и патологических форм. С экрана зазвучали недопустимый ранее сленг, что даже привело к нормализации обценной лексики. Милиционер неожиданно превратился в «мента», «оборотня в погонах», а по мере возрастания общественной энтропии, и вовсе в ничто —

в «мусор». Происходящий в обществе стремительный процесс расколдовывания и демифологизации был отзеркален в кино. Все вместе развернуло отношение как к правоохранительным органам, так и к государству вообще в короткое время. Помимо этого, в новом милицейском кино сюжетные линии были связаны с формированием новых социальных отношений вокруг чего-то ранее запретного, редкого, неотрефлексированного, что в порядке новизны и пищи для воображения подстегивало зрителя и возвращалось сторицей в трансформируемую реальность. В милицейское кино вошел психологизм. Например, кинофильм «Авария — дочь мента» (1989) построен на поколенческом конфликте между отцом-милиционером и дочерью, происходящем на фоне новейших субкультурных увлечений молодежи. «Плюмбум, или Опасная игра» (1986) акцентирует внимание на тематике злоупотребления властью и генезисе авторитарной личности. «Взломщик» (1987) пробуждает сочувствие к молодому правонарушителю, которого жизнь подтолкнула к совершению преступления.

Тенденция сочувствия правонарушителю и даже преступнику становится широко распространенной, теперь зритель уподобляет себя людям с криминальными наклонностями, происходит романтизация преступности. Напротив, правоохранители постепенно приобретают черты ограниченных, догматичных, авторитарных, нередко злобных людей. Романтизация преступника, погруженного в формируемые новые социальные отношения, где криминальный бэкграунд является естественным, а герою требуется удача, фарт, чтобы, рискуя собой, добиться успеха, становится привлекательным для массового зрителя трендом. Зритель проецирует на себя картинку с экрана и находит себе нового героя, способного приспособиться к складывающимся непривычным социальным отношениям. Экраны наводняются фильмами о жизни криминального мира и его героях, которые скорее воспринимаются положительно. В этом ряду появляются «Брат» (1997), «Брат 2» (1999), «Бандитский Петербург» (2000), «Бригада» (2002), «Бумер» (2003), «Жмурки» (2005).

В «Брате», как и в «Ворошиловском стрелке» (1999) или «Антикиллере» (2002), манифестируется новый тренд криминальных лент — милиции в них отводится минимальная периферийная роль, как если бы этого органа государственной власти не существовало. Милиция в лучшем случае — беспомощный наблюдатель «драмы жизни», а в худшем — соучастник деятельности организованных преступных групп и неотъемлемая часть коррумпированного государственного аппарата. Происходит инверсия, в рамках которой преступник мифологизируется и наделяется чертами героя, а милиция/полиция демифологизируется и становится антигероем. Именно так происходит в «Кремне» (2007), «Левиафане» (2014), в «Под-

бросах» (2018), в «Тексте» (2019). Милиция/полиция, будучи «вооруженной бюрократией» и олицетворением «суверенного насилия», предстает как символ коррумпированного государства, видимая часть айсберга симбиотического антимира «падшего» государства и преступного подполья. Своеобразным символом киногрехопадения милиции можно считать капитана милиции Журова из «Груза 200» (2007) режиссера и сценариста Алексея Балабанова.

Следует отметить, что демонтаж СССР и формирование новых квазикапиталистических экономических отношений привели к трансформации отечественного кинорынка и кинозрителя. На фоне хлынувшего потока информации, включая изобилие кинематографической продукции, пристрастия зрителя перефокусировались на образцы западного и, в частности, американского кино. Соответственно, кинопрокатчики, сценаристы и режиссеры также переориентировались на новые образцы. Как следствие, общая ориентация на получение прибыли приводит к сосредоточению кинематографического сообщества на удовлетворении усредненных и зачастую невзыскательных вкусов публики, а не на стремлении усовершенствовать и развить внутренний мир зрителя. Это связано с двумя тенденциями. Во-первых, произошло отторжение «соцреализма» как языка киноповествования. Этот язык «фотомонтажа» реальности и идеологических императивов утратил эффективность. Во-вторых, пастиш, рассчитанный на воспроизводство образцов (стандартов) лицейского кино, проиграл конкуренцию западной киноиндустрии, которая гораздо лучше соответствовала запросу на «зрелища». Как следствие, именно ориентация на ожидания зрителя привела к потоку криминальных лент, в которых в изобилии появились элементы боевика, хоррора, триллера, психологической драмы. Одновременно зритель в значительной мере перестал видеть в кино фактор, указывающий направление на изменение мира к лучшему. Атмосфере деидеологизации и деконструкции, характерной для эпохи краха «больших» теорий устроения общества, соответствует тенденция на поиск новой идентичности, зачастую формируемой в рамках подражания готовым образцам, маркированным как предпочтительные. Спрос на красивую иллюзию возобладал над рефлексией по поводу окружающей действительности. Мода на американское кино как отражение иной, манящей реальности торжествующего капитализма и общества потребления внесла свои коррективы. Как промежуточный итог, возникла ситуация, когда отечественный кинематограф стал создавать ленты по образцу американских кинофильмов. Милицейское/полицейское кино во многом стало репликацией и адаптацией коммерчески успешных образцов и сюжетов чужой кинопродукции. Например, прототипом знакового и далекого от слепого подражания «Левиафана» А. Звягинцева явилась история

войны Марвина Джона Химейера в г. Гранби, штат Колорадо, против могущественной местной строительной компании. Если в рамках сложившейся формы милицейского кино милиционер был вписан в сюжет в качестве морального наставника и/или профессионала, решающего сложную головоломку или рискующего жизнью ради спасения гражданина, то теперь эта связка распалась. События происходят в вакууме как бы самоустранившегося государства, словно на его развалинах, что отсылает к известному феномену европейского «руинного кинематографа» конца 40-х гг. XX в.

Заключение

Государство эпохи Модерн, сосредоточенное на проблематике всестороннего управления жизнедеятельностью населения, особую роль отводит полиции, выступающей агентом государства в вопросах властной организации жизни населения. Начало XX в. ознаменовано появлением, апробацией и широким использованием пропагандистских аппаратов, знаменующих переход от полицирования «тел» к полицированию «мыслей». Эффективному воздействию на общественное мнение способствуют новейшие изобретения в области средств массовой коммуникации и, в частности, кино. Этот удобный жанр для донесения до массового зрителя императивов о желательном для государства образе жизни гражданина, устанавливаемом общественном порядке, а также об образе и роли стража правопорядка активно задействуется в СССР. Первые шаги еще довоенного кинематографа демонстрируют милицию эпизодически, в том числе из-за отсутствия рефлексивности порою добиваясь комического эффекта. Так, начиная со второй половины 1930-х и вплоть до 1950-х советский кинематограф не знал ни одного фильма, посвященного собственно милиции и ее повседневной деятельности. Однако с середины 1950-х гг. отчетливо просматривается появление милицейского кино, в котором роль милиции в обществе отрефлексирована. Милицейское кино предстает как инструмент пропаганды советского образа жизни. Хотя в обществе и есть отдельные искажения, но благодаря советской милиции, находящейся в тесном взаимодействии с советскими гражданами, недостатки успешно устраняются. В 1970-е гг. картина становится сложнее — появляются сюжетные линии милиционеров-отступников, однако настоящий перелом происходит примерно с середины 1980-х гг., в годы перестройки, когда мы наблюдаем фактически коллапс киноязыка соцреализма и повальное увлечение зрелищным западным кинематографом. В этих условиях из-за плеча милиционера теперь выглядывает не государство и его идеология, а зачастую корыстный интерес.

Представляется, что возникшая в перестройку пропасть деконструкции в настоящее время для российского полицейского кино пройдена. Медленно, но верно формируется тренд на реконструкцию, осциллирующую между идеалами советского милицейского кино и гиперреализмом постперестроечных лент. Современное российское кино находится в поиске натальности¹, задающей новое начало. Конечно, коммерческий элемент в сложившейся экономике уже неустраим. Одним из символов современного российского кино стал телесериал «Улицы разбитых фонарей» (1998–2019) и его сиквел — «Убойная сила» (2000–2005). Современное полицейское кино — цепь бесконечных сериалов, среди которых можно выделить «Глухарь», «Ментовские войны», «Тайны следствия», «Каменская», «Метод», «Участок» и др. Сериалы призваны популяризовать деятельность полиции, создав положительный образ сотрудника в реалистичных неприукрашенных декорациях современного общества. В своих лучших образцах современное российское полицейское кино выполняет эту важную функцию. Реконструкция не является способом воспроизводства, репликации уже состоявшейся формы. Реконструкция создает иную кинореальность. Иногда реконструкция творит симулякры. А иногда порождает дающие надежду ростки нового, что отвечает духу натальности. Представляется, что складывающиеся в настоящий момент тенденции позволяют утверждать, что постепенно формируется новое российское полицейское кино, в рамках которого на экране создаются условия для реального взаимопонимания между представителем власти и гражданином, то есть между согражданами, исполняющими различные социальные роли в рамках сложной системы разделения труда в одном и том же российском государстве, в обустройстве которого заинтересованы все мы.

1 «Натальность» — термин, введенный Х. Арендт. Натальность означает «новое начало, радикальное авторство, то, что по-английски называется *natality*, то есть способность человека быть абсолютным началом, свободным в мире...» [Филиппов 2015: 64]. Х. Арендт справедливо связывает натальность с новизной. Рождение — чудо, а человек — это обещание нового. «Новое начало, приходящее в мир с каждым рождением, лишь потому способно достичь значимости в мире, что пришельцу присуща способность самому вносить новую инициативу, т. е. поступать... “Чудо” заключается в том, что вообще рождаются люди и с ними новое начало, которое они способны проводить в жизнь благодаря своей рожденности» [Арендт 2017: 19, 311]. Представляется, что современный российский кинематограф уже рожден и, хочется верить, обладает духом натальности, как всякое новое начало.

Библиография / References

- Агамбен Дж. (2015) *Средства без цели: Заметки о политике*, М.: Гилея.
 — Agamben G. (2015) *Means without Purpose: Policy Notes*, Moscow: Gileja. — in Russ.
- Агамбен Дж. (2019) *Царство и Слава. К теологической генеалогии экономики и управления*, М.: Институт Гайдара; СПб.: Факультет свободных искусств и наук СПбГУ. EDN: DSGGJI
 — Agamben G. (2019) *Kingdom and Glory. To the Theological Genealogy of Economics and Management*, M.: Gaidar Institute; Saint Petersburg: Faculty of Liberal Arts and Sciences of St. Petersburg State University. — in Russ.
- Арендт Х. (2017) *Vita Activa, или О деятельной жизни*. М.: Ад Маргинем Пресс.
 — Arendt H. (2017) *The Human Condition*. Moscow: Ad Marginem Press. — in Russ.
- Байбурин А. (2017) *Советский паспорт: история — структура — практики*, СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге. EDN: XMVSQL
 — Baiburin A. (2017) *The Soviet Passport: History — structure — practices*, Saint Petersburg: Publishing House of the European University in St. Petersburg. — in Russ.
- Бернейс Э. (2021) *Пропаганда*, СПб.: Питер.
 — Bernays E. (2021) *Propaganda*, Saint Petersburg: Peter. — in Russ.
- Вацулеску К. (2021) *Полицейская эстетика. Литература, кино и тайная полиция в советскую эпоху*, СПб.: БиблиоРоссика; Бостон: Academic Studies Press.
 — Vaculescu K. (2021) *Police aesthetics. Literature, Cinema and the Secret Police in the Soviet Era*, Saint Petersburg: BiblioRossika; Boston: Academic Studies Press. — in Russ.
- Визуальная антропология: режимы видимости при социализме* (2009) М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ. EDN: QXYRJF
 — *Visual anthropology: modes of visibility under socialism* (2009) Moscow: ООО “Variant”, TSPGI. — in Russ.
- Гребер Д. (2016) *Утопия правил: о технологиях, глупости и тайном обаянии бюрократии*, М.: Ад Маргинем Пресс.
 — Graeber D. (2016) *Utopia of Rules: about Technology, Stupidity and the secret charm of bureaucracy*, Moscow: Ad Marginem Press. — in Russ.
- Дарнтон Р. (2010) *Поэзия и полиция. Сеть коммуникаций в Париже XVIII века*, М.: Новое литературное обозрение.
 — Darnton R. (2010) *Poetry and the Police. The network of communications in Paris of the XVIII century*, Moscow: New Literary Review. — in Russ.
- Ищенко Н. (2023) Порфирий Петрович как Сократ в сюжете «Преступления и наказания». *Достоевский и мировая культура. Филологический журнал*, 2(22): 45-56. EDN: JZXDVI. <https://doi.org/10.22455/2619-0311-2023-2-45-56>

— Ishchenko N. (2023) Porfiry Petrovich as Socrates in the plot of “Crimes and Punishments” *Dostoevsky and World Culture. Philological Journal*, 2(22): 45-56. — in Russ. <https://doi.org/10.22455/2619-0311-2023-2-45-56>

Кильдюшов О. В. (2013) Полиция как наука и политика: о рождении современного порядка из философии и полицейской практики. *Социологическое обозрение*, 12(3): 9-40. EDN: RWXZJX

— Kildyushov O. V. (2013) Police as science and politics: on the birth of a modern order from philosophy and police practice. *Russian Sociological Review*, 12(3): 9-40. — in Russ.

Липпман У. (2023) *Общественное мнение*. М.: Издательство АСТ, 2023. EDN: OXCHMG

— Lippman W. (2023) *Public opinion*. Moscow: AST Publishing House. — in Russ.

Московичи С. (1998) *Век толп. Исторический трактат по психологии масс*, М.: Центр психологии и психотерапии. EDN: QYBRPV

— Moscovici S. (1998) *The Century of Crowds. Historical treatise on the psychology of the masses*, М.: Center of Psychology and Psychotherapy. — in Russ.

Николин И. В. (2007) *Онтологическая специфика кинореальности: автореферат...* канд. филос. наук, Омск: Издательство ОмГПУ. EDN: NJKIFJ

— Nikolin I. V. (2007) *The ontological specificity of cinema reality: abstract...* PhD in Philosophy Sciences, Омск: Publishing House of OmSPU. — in Russ.

162

Филиппов А. (2015) Ханна Арендт и Карл Шмитт: два понятия политического. *Современное значение идей Ханны Арендт*. Материалы международной конференции. Калининград: Издательство Балтийского федерального университета им. И. Канта: 52-65. EDN: VMKQJV

— Filippov A. (2015) Hannah Arendt and Carl Schmitt: Two concepts of the political. *The modern meaning of Hannah Arendt's ideas*. Materials of the international conference. Kaliningrad: Publishing House of the Baltic Federal University named after Kant: 52-65. — in Russ.

Фуко М. (2011) *Безопасность, территория, население: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977—1978 учебном году*, СПб.: Наука. EDN: QXBZNV

— Foucault M. (2011) *Security, territory, population. A course of lectures delivered at the College de France in the 1977-1978 academic year*, Saint Petersburg: Nauka. — in Russ.

Яркеев А. В. (2018) *Онтологические основания зла в современном обществе: философско-герменевтический аспект*, Екатеринбург, Ижевск: ИФиП УрО РАН. EDN: YARFTV

— Yarkeev A. V. (2018) *Ontological foundations of evil in modern society: philosophical and hermeneutic aspect*, Yekaterinburg, Izhevsk: IFiP UrO RAS. — in Russ.

Попов Дмитрий Владимирович — доктор философских наук, доцент, начальник кафедры философии и политологии Омской академии МВД России. Омск, Российская Федерация. Научные интересы: философская антропология, биополитика, политическая теология.

ORCID: 0000-0002-4587-6351. E-mail: DmitriVPopov@mail.ru

Dmitry V. Popov — Doctor of Philosophical Science, Associate Professor, Head of Department of Philosophy and Political Science. Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russian Federation. Research interests: Philosophical Anthropology, Biopolitics, Political Philosophy (Political Theology, Political Power, Theory of Anarchy, Violence and Nonviolence).

ORCID: 0000-0002-4587-6351. E-mail: DmitriVPopov@mail.ru

Рождение социологии спорта и Лестерская историко-социологическая школа

АНДРЕЙ С. АДЕЛЬФИНСКИЙ

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Российская Федерация

ORCID: 0000-0003-0690-8848

Рекомендация для цитирования:
Адельфинский А. С. (2024)
Рождение социологии спорта и Лестерская историко-социологическая школа. *Социология власти*, 36 (3): 164-179
<https://doi.org/10.22394/2074-0492-2024-3-164-179>

For citations:
Adelfinsky A. S. (2024) The Birth of the Sports Sociology and the Leicester Historical-Sociological School. *Sociology of Power*, 36 (3): 164-179
<https://doi.org/10.22394/2074-0492-2024-3-164-179>

Поступила в редакцию: 30.07.2024;
прошла рецензирование:
19.09.2024; принята в печать:
10.10.2024
Received: 30.07.2024; Revised:
19.09.2024; Accepted for publication:
10.10.2024



This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

© 2024 by the author.

Статья описывает зарождение социологии спорта в Великобритании внутри Лестерской школы исторической социологии Норберта Элиаса, объясняя причины сильного влияния идей элиасианства на современную мировую социологию спорта. В работе использованы материалы неформального интервью 2010 года с Эриком Даннингом, сооснователем британской социологии спорта, соавтором и учеником Элиаса. Показано общее развитие историко-социологической Лестерской школы 1960–1970-х годов, ее влияние на социологию Великобритании, а также роль Элиаса и Ильи Нойштадта в ее становлении. Описана современная историко-социологическая традиция социального анализа, вдохновленная идеями Элиаса и получившая название «социология процесса, или фигурационные исследования». Указаны ее ключевые черты: фокус на отношениях-в-прогессе, релятивизм, изучение феноменов в динамике, сбор исторических материалов, сравнительные сопоставления, междисциплинарность. Описано становление социологии спорта в 1960-х годах, рассмотрены семинальные работы Элиаса и Даннинга. Отмечено, что данные авторы рассматривали спорт и досуг как средство понимания общества, а также предложили социологическую трактовку спорта как инструмента цивилизационного процесса, причем опираясь не на чистую теоретическую рамку, но на обширный материал исторического характера. Это способствовало раннему признанию идей Лестерской школы в период становления мировой социологии спорта.

Ключевые слова: историческая социология, социология спорта, Лестерская школа, история науки, Норберт Элиас, Эрик Даннинг

The Birth of Sports Sociology and the Leicester Historical-Sociological School

Andrey S. Adelfinsky

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation
ORCID: 0000-0003-0690-8848

The review describes the origins of sports sociology in Great Britain within the “Leicester School” of Historical Sociology of Norbert Elias, explaining the causes for the strong influence of the ideas of Elysianism on the present-day international sociology of sports. The paper is based on an informal interview in 2010 with Eric Dunning, the founding father of the British Sociology of Sport, co-author and student of Norbert Elias. The overall development of the historical and sociological “Leicester School” of the 1960s and 1970s, its influence on the sociology of Great Britain, as well as the role of Elias and Ilya Neustadt in its formation are shown. The contemporary historical and sociological tradition of social analysis, inspired by the ideas of Elias and called the ‘sociology of process’ or ‘figurative research’, is described. Its key features are indicated: focus on relations-in-progress, relativism, studies of phenomena in their dynamics, the collection of historical materials, comparative analysis, and interdisciplinarity. The seminal works of Dunning and Elias on sports sociology are considered, in addition to the early development of this field of studies. It is noted that both authors viewed sport and leisure activities as a means to understand society and proposed a sociological interpretation of sport as a tool for the civilizational process. Their work was based not only on a theoretical framework, but also on extensive historical research. This contributed to the early acceptance of the ideas of Leicester School during the establishment of international sports sociology in the 1960s.

165

Keywords: historical sociology, sports sociology, Leicester School, history of science, Norbert Elias, Eric Dunning

Введение

«Вам подходит сегодня в баре “Бабелас” в 19.00?» — так откликнулся Эрик Даннинг (1936–2019) на телефонный звонок автора этих строк, планировавшего узнать из первых рук о Лестерской школе социологии и обсудить свое исследование на тему массового спорта. К моменту нашей неформальной встречи в 2010 году заслуженный профессор Лестерского университета Даннинг являлся признанным мэтром мировой социологии спорта. Его соавтора и учителя Норберта Элиаса неизменно упоминают и в числе классиков исторической социологии, и в числе ведущих социальных теоретиков XX века. Причем социология спорта оказалась тем полем, где влияние историко-социологической традиции Элиаса оказалось весьма значительным [Górnicka et al. 2015].

Созданному им подходу, фигуративной социологии посвящен ряд обзоров и сравнительных работ [Козловский 2000; Кучер 2013;

Марков 2018], однако об исследованиях спорта Лестерской школы русскоязычный читатель, вероятно, знает лишь благодаря единственному переводу в журнале «Логос» [Элиас 2006] и упоминанию его трудов немногочисленными отечественными энтузиастами социологии спорта [Кильдюшов 2013, 2018]. Немногие российские обзоры западной социологии спорта дают ограниченный экскурс в историю ее развития [Лукащук 2020; Белозеров 2022; Sharkov & Silkin 2020], в отличие от более детально описанной советской [Быховская, Мильштейн 2017]. Также не удалось найти русскоязычных обзоров о Лестерской школе социологии, вкладе Ильи Нойштадта и Норберта Элиаса в ее становление, как и о влиянии этой школы на британскую социологию в целом.

Цель данного эссе — рассказать читателю о становлении социологии спорта в Великобритании и Лестерской школе, объяснив причины заметного влияния историко-социологической традиции Н. Элиаса на мировую социологию спорта.

Социология отношений-в-процессе как научная традиция

166

Социология процесса, иначе называемая *фигуративными исследованиями* — научная традиция, вдохновленной идеями и работами Норберта Элиаса. В числе его трудов — новаторское на момент издания в 1939 году и ставшее классическим исследование «О процессе цивилизации». В числе историко-социологических работ Н. Элиаса «Придворное общество», «Моцарт: к социологии одного гения», «Исследования о немцах», а также написанное совместно с Даннингом и ставшее весьма влиятельным для темы спорта и досуга исследование «В поиске острых ощущений». Ряд его работ, включая трактат «Что такое социология», посвящены объяснению фигуративно-процессуального подхода.

Ключевая черта фигуративной социологии — это акцент на *отношениях-в-процессе*. В фокусе внимания этой традиции лежит анализ конкретных проблем совместной жизни людей, изучаемых как динамика взаимодействия социальных групп. Взамен абстрактных индивидов и не менее абстрактного общества здесь рассматриваются *фигурации* как сети взаимозависимости людей, возникающие и меняющиеся во времени. Отношения власти не сводятся к доминированию одних групп над другими, а подобны спортивной игре. Команды попеременно владеют инициативой, вторгаются на территорию друг друга и реагируют на атаки, а позиции игроков меняются [Elias 1978]. Фигуративные исследования тяготеют к изучению социальных явлений в их исторической динамике и сравнительной перспективе, пренебрегая границами научных дисциплин.

Теоретические конструкции и строгие определения вовсе не должны стоять в начале исследования, но скорее способны возникать уже в результате анализа собранного материала.

Процессуальный подход Норберта Элиаса стремится преодолеть ограничения более жестких схем социального анализа начала XX века. Его динамический подход возник в 1930-х годах, одновременно со статичным структурным функционализмом Парсонса. (Отметим, что если влияние историко-социологической традиции Элиаса на общее развитие социологии со временем возрастало, то структурный функционализм постепенно утрачивал свою популярность.) Элиас рассматривается как прямой предтеча современного «реляционного поворота» в социологии [Law 2017], а влияние его идей можно проследить в работах Бурдье, Фуко и Гидденса [Dunning & Hughes 2013; Paille et al. 2012].

Позднее признание идей Элиаса связано с перипетиями жизни ученого. После нацистского переворота в 1933 году был вынужден он вынужден был оставить Гейдельбергский университет и эмигрировать во Францию, а в 1935 году — в Англию. *Opus magnum* Элиаса впервые вышел в Швейцарии в год начала Второй мировой войны. Поначалу работа была проигнорирована внутри Германии и вне ее — из-за неарийских корней автора в первом случае и немецкого языка трактата в другом. Постоянный академический контракт Элиас получил лишь в 1957 году (т.е. в 60 лет!) в Лестерском университете, где с 1953 года преподавал внештатно [Hahn et al. 2013]. Лишь с 1960-х годов идеи Элиаса начали обретать признание в Европе по мере перевода ранних работ и публикации новых.

Разнообразие эмпирических тем элиасианской традиции иллюстрирует широкая палитра историко-социологических работ последователей, написанных еще при жизни основателя. Изучались становление спорта как инструмента воспитания на материалах развития футбола в викторианской Англии [Dunning & Sheard 1979]; взаимосвязь патронажа искусства и борьбы за власть в ренессансной Италии [Kempers [1982] 1992]; сравнительная трансформация рациона питания и культурных норм еды в Англии и Франции со времен Средневековья до наших дней [Mennell 1985]; изменения поведенческих стандартов по материалам немецких руководств о хороших манерах и нормах порядочности с XIX по XX век [Krumgeys 1984]; критически рассматривались известные подходы в социологии в контексте методов исследований [Goudsblom 1977]; совмещались подходы фигуративной социологии с теориями рационального выбора [de Swaan 1988]. Наибольшее влияние эта традиция анализа продолжает оказывать там, где преподавал Элиас — в ряде голландских и немецких университетов, и, конечно, в Великобритании [Górnicka et al. 2015].

Лестерская школа социологии и ее основатели

Университетский колледж Лестера обрел статус университета в 1957 году, до этого являясь филиалом Лондонского университета. Активное развитие Лестера и социологии пришлось на 1956–1979 годы, «золотой век» британской системы образования [Rojek 2004]. Ведущий вклад в формирование социологической школы в Лестере внесли Илья Нойштадт¹ и Норберт Элиас. «Могучая пара, они взрастили таланты самых разных ученых, прошедших через Лестер как студенты и преподаватели», — свидетельствовал Гидденс [Giddens 1993].

Небольшой курс социологии в Лестере к 1959 году вырос до факультета именно стараниями Нойштадта как талантливого администратора и ученого. В 1950-х годах социология в Британии являлась малоизвестным направлением, ею занимались всего в четырех университетах [Rojek 2004]. Нойштадт же провозгласил социологию «основной социальной наукой», концепции и выводы которой актуальны для остальных, а ее изучение считал «поиском социального понимания», а не простым освоением навыков [Giddens 1993]. Важную роль в формировании Лестерской школы сыграл научный семинар Н. Элиаса для молодых исследователей, а также традиции неформального общения и доброжелательная, космополитичная среда факультета, где в преподавательском коллективе коренные британцы были меньшинством в окружении ученых — эмигрантов из Европы [Rojek 2004]. Характеризуя Лестерскую социологическую школу 1960-х, Гидденс назвал ее «наиболее влиятельным факультетом социологии» Великобритании [Giddens 1993].

Успех Лестерской школы социологии в конечном итоге стал препятствием для ее дальнейшего развития. Нойштадт и Элиас поддерживали на факультете традиции «континентальной» науки, где подразумевается постепенный рост ученых под руководством наставников. Однако в 1970-х годах другие университеты Британии начали активно приглашать молодых ученых-социологов Лестера, стремившихся строить собственные карьеры [Goodwin, Hughes 2011;

168

1 Илья Николаевич Нойштадт (1915–1993) родился в Одессе в буржуазной семье. Родители эмигрировали в Бессарабию в его юные годы. Начав учиться медицине в Бухарестском университете, Нойштадт продолжил обучение в Льежской школе экономики, где получил ученую степень за исследование международных организаций. С началом Второй мировой войны Нойштадт вынужденно эмигрировал в Британию. В Лондонской школе экономики он написал докторскую диссертацию по социальной структуре бельгийского общества у социолога Морриса Гинзберга. В конечном итоге в 1949 году он стал преподавателем социологии на экономическом факультете Лестерского колледжа [Giddens 1993].

Kaspersen & Mulvad 2017]. Одним из них стал Энтони Гидденс, сын мелкого клерка и первый в своей семье, кто пошел учиться в колледж, в итоге ставший благодаря научным успехам ключевым советником премьер-министра Великобритании и членом палаты лордов¹.

Эрик Даннинг сформировался как ученый одновременно с Лестерской школой социологии. В 1956–1958 годах он учился экономике, но заинтересовавшись курсами Элиаса «Элементы социальной структуры» и «Элементы психологии», оказался одним из первых его учеников в магистратуре по социологии. Круг исследований Даннинга простирался гораздо шире темы спорта: социология развития, проблемы расовых отношений, продвижение фигуративной социологии, переводы немецких работ Элиаса, дебаты с Карлом Поппером о «нищете историцизма». Однако именно анализ спорта принес ему всемирное признание [Mennell 2006; Gruneau 2006; Curry 2019; Malcolm & Waddington 2020].

Спорт как инструмент понимания общества

«Ранние стадии развития футбола как организованной игры» [Dunning 1961] стали основополагающей работой по социологии спорта в Великобритании. В 1959 году, делая обзор литературы, Даннинг смог отыскать единственный текст на английском языке, предлагавший социологический анализ спорта, — статью Г. Стоуна, где на материалах американского спорта обозначены противоречия между хобби и работой, потреблением зрелищ и их производством, а также аргументирована необходимость социального изучения игры [Stone 1955]. Расширяя обзор, Даннинг начал изучать материалы по истории спорта. Собранный материал свидетельствовал о снижении жестокости и подтолкнул Даннинга к вопросу — является ли это примером процесса цивилизации, как его описывал Элиас? [Dunning 2010]

169

1 Комментаторы подчеркивают явное влияние Элиаса на концепции Гидденса, отмечая также параллелизм ряда ключевых понятий: *габитус* — *рутинизация*, *фигурация* — *структурация*, *аффекты* — *бессознательное* [Кучер 2013]. Характерно, что Гидденс написал магистерскую диссертацию по социологии спорта в Лондонской школе экономики (1961). Судя по статье «Заметки о концепциях игры и досуга», его работа имела преимущественно теоретический, обзорный характер [Giddens 1964]. Затем Гидденс получил в Лестерском университете свою первую академическую должность ассистента, однако тему спорта более не разрабатывал [Кильдюшов 2013]. Возможно, это связано с тем, что к тому времени в Лестере сложилась совсем иная, эмпирическая исследовательская традиция.

Анализ футбола Даннинга продемонстрировал эволюцию народных игр с мячом от более «варварских» и жестоких форм в Средние века к более «цивилизованным» современным формам, таким как футбол, регби и другие. Изучение эволюции нравов игры в мяч стало не просто иллюстрацией концепции Элиаса, но позволило выявить *спортизацию* как часть процесса цивилизации¹. Материалы диссертации Даннинга послужили основой для его дальнейших статей, в которых рассмотрена история английского футбола с XII по XIX век, включая его эволюцию в частных школах Итон, Рэгби и Шрусбери [Dunning 1963, 1964]; а также для совместных работ с Элиасом [Elias & Dunning 1972], и уже названной статьи «Генезис спорта как социологическая проблема» [Elias 1972; русский перевод: Элиас 2006].

170

В работе «Динамика спортивных групп с особым акцентом на футбол» (1965) впервые было предложено использовать спортивную игру как модель социальной динамики, а также пересмотрено понимание конфликта и консенсуса. Эти понятия представляются авторам не разными состояниями, а взаимозависимыми полярностями — как в случае мускулатуры, где статика и движение — это следствие баланса работы мышц-антагонистов. Сама же игра видится ими как контролируемая напряженность, причем динамика игры определяется не набором изначально заданных правил, а специфической для конкретного матча комбинацией команд и отдельных игроков [Elias & Dunning 1965]. Важно то, что Элиас и Даннинг с самого начала писали не просто о футболе, но первую очередь использовали эвристический потенциал спорта и телесности для понимания общества.

«Поиск азарта в неазартных обществах» (1970) предлагает уже современное социологическое понимание спорта и досуга. Центральный тезис Элиаса и Даннинга заключается в том, что по мере возрастания самоконтроля в современных обществах люди все более нуждались в средствах эмоциональной разрядки. Компенсаторная функция спорта и досуга становилась крайне значимой, являясь прямой реакцией на избыточную рациональность, рутинность и упорядоченность современного стиля жизни. Авторами также дискутируется антитеза досуга и работы, и предлагается новое понимание, основанное на балансе эмоций и поиске приятных переживаний [Elias & Dunning 1970]. Данное

1 Термином *спортизация* Элиас описал процесс трансформации народных игр и популярных форм досуга вследствие разработки правил и кодексов поведения, включая менявшиеся взгляды на допустимый уровень насилия [Elias 1972].

понимание спорта и досуга как форм миметической активности далее разрабатывалось в книге, ставшей весьма влиятельной для исследовательского поля: «В поисках острых ощущений: спорт и досуг в процессе развития цивилизации» [Elias & Dunning, 1986].

Спорт в элиасианской оптике — это крайне важное средство эмоциональной разрядки, инструмент цивилизационного процесса. В своей сути этот тезис совпадает с позицией эволюционной антропологии К. Лоренца. Элиасианское понимание спорта активно воспринято зарубежной социологией телесности. Характерно, что постсоветская отраслевая социология т.н. «физической культуры и спорта» сохраняет схоластическое деление на «спорт (ради результатов)» и «физкультуру (ради здоровья)», приводя к предсказуемым схоластическим результатам¹.

Признание спорта и влияние Лестера

Становление социологии спорта пришлось на 1960-е годы, одновременно с ее интернационализацией и постепенным признанием в академической среде. После предварительных встреч в Женеве и Варшаве в 1964 и 1965 годах, в Кельне в 1966 году прошел первый конгресс *Международной ассоциации по социологии спорта* (ISSA), в числе основателей которой были Элиас и Даннинг. В эпоху внешнеполитической напряженности 1960-х годов спорт выделялся нейтральной площадкой для выстраивания диалога. В 1969 году ISSA учредила первый для общественных наук научный журнал по исследованиям спорта, существующий и поныне, — *Международный журнал по социологии спорта* (IRSS). В эпоху холодной войны ISSA способствовала коммуникации ученых по обе стороны «железного занавеса» [Luschen 2003]. Характерно, что IRSS печатал аннотации статей на шести языках: английском, французском, немецком, испанском, китайском и русском.

Исследования спорта в Лестере активно развивались в 1970–90-е годы. Вслед за новаторским трудом «В поисках острых ощущений» и ранними исследованиями футбола в 1970-х годах Даннинг вместе с Кенном Ширдом продолжил работу по историческому анализу эволюции современных игр с мячом. Итогом стала монография «Варвары, джентльмены и игроки: социологическое исследование развития регби-футбола» [Dunning & Sheard 1979], ставшая классическим образцом для работ по истории спорта.

¹ См. подробное обсуждение этого круга проблем в: [Кильдюшов 2013; Адельфинский 2022; Столяров 2018].

В этом масштабном труде авторы описывают совокупность изменений в обществе и внутри спорта, демонстрируя перетекающие «диких» народных игр в более регламентированные формы в частных школах Англии, разделение регби и футбола, истоки любительства и профессионализма на материалах XVIII, XIX и XX веков.

В 1980-е годы рост околофутбольного хулиганства способствовал общественному восприятию английского футбола как социально опасного бедствия. В те годы Даннинг, Патрик Мерфи и Джон Уильямс провели цикл исследований, ставший основой трилогии книг о футбольном хулиганстве [Williams et al. 1984; Dunning et al. 1988; Murphy et al. 1991]. Ученые показали, что усиление околофутбольной активности стало скорее следствием самосбывающегося пророчества прессы, нежели изменениями в спорте; что феномен около-футбола не нов в исторической перспективе; и главное, объяснили социальные корни футбольного хулиганства, показав, что современному обществу для стабильности социального порядка жизненно необходимы средства «выпуска пара» вроде спорта. Публичная позиция социологов Лестера в общественных дебатах, комментариях телевидению и прессе оказалась чрезвычайно значимой для выживания (sic!) традиционной игры. Причем Лестерская школа утвердилась как ведущий центр социологии спорта, а исследователи футбола — в качестве медиаперсон [Malcolm & Waddington 2020]. Впрочем, сегодня эта «школа» стала понятием вне географических рамок [Górnicka et al. 2015; De Souza et al. 2014].

172

Влияние элиасианской научной традиции Лестера на мировую социологию спорта оказалось столь значительным, что иногда его называют гегемонистским или ортодоксальным. Современные англоязычные руководства по социологии спорта неизменно содержат отсылки к элиасианской традиции и корпусу текстов [Górnicka et al. 2015]. В числе примеров: «Руководство по спортивным исследованиям» [Coakley & Dunning 2000], «Спорт и современные социальные теории» [Giulianotti 2004], «Спорт в обществе: проблемы и противоречия» [Coakley & Pike 2009].

В чем причины? Вероятно, это раннее признание социологии спорта в Лестере и продолжающаяся традиция исследований. Также это связано с тем, что Элиас и Даннинг к первым конгрессам ISSA располагали не только социологической теорией для понимания спорта и досуга, но солидным эмпирическим материалом исторического характера. Важно и то, что с самого начала Элиас и Даннинг фокусировались на эвристическом потенциале спорта для понимания развития общества.

«Another round?»¹

Вернемся к истории нашей неформальной беседы с Даннингом. В былые годы МГТУ им. Н.Э. Баумана организовывал научные стажировки преподавателей для изучения организации исследований и постановки дел в европейских университетах. В ноябре-декабре 2010 года наша группа направилась в Лестер, в Де Монтфортский университет. Насыщенность графика научных событий не помешала дополнить его индивидуальными встречами. Услышав о моих околоспортивных интересах, де-монтфортцы устроили мне визит в Международный центр спортивной истории и культуры. Там нас встретил его директор Ричард Холт, автор книг о взаимоотношениях спорта и общества в современной Франции и Британии [Holt 1981; Holt & Mason 2000]. Характерно, что профессор Холт приехал в университет на велосипеде, причем в ненастную погоду, однако для Англии, в отличие от России, это выглядело социально приемлемым².

Будучи знаком с концепцией Элиаса, я решил пообщаться с Даннингом как учеником и соавтором классика, дабы прояснить некоторые моменты моих собственных исследований. Лестерский университет находится в паре кварталов от Де Монтфортского. Со звонившись с профессором Даннингом, мы встретились в тот же день — в баре «Бабелас», за кружкой пива. Мой вопрос к Даннингу состоял в том, насколько тезисы Конрада Лоренца о биологических основах поведения совместимы с позицией Лестерской традиции? Из чтения Элиаса может сложиться впечатление о возможности радикальной модификации поведения через привитие культурных норм. Однако мои «полевые» материалы свидетельствовали о важности биологического, опровергая полное противопоставление первой и второй натур. Взгляды основателя этологии не встретили принципиальных возражений у Даннинга: «Я только что вернулся из Америки, где как раз напоминал коллегам о работах Лоренца». Он подчеркнул, что уже в ранних трудах [Dunning 1971] ссылался на его идеи. Касательно своего учителя он отметил: «Элиас в конце Первой мировой войны работал санитаром, и в Университете Бреслау помимо философского окончил базовый курс про медицине. Именно это позволило привнести ему биологическую перспективу в социальные науки, однако породив конфликт идей с научным наставником, философом-неокантианцем».

173

-
- 1 Переводимо как «Следующий раунд рассмотрения?» в контексте научного текста, или «Еще по одной?» в контексте дружеской встречи.
 - 2 Специфическое пренебрежительное отношение к любительским занятиям спортом в России 2000-х годов в стиле «что выиграл» см.: [Медведев 2021].

На следующий день мы продолжили разговор уже в Лестерском университете, где я получил от Даннинга в подарок пару руководств и еще пару редких текстов с обязательством вернуть. Впоследствии я уже самостоятельно совместил в своих работах трактовки Лоренца, Элиаса и Даннинга, а также Виктора Тернера [Adelfinsky 2021; Адельфинский 2022]. Однако описание габитусов атлетов-ветеранов (подтянутых, занимающихся спортом) и элитных тренеров (растолстевших, давно не занимающихся) внутри российского спорта столкнулось с проблемой терминологии. Используемое мною в застойной беседе разграничение *активного* (в роли атлета) и *пассивного* (зрительства) спорта заставило посмеяться маститого исследователя футбольного хулиганства. По его наблюдениям, болельщики на трибунах как раз ведут себя крайне активно, что он проиллюстрировал веселой историей из своего детства об участии в беговых соревнованиях. «Как быть? Какие термины тут будут уместны?» — спросил я. «Возможно, вам следует показать историю возникновения этих групп?» — сказал Даннинг. «Видю, вы задумались. Another gound, коллега?» — добавил мэтр с доброжелательной улыбкой.

174

Профессор Даннинг был рад узнать, что «еще один экономист» занялся социологией спорта, и рассказал собственную историю увлечения спортом как темой научных исследований. «В действительности, это был Дэвид Москоу [David Moscow], кто первым решил заняться социологией спорта, — сказал Даннинг. — Кроме того, именно русский джентльмен, профессор Нойштадт одолжил мне первое издание “Über den Prozeß der Zivilisation”». Увлеченный любитель, Даннинг играл в футбольной и крикетной команде Лестера. «По дороге в университет я бегал спринты от одного телеграфного столба к другому и по пути регулярно встречал профессоров, включая Элиаса». Сам Элиас в молодости занимался лыжами, а в зрелые годы продолжал плавать. Также он стремился ориентировать студентов к научному изучению знакомых им областей.

Несмотря на большой интерес к футболу, Даннинг не планировал делать его изучение темой магистерской работы. Сама идея исследований спорта в Британии того периода выглядела недостаточно респектабельно. Как сказал Даннинг, тогда считалось, что «настоящие ученые изучают классовую структуру общества и классовые конфликты, а не такую ерунду, как футбол». Иначе думал сокурсник Даннинга, другой студент-спортсмен Дэвид Москоу — однако итоговый балл не позволил ему получить стипендию магистра. Изучать спорт пришлось Даннингу, чьи первоначальные опасения Элиас постарался развеять так: «Не беспокойтесь, м-р Даннинг. Займитесь этим, и мы сделаем это респектабельным!»

Библиография / References

Адельфинский А. С. (2021) Об исследованиях социологии спорта в России и Франции. *Социологические исследования*, (3): 154–156. EDN: ASNUHX. <https://doi.org/10.31857/S013216250013518-2>

— Adelfinsky A. S. (2021) About Sociology of Sports Researches in Russia and France. *Sotsiologicheskie issledovaniya*, (3): 154–156. — in Russ. <https://doi.org/10.31857/S013216250013518-2>

Адельфинский А. С. (2022) Чествование инклюзивности: организация и ритуал спорта массового участия. *Антропологический форум*, (54): 37–67. EDN: CGSGZV. <https://doi.org/10.31250/1815-8870-2022-18-54-37-67>

— Adelfinsky A. S. (2022) Celebration of Inclusivity: The Organization and Ritual of Mass Participation Sports, *Antropologicheskij forum*, (54): 37–67. — in Russ. <https://doi.org/10.31250/1815-8870-2022-18-54-37-67>

Белозеров В. И. (2022) Спорт как социальный феномен: основные этапы становления социологии спорта. *Общество: социология, психология, педагогика*, (2): 53–59. EDN: MFUCQN. <https://doi.org/10.24158/spp.2022.2.7>

— Belozerov V. I. (2022) Sport As A Social Phenomenon: The Main Development Phases In The Sociology Of Sports. *Obshchestvo: sociologija, psihologija, pedagogika*, (2): 53–59. — in Russ. <https://doi.org/10.24158/spp.2022.2.7>

Быховская И. М., Мильштейн О. А. (2017) Советская социология спорта: старт и ... еще раз старт (субъективные заметки с претензией на объективность). *Социологическое обозрение*, 16(2): 284–319. EDN: ZDPCZT. <https://doi.org/10.17323/1728-192X-2017-2-284-319>

— Bykhovskaya I. M., Milstein O. A. (2021) The Soviet Sociology of Sport: Start and . . . Start Once Again (Subjective Notes with a Claim to Objectivity). *Russian Sociological Review*, 16(2): 284–319. — in Russ. <https://doi.org/10.17323/1728-192X-2017-2-284-319>

Кильдюшов О. В. (2018) Спорт в социологической перспективе. *Социология власти*, 30(2): 8–23. EDN: VKANHO. <https://doi.org/10.22394/2074-0492-2018-2-8-23>

— Kildyushov O. V. (2018) Sport in sociological perspectives. *Sociology of Power*, 30(2): 8–23. — in Russ. <https://doi.org/10.22394/2074-0492-2018-2-8-23>

Кильдюшов О. В. (2013) Спорт как дело философии: об эвристической ценности новой аналитической оптики. *Логос*, 95(5): 43–60. EDN: TPFIAR

— Kildyushov O. V. (2013) Sport As A Question Of Philosophy: On The Heuristic Value Of A New Analytical View. *Logos*, 95(5): 43–60. — in Russ. <https://doi.org/10.31857/S013216250013518-2>

Козловский В. В. (2000) Фигуративная социология Норберта Элиаса. *Журнал социологии и социальной антропологии*, 3(3): 40–59. EDN: ONCSB

— Kozlovskiy V. V. (2000) The Figurative Sociology Of Norbert Elias. *The Journal of Sociology and Social Anthropology*, 3(3): 40–59. — in Russ.

Кучер Г. О. (2013) Фигуративная теория Н.Элиаса в современном социологическом дискурсе. *Russian Journal of Education and Psychology*, (2): 41. EDN: QBSKSB

— Kucher O. G. (2013) Figurative Theory By N.Elias In Contemporary Sociological Discourse. *Russian Journal of Education and Psychology*, (2): 41. — in Russ.

Лукашук В. И. (2020) Социология спорта: обзор традиционных зарубежных социологических парадигм и теорий. *Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология*, 26(2): 49–69. EDN: MZCNNW. <https://doi.org/10.24290/1029-3736-2020-26-2-49-69>

— Lukashchuk V. I. (2020) Sociology of sport: a review of traditional foreign paradigms and theories. *Moscow State University Bulletin. Series 18. Sociology and Political Science*, 26(2): 49–69. — in Russ. <https://doi.org/10.24290/1029-3736-2020-26-2-49-69>

Марков, Б. В. (2018) Антропология и социология стыда: размышления о книгах Н. Элиаса, Г.-П. Дюрра и Р. Е. Гергилова. *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены*, (6): 413–425. EDN: YZYIGL. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.6.20>

— Markov, B. V. (2018). Anthropology and sociology of shame: reflections on books by N. Elias, H.-P. Duerf and R. E. Gergilov. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*, (6): 413–425. — in Russ. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.6.20>

Медведев С. А. (2021) Человек бегущий. М.: НЛО.

— Medvedev, S. A. (2021). *Homo of running*. М.: NLO

Столяров В. И. (2023). Ценностные ориентиры современной российской спортивной политики. В книге: *Социальные смыслы спортивной духовности. Материалы Международной научно-практической конференции*. Армавир, 2023: 43-47. EDN: AFLHKR

— Stolyarov V. I. (2021) Value orientations of present-day Russian sports policy. In book: *Social'nye smysly sportivnoj duhovnosti. Materialy konferencii*. Armavir: 43-47. — in Russ.

Элиас Н. (2006) Генезис спорта как социологическая проблема. *Логос*, 54(3): 41–62. EDN: VMLPJJ

— Elias N. (2021) The Genesis of Sport as a Sociological Problem. *Logos*, 54(3): 41–62. — in Russ.

Элиас Н. (2022) Моцарт. К социологии одного гения. М.: НЛО.

— Elias N. (2022) *Mozart: The Sociology of a Genius*. М.: NLO. — in Russ.

Элиас Н. (2001) *О процессе цивилизации: социогенетические и психогенетические исследования*. Т.1-2. М.; СПб.: Университетская книга.

— Elias N. (2001) *The Civilizing Process. Sociogenetic and Psychogenetic Investigations*. Vol.I-II. М.; SPb: Universitetskaya kniga. — in Russ.

Элиас Н. (2002) *Придворное общество: исследование по социологии короля и придворной аристократии*. М.: Языки славянской культуры.

— Elias N. (2002) *The Court Society: Studies on the Sociology of Kingship and the Courtly Aristocracy*. М.: Yaziki slavyanskoi kulturi. — in Russ.

Adelfinsky A. S. (2021) Ordinary, Adequate, and Crazy: Reconsidering the 'Pyramid' Metaphor for Mass-participation Sports. *Russian Sociological Review*, 20(2): 224-249.

<https://doi.org/10.17323/1728-192x-2021-2-224-249>

- Coakley J. & Dunning, E., eds. (2000) *Handbook of Sports Studies*. SAGE Publications.
- Coakley J., Pike, E. (2009) *Sports in Society: Issues and Controversies*. McGraw-Hill Education.
- Curry G. (2019). A Football Man: the contribution of Eric Dunning to the acceptance of soccer as an area for serious academic study. *Soccer & Society*, 20(6), 891-895. <https://doi.org/10.1080/14660970.2019.1596556>
- De Souza J., Starepravo F. A., Marchi W. (2014) The Figurational Sociology of Norbert Elias — Potentialities and Contributions to the Study of Sport. *Revista Brasileira de Ciências do Esporte*, 36(2), Apr-Jun. <https://doi.org/10.1590/S0101-32892014000200011>
- Dunning E., Hughes J. (2013) *Norbert Elias and Modern Sociology. Knowledge, Interdependence, Power, Process*. London: Bloomsbury.
- Dunning E. & Sheard K. (1979) *Barbarians, gentlemen, and players : a sociological study of the development of rugby football*. ANU Press.
- Dunning E., Murphy P. & Williams J. (1988) *The Roots of Football Hooliganism*. London, Routledge.
- Dunning E. G. (1961) *Early Stages in the Development of Football as an Organised Game: An Account of Some of the Sociological Problems in the Development of a Game*. Unpublished MA thesis, University of Leicester, Leicester.
- Dunning E. G. (1963) Football in Its Early Stages. *History Today*, 13(12), December.
- Dunning E. G. (1964) The Evolution of Football. *New Society*, (83), April.
- Dunning E. G. (1999) *Sport Matters: Sociological Studies of Sport, Violence and Civilisation*. London: Routledge.
- Dunning E. (1971) Some Conceptual Dilemmas in the Sociology of Sport. In the book: Albonico, R. & Pfister-Binz K., eds. (1971) *Soziologie des Sports: Theoretische und methodische Grundlagen*. Springer Bazel.
- Dunning E. (2010). Approche figurative du sport moderne: Réflexions sur le sport, la violence et la civilisation. *Vingtième Siècle. Revue d'histoire*, 106(2): 177-191. <https://doi.org/10.3917/vin.106.0177>
- Elias N., Dunning E. (1966) Dynamics of sport groups with special reference to football. *British Journal of Sociology*, 17(3): 388-402.
- Elias N., Dunning E. (1970) The Quest for Excitement in Unexciting Societies. In the book: Luschen, G., ed. (1970) *The Cross-Cultural Analysis of Sport and Games*. Champaign: Illinois.
- Elias N., Dunning E. (1971) Leisure in the Sparetime Spectrum. In the book: Albonico, R. & Pfister-Binz K., eds. (1971) *Soziologie des Sports: Theoretische und methodische Grundlagen*. Springer.
- Elias N., Dunning E. (1972) Chapter 7. Folk Football in Medieval and Early Modern Britain. In the book: Dunning E. (ed.) *Sport: Readings from a Sociological Perspective*. University of Toronto Press. <https://doi.org/10.3138/9781442654044-013>
- Elias N. & Dunning E. (1986) *Quest for Excitement: Sport and Leisure in the Civilising Process*. Oxford: Blackwell.

Elias N. (1972) Chapter 6. The Genesis of Sport as a Sociological Problem. In the book: Dunning E. (ed.) *Sport: Readings from a Sociological Perspective*. University of Toronto Press. <https://doi.org/10.3138/9781442654044-012>

Elias N. (1978) *What is Sociology?* University College Dublin Press.

Giddens A. (1964). Notes on the Concepts of Play and Leisure. *The Sociological Review*, 12(1), 73-89. <https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.1964.tb01247.x>

Giddens A. (1993) Obituary: Professor Ilya Neustadt. *Independent*, 19 february 1993. URL: <https://www.independent.co.uk/news/people/obituary-professor-ilya-neustadt-1473958.html>

Giulianotti R. (2004) *Sport and Modern Social Theorists*. Palgrave Macmillan UK.

Goodwin J.D., Hughes J. (2011) Ilya Neustadt, Norbert Elias, and the Leicester Department: Personal correspondence and the history of sociology in Britain. *British Journal of Sociology*, 62(4): 677-95. <https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2011.01386.x>

Górnicka B., Liston K., and Mennell S. (2015) Twenty-five years on: Norbert Elias's intellectual legacy 1990-2015. *Human Figurations*, 4(3). <https://doi.org/2027/spo.11217607.0004.303>

Goudsblom J. (1977) *Sociology in the Balance*. Oxford: Blackwell.

Gruneau R. (2006). 'Amateurism' as a Sociological Problem: Some Reflections Inspired by Eric Dunning. *Sport in Society*, 9(4), 559-582. <https://doi.org/10.1080/17430430600768793>

178

Hahn, G., Steenhuis, A., Schulz, M.-J., Hetzel H. (2013) Four Interviews with Norbert Elias. *Human Figurations*, 2(2). DOI: 2027/spo.11217607.0002.208

Holt R. & Mason, T. (2001) *Sport in Britain 1945-2000*. Wiley-Blackwell.

Holt R. (1981) *Sport and Society in Modern France*. Palgrave Macmillan.

Kaspersen L. B., & Mulvad A. M. (2017) Towards a Figurational History of Leicester Sociology, 1954-1982. *Sociology*, 51(6), 1186-1204. <https://doi.org/10.1177/0038038516648550>

Kempers B. (1992) *Painting, Power and Patronage: The Rise of the Professional Artist in Renaissance Italy*. London: Allen Lane.

Krumrey H.-V. (1984) *Entwicklungsstrukturen von Verhaltensstandarden: Eine soziologische Prozessanalyse auf der Grundklage deutscher Anstands- und Manierenbücher von 1870 bis 1970*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Law A. (2017) Spontaneous Order and Relational Sociology: From the Scottish Enlightenment to Human Figurations. *Russian Sociological Review*, 16(4): 14-36. <https://doi.org/10.17323/1728-192X-2017-4-14-36>.

Luschen G. (2003) Sociology of Sport: Development, Present State, and Prospects. *Annual Review of Sociology*, 6(1):315-347. <https://doi.org/10.1146/annurev.so.06.080180.001531>

Malcolm D., Waddington I. (2020) Scholar, gentleman and player: a tribute to Eric Dunning, *Sport in Society*, 23(10): 1581-1586. <https://doi.org/10.1080/17430437.2020.1814570>.

Mennell S. (1985) *All Manners of Food: Eating and Taste in England and France from the Middle Ages to the Present*. Oxford: Blackwell.

Mennell S. (2006) The Contribution of Eric Dunning to the Sociology of Sport: The Foundations. *Sport in Society*, 9(4): 514-532. <https://doi.org/10.1080/17430430600768728>

Murphy P., Williams J. & Dunning E. (1991) *Football on Trial: Spectator Violence and Development in the Football World*. London: Routledge & Kegan Paul.

Paulle B., van Heerikhuizen B., & Emirbayer M. (2012). Elias and Bourdieu. *Journal of Classical Sociology*, 12(1), 69-93. <https://doi.org/10.1177/1468795X11433708>

Rojek C. (2004). An Anatomy of the Leicester School of Sociology: An Interview with Eric Dunning. *Journal of Classical Sociology*, 4(3): 337-359. <https://doi.org/10.1177/1468795X04046971>

Sharkov F. I., Silkin V. V. (2020) Sociology of sports and the space of sports practices: Social genesis and sociological theories. *RUDN Journal of Sociology*, 20(1): 137-144. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2020-20-1-137-144>

Stone G. P. (1955) American Sports: Play and Display. *Chicago Review*, 9(Fall):83-100

Swaan A. de (1988) *In Care of the State: The Social Dynamics of Public Health, Education and Income Maintenance in Western Europe and the United States*. Cambridge: Polity Press.

Williams J., Dunning E. & Murphy P. (1984) *Hooligans Abroad: the Behaviour and Control of English Fans in Continental Europe*. London: Routledge & Kegan Paul.

Адельфинский Андрей Станиславович — кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и бизнес», Московской государственной технической университет имени Н.Э. Баумана, Москва, Российская Федерация. Научные интересы: социология спорта, экономика и организация спорта, маркетинг и медиаисследования.

179

ORCID: 0000-0003-0690-8848. E-mail: adelfi@mail.ru

Andrey S. Adelfinsky — Cand. Sci. (Economics), Associate Professor of Economy and Business Chair, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation. Research interests: sports sociology, economics and organization of sports, marketing and media studies.

ORCID: 0000-0003-0690-8848. E-mail: adelfi@mail.ru

Переводы

Леопольд фон Ранке: рождение историзма

ВИТАЛИЙ А. КУРЕННОЙ

Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Москва, Российская Федерация

ORCID: 0000-0002-7198-0910

Рекомендация для цитирования:

Куренной В. А. (2024) Леопольд фон Ранке: рождение историзма. *Социология власти*, 36 (3): 180-214
<https://doi.org/10.22394/2074-0492-2024-3-180-214>

For citations:

Kurennoy V. A. (2024) Leopold von Ranke: The Birth of Historicism. *Sociology of Power*, 36 (3): 180-214
<https://doi.org/10.22394/2074-0492-2024-3-180-214>

Поступила в редакцию: 20.08.2024;
прошла рецензирование:
26.09.2024; принята в печать:
29.09.2024
Received: 20.08.2024; Revised:
26.09.2024; Accepted for publication:
29.09.2024



This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

© 2024 by the author.

Для XIX в. — «века историков» — характерно формирование масштабного явления, которое получило название «историзм»¹. Последний представляет собой специфически модерновый исторический тип сознания, альтернативный по всем основным позициям унитарному рационализму Просвещения. Появление историзма не означало вытеснение просвещенческого типа рационализма: с точки зрения базовой интеллектуальной структуры модерн как таковой является пространством, где соприкасаются обе эти позиции, при этом, впрочем, историзм имеет аргументативные ресурсы для того, чтобы считать себя системой взглядов, включающих в себя основные элементы рационализма, хотя и в ограниченном, «снятом», выражаясь языком Гегеля, виде. На всем протяжении эпохи модерна можно проследить как периоды сбалансированного сосуществования логик просветительского рационализма и историзма, так и периоды, где унитарный рационализм вновь пытается установить свое исключительное господ-

1 В частности: [Майнеке 2004; Трёльч 1994; Iggers 1968, Oexle, Rösen 1996; Beiser 2011; Schubert 2021].

ство, что неизбежно вызывает ограничивающую эти притязания реакцию историзма.

Если допустить, что мы все еще находимся в рамках полноценного модерна, сочетающего обе его указанные конститутивные составляющие (а мы полагаем, что это так), то следует также предположить, что реакция на господствующий до последнего времени комплекс идей, представляющих собой перелицованный извод просвещенческого рационализма, неизбежно будет ограничена реакцией историзма. Для того чтобы лучше понять характер и логику этого процесса, стоит обратиться к моменту зарождения современного историзма и его классикам, поскольку классика имеет несомненное достоинство законченности и простоты формы. Леопольд фон Ранке (1795–1886) является одной из ключевых фигур нарождающегося историзма. Тем самым мы выполняем блистательное отсутствие на русском языке некоторых его ключевых работ и их новых переводов¹, равно как и сколько-нибудь заметных следов рецепции его идей в русской культуре, которая и в отношении его наследия часто ограничивается цитированием одного-двух афоризмов и их вольным толкованием. Ситуация начала меняться лишь в последние годы, после выхода в свет объемной монографии историков Ивановского государственного университета [Черноперов, Усманов вольным толкованием. Наконец, пример Ранке позволяет раскрыть некоторые ключевые характеристики историзма как системы теоретических взглядов и как способа понимания мира, сохраняющего, на наш взгляд, свою неизменную актуальность в современном мире.

Леопольд фон Ранке является одним из основателей истории как современной научной дисциплины², а также ключевой фигурой

- 1 Настоящая статья, как и новый перевод Ранке, является элементом более широкоформатной публикации. В нее входит также находящееся в печати издание: Ранке Леопольд фон. Великие державы. М.: Праксис, 2024 (Библиотека журнала «Россия в глобальной политике»). Это издание, помимо моего предисловия, посвященного, прежде всего, политической теории и политическим взглядам Ранке, включает также перевод его основных работ о политике: «Великие державы», «О влиянии теории» и «Разговор о политике». Некоторые ремарки, содержащиеся в настоящей статье, отсылают к этому изданию переводов и предисловия к нему, эти тексты являются взаимодополняющими элементами целостной работы.
- 2 Что большая редкость в англо-немецких научных отношениях, это признавал даже его младший современник Джон Актон, отмечавший, что Ранке не только написал «большое число в основном превосходных книг — больше, чем кто-либо из живших людей, но и с самого начала приложил все усилия, чтобы объяснить, как это делается. Он достиг положения, не имеющего себе равных в литературе, не столько благодаря проявлению выдаю-

немецкой исторической школы и модернового историзма как такового. Столь значимый вклад в сциентизацию истории, снискавший ему общественный титул «короля историографии» и «инкарнации исторического чувства», объясняется не только личными заслугами Ранке и его необычайной авторской продуктивностью, но и объективными институциональными факторами. Ранке в течение 46 лет был профессором Берлинского университета, с 1825 г. — экстраординарным, с 1834 г. — ординарным¹. Берлинский университет был образован в 1810 г. под административным руководством Вильгельма фон Гумбольдта и стал прототипом современного исследовательского университета, в котором научное исследование превращается в ведущий институциональный императив. Поэтому неслучайно процесс рефлексивного переосмысления и обоснования университетской деятельности в качестве научной в современном смысле слова во многих дисциплинарных сферах, таких как классическая филология, история, философия, юриспруденция, был инициирован именно здесь, сопровождаясь философско-теоретическим размежеванием этих научных дисциплин, заявляющих о своей самостоятельности.

182

Этот процесс шел одновременно с формированием современной инфраструктуры научной коммуникации, а именно — дисциплинарных научных журналов. Здесь Ранке также является пионером в своей области. Несмотря на то что его «*Historisch-politische Zeitschrift*» (Историко-политический журнал, 1832-1836) не был чисто научным, выполняя, как прямо явствует из самого названия, также и политическую функцию, тем не менее именно он считается предтечей современных научных журналов по истории².

щихся способностей, сколько благодаря совершенному владению секретом своего ремесла, и этот секрет он всегда стремился передать другим. Для его наиболее выдающихся предшественников история была прикладной политикой, изменчивым законодательством, религиозным поучением или школой патриотизма. Ранке был первым немцем, занимавшимся ей исключительно ради нее самой» [Acton 1886: 13].

1. Столь длительное ожидание полной профессуры объясняется не отсутствием признания заслуг Ранке со стороны министерства и университета, а периодом финансовых и организационных сложностей, переживаемых Берлинским университетом в этот период [Berg 1968: 24-26].
2. Таких как «*Jahrbücher des deutschen Reiches unter dem Sächsischen Hause*» (Ежегодник германской империи при саксонской династии, 1837-1840) — журнал учеников Ранке, переросший затем в баварский «*Jahrbücher der Deutschen Geschichte*» (Ежегодник немецкой истории, с 1862 г.), «*Zeitschrift für Geschichtswissenschaft*» (Журнал исторической науки, 1844-1848) и «*Historische Zeitschrift*» (Исторический журнал, с 1859 г.).

Наконец, широкую славу в дисциплинарных кругах принес Ранке также его научный семинар, который он начал проводить с 1833 г. — у себя дома по утрам¹. В рамках семинара студенты, добровольно на него записавшиеся, осваивали критический метод Ранке путем самостоятельной работы с текстами. И если в истории немецкой университетской культуры Ранке считается образцом никудышного лектора², в рамках свободной научной работы на семинаре он преображался: все отзывы учеников о его семинаре являются восторженными и благодарными. При этом «он был строг в своих рецензиях и неустанно прививал ученикам три своих принципа — критичность, точность и проницательность» [Berg 1968: 55].

Здесь, разумеется, не место даже для самой общей характеристики всей научной работы Ранке³ — одного из наиболее плодотворных

- 1 [Neugebauer 2018: 185.] Сегодня мы считаем форму семинара само собой разумеющейся в высшей школе, однако до XIX в. семинары существовали в рамках лишь одной дисциплины — классической филологии, позаимствовавшей этот формат у теологов. Появление семинаров в других дисциплинах постепенно происходило лишь на протяжении XIX в. Характерно, что филологический семинар в Берлинском университете, который первоначально вел Август Бёк, был институционализирован и финансировался [Poiss 2009], тогда как семинар Ранке проводился по его собственной инициативе. При этом успех приватного семинара Ранке «парадоксальным образом привел к тому, <...> что Берлин стал одним из последних университетов, в котором появился “исторический семинар”» [Berg 1968: 52 (Anm.)]. О становлении института семинаров в немецких университетах в целом см.: [Grosche 1999]. Появление семинаров по истории и философии указывает на процесс филологизации этих дисциплин.
- 2 Выразительное описание лекционной манеры Ранке оставил наш соотечественник Степан Ешевский, резюмировавший свои впечатления следующим образом: «В общем, нужно хорошо знать и уважать Ранке как писателя, чтобы иметь терпение долго слушать его как профессора и не уйти после первой же лекции с твердым намерением никогда не возвращаться в аудиторию» [Eševskij 1968: 220]. Впрочем, существуют и противоположные, вполне положительные отклики о лекциях Ранке.
- 3 Помимо бесчисленных публикаций, затрагивающих те или иные аспекты наследия Ранке, существуют два основных обобщающих труда, стремящихся в целом представить состояние достигнутого уровня исследований жизни и деятельности Ранке, проанализировать его последующую рецепцию, а также ввести в научный оборот ранее неопубликованные источники, — это работа Ганса Гельмонта [Helmolt 1921] и обширный — почти 1500 страниц — труд Иоганна Гюнтера Хенца [Henz 2014]. Хенц пользуется репутацией наиболее вездельного знатока наследия Ранке: например, после его разгромной рецензии был отозван и полностью переработан первый том критического издания переписки Ранке (см. предисловие к новому изданию: [Ranke 2016]) — исключительный случай для такого рода проектов. Однако его двухтомник, несмотря на огромный охват материала,

историков современности, оставившего после себя еще и один из самых полных архивов, документирующий его жизнь и труды. Тем не менее зафиксируем основные особенности его историографии¹ и ее методологических особенностей², проливающие свет на некоторые основные аспекты его политической теории. Основной вклад Ранке в методологию исторического исследования заключается в широком распространении и популяризации метода критики источников, а также работы в архивах как приоритетной деятельности историка. Ни то, ни другое не было изобретено Ранке, который был филологом по своему университетскому образованию. Методология критики источников была заимствована им у историка античности Бартольда Нибура³, работы которого — наряду с сочинениями Фукидида и Лютера — оказали на молодого Ранке значительное влияние с точки зрения профессионального самоопределения, а в более широкой перспективе — из антиковедения (классической фило-

вызвал и резкие критические отклики. В последней, насколько мы можем судить, крупной англоязычной биографии немецкого историка Андреас Болдт взволнованно осудил автора за подбор преимущественно негативных отзывов о Ранке и общую тенденциозность: «Несмотря на занятия Ранке, Хенц просто проигнорировал все его пожелания относительно того, как должны работать историки. Мы видим, что [господствует] субъективность, которой, как предполагается, следует избегать при критике источников и дальнейшей постановке вопроса об источниках. Хенц остался односторонним в своем изложении, следуя идеологии, которая берет свое начало в 1960-70-х годах» [Boldt 2019: 277]. Широкий срез состояния исследований Ранке на середину 1980-х гг. дают сборники по итогам конференций, организованных к столетию смерти историка: [Mommsen 1988; Iggers, Powell 1990]. На русском языке сравнительно широкое представление о жизни и творчестве Ранке дает единственная названная монография ивановских ученых [Черноперов, Усманов 2021]. Неизменным источником по биографии Ранке и эволюции его взглядов до настоящего времени остается сборник документов, писем и воспоминаний, собранных его ассистентом и учеником Альфредом Дове [Ranke 1890].

- 1 Понятие «историография» здесь используется в смысле истории как научной дисциплины.
- 2 На протяжении длительного периода можно было бы, пожалуй, согласиться со следующим высказыванием В. Бузескула: «Ранке не дал в систематическом виде теории этого метода, его правил; подробно, точно и определенно не формулировал его. В предисловиях к первым его трудам, в автобиографических заметках, в речах по разному поводу рассеяны лишь отдельные замечания» [Бузескул 1926: 1121]. Однако публикации архивных текстов Ранке во второй половине XX в., содержащих конспекты его берлинских лекций, позволяют составить достаточно систематическое представление о его исследовательских и методологических принципах.
- 3 «История Рима» Нибура, — вспоминал Ранке, — это первая немецкая историческая книга, которая произвела на меня впечатление» [Ranke 1890: 31].

логии), представлявшего собой наиболее продвинутую научную дисциплину в эпоху немецкого «филоэллинизма»¹: «Методология, разработанная Ранке, основывалась на классической филологии с ее максимой: проверять источник на достоверность и на соответствие его собственному контексту» [Breisach 2007: 233]. То же следует сказать и о работе в архивах в разных странах Европы. Ее впечатляющий образец дал, например, в начале XIX в. издатель античных авторов и, прежде всего, первого критического издания сочинений Аристотеля классический филолог Иммануэль Беккер [см.: Schröder 2009].

Основная цель критического метода Ранке — последовательный антификционализм, противопоставляемый предшествующему более вольному или прямо литературно-художественному обращению с историей: «Сегодня мы имеем другое понятие об истории. Голая истина без прикрас; основательное изучение единичного; остальное в Божьей воле; только никакой выдумки, даже в мелочах, только никаких химер» [Ranke 1824: 28].

Второй основной аспект методологии Ранке связан с так называемым принципом «объективности и беспартийности». Самый, пожалуй, расхожий афоризм Ранке из предисловия к первой его значительной работе «История романских и германских народов 1494–1514 гг.» является одной из формулировок именно этого принципа:

185

1 Программу филологической критики источников обычно отсчитывают от работы Фридриха Августа Вольфа, систематизировавшего основы антиковедения [Wolf 1807; ср. также: Daston, Most 2015], от нее же — наряду с прусской образовательной реформой Вильгельма фон Гумбольдта — датируется начало эпохи «филоэллинизма» в Германии. Конец этой эпохе положило выступление Вильгельма II на конференции учителей в 1890 г., где он высказался за сокращение изучения античности и древних языков в пользу более национально-ориентированного образования [см.: Поле 2021: 95–106]. Роль классической филологии и антиковедения в этот период Энтони Графтон резюмирует следующим образом: «...классическая филология сыграла ключевую роль в немецкой культуре XIX века. В качестве научной дисциплины она стала полем деятельности для ряда наиболее своеобразных немецких мыслителей. В качестве предмета, который являлся приоритетным в гимназическом и университетском образовании, она способствовала формированию социального слоя чиновников, которые во многом задавали тон публичной жизни Германии. В качестве всеобщей сокровищницы идей, образов и впечатлений она служила связующим звеном почти для всех образованных жителей Германии, придавая единообразную форму мыслям и стилю людей, которые во всем прочем придерживались взаимоисключающих убеждений. Сознание того, что Маркс, Ницше, Лагард и Фрейд при своей гипотетической встрече запросто могли бы раскритиковать теории друг друга не только по-немецки, но и на латыни, настраивает на трезвый тон» [Графтон 2006].

«Истории приписали обязанность обращаться к прошлому, чтобы поучать современников на пользу будущего; но столь высокие обязанности настоящий опыт на себя не возлагает: он стремится только к тому, чтобы показать, как это, собственно, было (bloß sagen, wie es eigentlich gewesen)» [Ranke 1885: VII].

Это высказывание сегодня обычно снисходительно-критически истолковывается в смысле наивного реализма¹, и, действительно, оно «настолько часто упоминается в критическом контексте, что уже кажется анекдотичным» [Егоров 2015: 16]. Подобная критика, разумеется, является нерелевантной, игнорирующей многочисленные разъяснения самого Ранке и элементарный содержательный контекст приведенного высказывания. Речь здесь идет в первую очередь о воздержании от оценочных суждений, продиктованных «партийной» позицией. Дело историка — не проверять правильность мнений, а иметь дело с тем, что существует и оказывает решающее влияние в политических или ценностных вопросах. Максима «беспартийности» была заложена в качестве одного из принципов либеральной модели образования, реализованной при учреждении нового Берлинского университета². Применительно к университетской деятельности этот принцип равным образом отстаивает также ближайший единомышленник Ранке по университету в 1830-х гг. — Карл Фридрих фон Савиньи³. Наиболее известным его изложением

186

1 Вот типичный пример такого архаизирующего вырывания этой фразы Ранке из контекста, да еще и в форме обобщения на всю эпоху: «Историки XIX века исходили из тождественности истории как прошлой реальности и истории как знания о прошлом, видя свою задачу в установлении всех фактов прошлого, то есть приведения объема знаний в соответствие с объемами прошлых событий» [Курилла 2018: 77]. При этом Хейден Уайт, которому тот же автор ниже поет дифирамбы [Op. cit.: 111], пытается рассказать историю современной историографии как историю поступательного прогресса, намного лучше понимает смысл ранкеанского историзма (или «организма»), ср.: «В органицистской концепции объяснения неясность в анализе является до некоторой степени несомненной ценностью, необходимой для восприятия исторического поля как такого места, где существенная новация происходит при условиях, которые по сути своей непознаваемы. В этом и заключается реальное содержание претензии к “эмпирическому” методу в историческом исследовании Ранке и его последователей. Этот “эмпиризм” идет не столько от строгого наблюдения частных фактов, сколько от решения считать определенные процессы по природе своей сопротивляющимися анализу, а определенного рода понимание — по сути ограниченным» [Уайт 2002: 223].

2 См.: [Куренной 2020b: 26-27].

3 [Savigny 1850: 303-305.] Эта основная работа Савиньи, посвященная специфике немецких университетов, впервые была опубликована в «Историко-политическом журнале» Ранке в 1832 г.

в современных научных кругах является доклад Макса Вебера «Наука как призвание и профессия» (1917), который представляет собой лишь одну из многочисленных его актуализаций: согласно Веберу, в университетских стенах ученый должен руководствоваться только «интеллектуальной частностью» и «долгом — искать истину» [Вебер 1990: 722]. Против этого принципа Ранке в историографии последовательно выступал И.-Г. Дройзен¹ и более молодое поколение немецких националистически ориентированных историков², так называемая прусская, или малогерманская школа³. Содержательный смысл этого принципа сам Ранке разъяснял, в частности, следующим образом:

«Истинная история стремится к рассмотрению объективного; она должна возвышаться над любой партийной точкой зрения. По своей природе она содержит моральный и религиозный элемент. Но моральный элемент состоит не в том, чтобы всех и каждого оценивать и судить, исходя из предвзятых представлений; религиозный элемент состоит не в том, чтобы, так сказать, добиваться права на существование для одного особого вероисповедания, к которому принадлежит человек, принижая и умаляя все остальные. А в том, чтобы быть справедливым по отношению к любому моральному и религиозному существу. Долг (Amt) истории в следующем: познавать бессмертную душу человека и рассказывать о ее явлении на земле. Любое отбеливание несправедливости неприемлемо и его следует избегать; равно как неприемлемо продолжать плести паутину злобных страстей, которые переполняют нашу эпоху и идут по стопам человека. Поэтому самое важное — понимать позицию каждого, однако для этого [необходимо] исчерпывающее знание того, что его [определяет]» [Ranke 1975a: 294].

187

Таким образом, здесь предвосхищается тот же ценностный парадокс, который мы затем находим у Вебера: объективность или сво-

- 1 О партийности («презентизме») историографии Дройзена см.: [Куренной 2020а: 57-58].
- 2 Собрание уничижительных эпитетов малогерманских историков в адрес «политического темперамента» Ранке см.: [Rothacker 1930: 160]. Развернутую панораму критических отзывов об «исторической критике, объективности и беспартийности» Ранке см.: [Henz 2014, I: 152-186].
- 3 Скорее всего именно эту группу историков имеет в виду М. Вебер, когда замечает: «Я готов найти в работах наших историков доказательство того, что там, где человек науки приходит со своим собственным ценностным суждением, уже нет места полному пониманию фактов» [Вебер 1990: 723]. Примечание переводчика к этому месту в цитированном русском издании, где оно рассматривается как жест размежевания с «историцизмом» и В. Дильтеем, дает, на наш взгляд, ложную подсказку читателю. Вебер здесь лишь воспроизводит максимум объективизма и беспартийности Ранке, критикуя более молодых критиков последнего.

бода от ценностей понимается как следование собственным ценностям научного исследования. При этом в своем курсе лекций «Идея универсальной истории» (1831) Ранке прямо отождествляет политическую позицию историка с положением между двумя главными современными партиями, борьба между которыми проходит под лозунгами «движение» (требование немедленных и постоянных революционных преобразований) и «сопротивление» (требование неизменного сохранения текущего положения дел). Позиция историка является срединной: «История существенно отличается как от тех, которые требуют и любят вечно неизменное, так и от тех, которые требуют беспрестанного движения» [Ranke 1975b: 82]. Таким образом, эта позиция может быть определена как умеренный, реформационный или либеральный консерватизм, который формально определяется по отношению к желаемой динамике преобразований современного общества¹ — именно эта позицию в полной мере характеризует политические взгляды Ранке. Примечательно, что она обосновывается им как вытекающая из самого характера научного подхода историка к своему предмету, который избегает «насилия» над ним, иными словами, ценностная метаполитическая нормативность выводится здесь Ранке из имманентной логики самого научного исследования истории.

188

Следующий смысловой аспект принципа объективности позволяет развеять другой предрассудок, состоящий в том, что подход Ранке редуцирует историографию к фактологии или хронологии событий. Но история для Ранке, разумеется, не сводится к литературно декорированной хронике фактов, к одному лишь исследованию частных («единичностей»). Она должна начинаться с этого, может также этим и ограничиться, но внутренне стремится к установлению более сложных и глубоких исторических взаимосвязей.

Ранке прямо настаивает, что исследование любой исторической частности — легитимная цель исторической науки, противопоставляемой тем самым спекулятивной философии гегелевского и фихтеанского типа: «Тогда как философ, рассматривая историю из своего собственного поля, видит бесконечное только в движении вперед, в развитии, в целостности (Totalität), история познает бесконечное в любой экзистенции, в любом состоянии, в любом суще-

1 Ср. симптоматичный сдвиг этой базовой трехчастной политической шкалы у И. Валлерстайна [2001: 302-323]. Если у Ранке партия революционных изменений — это либеральная позиция в духе движущей идеологии Французской революции, то для Валлерстайна это уже «социалистическая» позиция, «консерваторы», согласно последнему, стремятся до последней возможности сдерживать изменения, а «либералы» выступают за планомерную рациональную реформу.

стве; [всюду видит она] нечто вечное, исходящее от Бога, — таков ее жизненный принцип» [Op. cit.: 77]. Этой формулировкой Ранке фактически объявляет о «конце большого нарратива» в духе философии истории и историографии Канта, Фихте и Гегеля, а значит, и рождении того, что намного позднее стали называть «постмодернизм»¹.

Такого рода исследованием отдельных — фрагментированных, как сказал бы современный эпистемолог историографии, — единичных «экзистенций» историк вполне может и ограничиться. Однако внутренняя логика исторических взаимосвязей требует, согласно Ранке, перехода исторического исследования на следующий уровень сложности, состоящей в поиске «каузальной взаимосвязи» (Kausalnexus): «То, что существует одновременно, затрагивает друг друга и воздействует друг на друга; предшествующее обуславливает последующее; существует внутренняя связь причины и следствия, и даже если она не может быть обозначена посредством датировок, от этого она не существует в меньшей степени: она существует, а поскольку она существует, то мы должны искать, познавать ее» [Op. cit.: 79]. Возникающий в ходе

1 Ироничные критики поспешной претензии постмодернизма на эпохальную новизну нового исторического этапа давно указывали на его далеко не оригинальный характер. Герман Люббе, обращаясь к таким характеристиками постмодерна, как распад стилевого единства, практика исторического цитирования и т. д., прямо определяет постмодерн как всего лишь «историзированный модерн» [Люббе 2016: 77-87]. На структурный изоморфизм историографии и постмодернизма указывали и сами его представители. В частности, Ф. Р. Анкерсмит развернул этот тезис в статье «Историография и постмодернизм», где последний рассматривается как некий дальнейший шаг развития проекта современной историографии как таковой. Дистанцию по отношению к «модернистской» историографии здесь удается достичь за счет чрезвычайно распространенного у современных историков историографии приема — архаизации позиций классиков современной историографии. Базовая метафора Анкерсмита — образ дерева. «Эссенциалистская традиция» фокусирует свое внимание на стволе дерева (это спекулятивная традиция). «Историзм и модернистская историография», отказываясь от априорных схем, концентрируется на ветвях дерева, но продолжает считать, что «в конце концов сможет что-то сказать об этом стволе». Наконец, постмодернистская историография сосредотачивается исключительно на листе этого дерева, для нее «история — это «дерево без ствола» [Ankersmit 1989: 149; 152]. В приведенной цитате из Ранке прекрасно видно, что он признает научно легитимными в историографии занятия «любой экзистенцией», любой частной деталью, т. е. «листвой» безо всякого обращения к «дереву» в целом или другим его более крупным частям. Если придерживаться этой метафоры Анкерсмита, то картина получается безотрадной: от полноценного дерева остался лишь ворох листьев. О проблематике историзма в контексте дискуссий о постмодернизме см. также: [Steenblock 1991].

выявления причинно-следственных взаимосвязи тип исторического объяснения, согласно пояснениям Ранке, можно определить как объяснение поведения на основании мотивов — то, что Макс Вебер называет потом «понимающим объяснением», а современные исторические эпистемологи — «причиной, связанной с намерениями» [Мегилл 2007: 412]. Лишь при отсутствии необходимых сведений о мотивах историк может прибегнуть к гипотетическим допущениям: «В первую очередь на основании подлинных сообщений необходимо исследовать с наибольшей возможной точностью, можем ли мы раскрыть подлинные стимулы (*Antriebe*); чаще, чем мы склонны думать, это возможно; и только если мы не имеем возможности продвигаться далее, нам позволительно дать волю предположению» [Ranke 1975b: 80].

Наконец, историк делает следующий шаг — к «постижению целостности» (*Auffassung der Totalität*) — причем как в национальной, так и во всемирной исторической перспективе. Приведем следующую развернутую цитату, которая раскрывает как допущения, на которых Ранке основывает возможность и потребность в поиске исторической целостности, так и принципиальные ограничения в ее нахождении:

190

«Если существует некоторая жизнь, то мы постигаем ее явления; мы воспринимаем последовательность, обусловленность одного момента другим; одного этого достаточно; и все же в этом есть нечто целостное; существует становление, действительность, заявление своих прав, исчезновение. Тотальное столь же достоверно, как и любое [частное] выражение в каждый отдельный момент. Мы должны уделить ему все наше внимание. Если существует некий народ, то существуют не только отдельные моменты его живых проявлений, но из целого его развития, его деяний, его институтов, его литературы к нам обращается определенная идея, которой мы не можем не уделять нашего внимания. Чем далее мы продвигаемся, тем сложнее, конечно, к ней приблизиться; ибо здесь мы также можем о чем-то говорить лишь посредством точного исследования, пошаговой аппроксимации того, что сообщают нам поступившие документы; посредством индукции на основании хорошо известного, а не гадания на малоизвестном, не посредством философов. Мы видим, как бесконечно сложно обстоят дела с универсальной историей. Какие бесконечные массы! Какие различные устремления! Какие трудности даже в познании единичного! Так как мы, сверх того, еще и многого не знаем, мы всюду хотим постичь хотя бы каузальную взаимосвязь, не говоря уже о том, чтобы проникнуть в сущность целостности. Полностью разрешить эту задачу я считаю невозможным. Всемирная история известна только Богу. Мы познаем противоречия, “гармонии, — как сказал один индийский поэт, — известны богам, но неизвестны людям”, мы обречены на то, чтобы лишь приближаться к ним издали. Но для нас ясно наличие единства, движения вперед, развития» [Or. cit.: 82-83].

Таким образом, ранкеанская методология исторического исследования позволяет выделить четыре основных типа предусматриваемой ей историографии: 1) исследование «единичного», «любой экзистенции», то, что сегодня называется микроисторией, 2) истории более широких контекстов с точки зрения «каузальной взаимосвязи», а также исследование больших «целостностей», 3) жизнь народов и, наконец, 4) всемирной истории. Этот последний уровень, поясняет А. Мегилл в своем анализе ранкеанской историографии, от современных историков «скрыт, но *идея* его нам знакома, это идея большого нарратива единой истории человечества» [Megill 1995: 157-158; Мегилл 2007: 280-281]. Ранке отличается от многих современных историков не только тем, что исходит из предположения об онтологическом единстве мира и исторического процесса, но также тем, что можно назвать эпистемологическим оптимизмом: хотя мы никогда не постигнем всемирную историю человечества в целом, но мы все же стремимся и способны двигаться в этом направлении.

Однако это движение отличается от образа неумолимого и необратимого прогресса научного познания в духе рационализма Просвещения. Ограниченность человеческих способностей и историчность самого существования человека выражается также в том, что исторические исследования, выполненные даже с максимальным стремлением к объективности и беспартийности, никогда не достигают полной достоверности: «История всегда переписывается <...> Каждая эпоха и ее преобладающее направление присваивает ее себе и переносит сюда ее мысли», — гласит одна из дневниковых записей Ранке [Ranke 1890: 569]¹. Из этого не следует релятивистского вывода «anything goes» в духе П. Фейерабенда, однако следует, что историк может предложить тот образ всемирной истории, который доступен в пределах его собственного, как выразится потом Вильгельм Дильтей, исторического горизонта познания². Что и делает сам Ранке

- 1 Подробный анализ того, как тезис о возможности и необходимости переписывать историю соотносится с принципом объективности, см.: [Berg 1968: 104-218]. Несмотря на то что в отношении Ранке накоплено немало упреков в том, что он сам не следовал собственному принципу объективности, общий вывод Берга заключается в том, что этот принцип сопрягался у Ранке с открытостью к переписыванию истории вслед за изменением и уточнением нашего ее познания и понимания. Познание абсолютной истины в истории недоступно человеку, а «живое стремление к истине неизменно сопряжено с заблуждением» [Op. cit.: 2017].
- 2 Понятие «горизонт познания» было введено Я. Фризом, различающим его «объективный», связанный с ограничениями человеческого разума как такового, и «субъективный», связанный с индивидуальными особенностями человека, характер [Fries 1804: 150-151 (§ 184)]. В плоскости исторического познания В. Дильтей придал понятию «горизонт» смысл перспективистской

не только в своих разрозненных размышлениях об универсальной истории в целом, но и обратившись в последние годы жизни к написанию развернутой «Всемирной истории» на основании своих многочисленных и чрезвычайно разнообразных — по европейской географии и периодам — предшествующих исследований. Тем самым, добавим, подарив грядущим поколениям возможность сопоставлять его видение и понимание с их собственным историческим горизонтом познания.

В изложении многих современных эпистемологов и историков современной историографии ее развитие предстает как последовательная утрата научного оптимизма, характерного как для Ранке, так и, например, для Дройзена. Это развитие представляет собой, так сказать, последовательно прогрессирующий регресс эпистемологических амбиций исторической науки. Например, А. Мегилл приводит типологию отношений к возможности написания «когерентной», или единой истории, которая завершается следующей наиболее поздней установкой: «Предположение, что единственная История существует, не может быть поддержано, ни субъективно, как научное предприятие, ни объективно, как действительный большой нарратив, который можно рассказать сейчас или в будущем» [Megill 1995; ср.: Мегилл 2007: 270-313]. Что такой нарратив не может быть рассказан «сейчас или в будущем», в абсолютном смысле согласился бы также и Ранке, но при этом он считал, что стремление и попытки его изложить легитимны для историка и исторической науки.

192

Приведенный тезис современного эпистемолога истории, состоящий в том, что прогресс современной историографии ведет к критической утрате веры в то, что единый нарратив когерентной истории когда-либо может быть рассказан, возвращает нас к проблеме фикции в исторической науке и, соответственно, антификционализму Ранке. Один из «постулатов» того же А. Мегилла в отношении того, как сегодня должны быть организованы историческая наука и исторические исследования, прямо утверждает, что всякое историческое исследование создает «фиктивный» предмет, хотя и «не из ничего» [см.: Мегилл 2007: 309-311]. Сделаем здесь небольшое отступление по существу данного вопроса, поскольку стирание границы между реальным и фиктивным

возможности, присущей историческим наукам о духе: «...позиция сознания и горизонт времени всякий раз образуют предпосылку того, что исторический мир видится данной эпохе некоторым определенным образом: различные эпохи наук о духе словно бы пронизаны теми возможностями, которые предоставляют перспективы исторического видения» [Дильтей 2004: 44].

является, в частности, ключевым пунктом, который отстаивают американские «новые интеллектуальные историки», неизменно выбирающие именно Ранке в качестве предмета своих критических атак по причине, разумеется, его «консерватизма» [Егоров 2015]. Едва ли стоит добавлять, что эта проблема находится также в центре актуальных вопросов и дискуссий, связанных с проблемой «фальсификации исторических фактов» и «искажения истории». Стирание границы между научно установленным фактом (на данный исторический момент и в рамках принятых научных процедур) и фикцией противоречит смыслу научной деятельности как таковой, если не понимать под последней просто особый вид литературы, имманентно разыгрываемой по якобы «научным» правилам (чтение и написание текстов определенной стилистики, аппарат ссылок на литературу и т. д.). Стремление Ранке к постижению исторической реальности («только никакой выдумки, даже в мелочах, только никаких химер»), а также ориентация на то, чтобы постичь ее в максимально большей полноте, совершенно не нуждается в метафизических предпосылках, вере в творца мира или консерватизме — факторы, которыми обычно объясняют «наивный» реализм Ранке. Это стандартная установка ученого-историка и современной научной деятельности как таковой, и этот момент неслучайно акцентирован Ранке, поскольку именно на его долю выпало решение задачи научной легитимации историографии в рамках современной модели исследовательского университета. Ровно такие же представления о характере научного поиска выводятся из совершенно иных, секуляризованных оснований. Для сравнения мы приведем здесь ход аргументации, предложенный более поздним мыслителем, относящимся к совершенно иной интеллектуальной и философской культуре, обратившись к прагматизму Ч. С. Пирса¹. Реальность, противоположностью которой является фикция, определяется Пирсом в 1868 г. следующим образом: «Реальное, таким образом, — это то, к чему рано или поздно приведут информация и рассуждения, и что, следовательно, не зависит от наших с вами капризов. Таким образом, само происхождение концепции реальности показывает, что эта концепция, по сути, включает в себя понятие *общности*, не имеющей определенных границ и способной к определенному росту знаний»². Смысл сказанного заключается в том, что реаль-

- 1 Согласно фундаментальной интерпретации К.-О. Апеля (2001) излагаемый далее аспект философии Пирса можно рассматривать как специфическое преобразование трансцендентализма Канта в регулятивный семиотический трансцендентализм коммуникативного сообщества ученых.
- 2 Peirce 1934 [Peirce Charles Sanders. The Collected Papers (CP), 5.311].

ность — это то, что независимо от мыслей или представлений какого-то субъекта, хотя сами наши мысли и представления — включая сновидения [Пирс 2000: 148] — также являются реальностью своего рода, которую, впрочем, пока еще не научились полноценно наблюдать другие. Но в отношении реальности существуют расхождения между людьми, для разрешения которых и требуется указанное «сообщество», а именно открытое сообщество ученых-исследователей. Поскольку только это сообщество, объединяемое понятием «наука», смогло выработать процедуры разрешения спорных вопросов на основании определенных рациональных процедур — используемых методов исследования, правил аргументации и т. д. Поэтому, замечает Пирс в своей более поздней работе «Как сделать наши идеи ясными» (1878): «Всякий человек науки (в отличие от тех философов, которые не верят, что спорам когда-либо может быть положен конец. — В. К.) <...> живет светлой надеждой на то, что в ходе исследования, если таковое продолжается достаточно долго, может быть получено определенное решение каждой проблемы, на которую исследование направлено» [Пирс 2000: 150]. В начале пути ученые могут использовать разные подходы и методы, расходиться в своих выводах и т. д., однако ход исследований и дискуссий ведет к одному «устойчивому центру»: «Под мнением, которому судьбой уготовано стать общим соглашением всех исследователей, мы имеем в виду истину, объект же, репрезентируемый таким мнением, есть реальный объект» [Op. cit.: 151]. Для того чтобы «в конечном счете» (in the long run) достичь такого «окончательного мнения» (final opinion), может потребоваться сколько угодно времени, более того, движение в этом направлении не зависит даже от существования самого человечества: «Если, по исчезновении рода людского, возникнет иная раса, обладающая исследовательскими способностями, такое истинное мнение останется единственным, к установлению которого она должна прийти в конечном счете» [Op. cit.: 152]. Наконец, обращаясь, по-видимому, к самому сложному вопросу научного познания, который Ранке считал неразрешимым, — познанию исторического прошлого, следы которого навсегда утрачены, Пирс выражает по этому поводу ничем не ограниченный эпистемологический оптимизм:

«...самому духу философии противно предполагать, что исследование не приведет к решению всякого обладающего ясным значением вопроса, если оно будет продолжаться достаточно долго и продвинется достаточно далеко. Кто может с уверенностью сказать, чего мы не будем знать через несколько сотен лет? Кто способен предугадать результат научной работы ближайших десяти тысяч лет, если она будет продолжаться с интенсивностью последних ста? А если бы эта работа продолжалась миллион, миллиард или любое количество лет,

какое только вам будет угодно, как возможно утверждать, что существует хоть один вопрос, который бы не нашел в конце концов своего решения?» [Op. cit.: 153]

Таким образом, данная прагматическая концепция истинности и реальности Пирса¹ во всех основных чертах соответствует представлениям Ранке о возможности и необходимости движения историографии в направлении универсальной истории, достижимой, правда, лишь «в конечном счете».

Более того, немецкие философы-идеалисты в своих представлениях о возможности достижения полного согласия «в конечном счете» были даже гораздо менее оптимистичны, чем американский прагматист Пирс. Когда Ранке говорит: «Всемирная история известна только Богу» — то здесь мы видим прямой отголосок размышлений Фихте о призвании ученого, некоторые из которых произвели огромное впечатление на юного Ранке². Согласно Фихте, ученые представляют собой передовой педагогический отряд человеческого общества: «ученый <...> — по своему назначению есть *учитель* человеческого рода» и «ученый — *воспитатель* человечества» [Фихте 1995: 510-511]. Последняя же, высшая цель человеческого общества и истории — «полное согласие и единодушие со всеми возможными его членами», т. е. достижение, по сути, такого состояния, которое Ч. С. Пирс приписывает открытому коммуникативному сообществу ученых «in the long run». Согласно Фихте, однако, достижение такого состояния для человеческих существ невозможно: «Но так как достижение этой цели, достижение назначения человека вообще предполагает достижение абсолютного совершенства, то <...> [оно] недостижимо, пока человек не перестанет быть человеком и не станет Богом. Полное согласие со всеми индивидуумами есть, следовательно, хотя и *последняя* цель, но не *назначение* человека в обществе» [Op. cit.: 495]. Поскольку и ученый, разумеется, не перестает быть человеком, то и для научного сообщества указанное состояние «полного согласия и единодушия» также недостижимо, что означает, как и подчеркивает Ранке, недостижимость — даже если следовать аргументу Пирса об экстраполяции процесса исследования в будущее — для человека окончательного знания о реальности универсальной истории.

1 Продолжающая, заметим, играть ключевую роль в современной коммуникативной философии, в особенности — у К.-О. Апеля и Ю. Хабермаса, о чем, видимо, плохо осведомлены современные «новые интеллектуальные историки».

2 См., в частности: [Fulda 1996: 332].

Это отступление в проблему стандартной научной установки на поиск истины и реального положения дел, в определении которой сходятся Ранке и Пирс, сделано здесь не только и не столько с целью указать на ее размывание у современных историков и эпистемологов научной историографии под влиянием постмодернизма, лингвистического и нарративного поворота и т. д. Намного более серьезный вопрос заключается в более фундаментальных структурных причинах этой трансформации в современных западных обществах. В них, действительно, происходит изменение базовых представлений об истории: «Все больше признаков того, что фундаментальные идеи, которые ассоциировались с концепцией истории на протяжении более двухсот лет, начинают давать сбои. Разрушение общепринятых представлений об истории как о едином, целенаправленном плане лучшего будущего напрямую связано с реорганизацией историко-культурного режима времени, происходящей в нашем настоящем» [Schubert 2021: 10]. Какие же фундаментальные сдвиги определяют здесь распад современного представления об истории, лежащего также в основе изменений представлений о возможностях и границах научной историографии? В русле затронутого здесь вопроса можно выделить две таких основных трансформации: субъективация и фикционализация реальности.

196

Субъективационный сдвиг фиксируется всеми основными направлениями современных социальных и культурсоциологических исследований, хотя и артикулируется различными категориальными средствами. В современных развитых обществах, в которых проблема материального благополучия и безопасности является решенной для большинства населения, на первый план выходят, согласно Р. Инглхарту, «постматериалистические», или «постмодернистские» ценности самоактуализации и субъективно ощущаемого качества жизни, насыщенность, интенсивность и глубина собственных переживаний и впечатлений, стремление прожить «счастливую жизнь» самостоятельно, не ориентируясь на функциональные внешние блага и социальный успех, основанный на следовании социально-стереотипным моделям¹. Подобная же трансформация в культурсоциологии «обществ переживаний» Г. Шульце описывается как изменение структуры социального действия, сменяющей вектор своей ориентации с внешнего на внутренний [Schulze 2005]. Это изменение можно охарактеризовать также как переход от «номоцентрической» (ориентированной на внешнюю норму) к «автоцентрической» установке. Появление автоцентрического менталитета означает, что центр ориентации

1 См.: [Инглхарт 2018; Инглхарт, Вельцель 2011].

и ценностей людей смещается извне внутрь. «Уже 30 лет назад было зафиксировано появление человека, “ориентированного внутрь”, и этот тип особенно распространен среди молодых людей» [Klages, Gensicke 1994: 681]. Аналогичный субъективационный сдвиг в рамках «модернизации» современных развитых обществ фиксирует и множество других социальных исследователей [ср.: Липовецкий 2001; Реквиц 2022].

Фикционализация реальности в современных обществах имеет столь же всеобъемлющие формы проявления. Огромная суггестивная сила «фабрики грез» была очень быстро распознана всеми политическими силами уже в начале XX века, а в некоторых случаях это понимание дополнялось также нетривиальным анализом механизма воздействия фиктивной кинематографической реальности. Так, в 1936 году глава Римско-католической церкви папа Пий IX даже выпустил специальную энциклику, посвященную кинематографу, — «Vigilanti Cura» (О движущихся изображениях), где писал, в частности, следующее: «Сегодня нет более сильного средства воздействия на массы, чем кино — в силу ли самой природы образов, которые проецируются на экран, в силу ли популярности этого зрелища или же в силу других обстоятельств, которые его сопровождают. Власть фильма основывается на том факте, что оно вещает посредством образа — живо и наглядно. <...> Кино воспринимается душой с удовольствием и без усталости, также и необразованными и простыми душами, которые не способны и не чувствуют потребности утруждать себя абстракциями или логическими умозаключениями; чтение и слушание все еще требуют определенного усилия, которое, напротив, в случае фильма заменяется непрерывным чувством удовольствия от вида следующих друг за другом и, так сказать, живых образов. В звуковом фильме эта власть усиливается, так как толкование событий становится еще более легким и к этому зрелищу добавляются чары музыки». С трансформацией кинематографического экрана в телевизионный его воздействие приобрело еще более всеобъемлющий характер: «Есть телевизор — мне дом не квартира: я всю скорбь скорблю мировой, грудью дышу я всем воздухом мира ...» (В. Высоцкий). Не будем углубляться в тривиальные рассуждения о том, как эту тенденцию проникновения фикции в реальность усилили современные медиа, средства коммуникации, технологии дополненной реальности и т. д. Расширение цифрового потока доступной информации способствовало отнюдь не развитию способности индивида противостоять аналоговым средствам информационной манипуляции и пропаганды, но лишь стимулировало процесс фрагментации различных фиктивных миров. Непреодолимость стен между ними тем более поразительна оттого, что их отделят друг от друга нажатие всего лишь несколь-

ких клавиш на клавиатуре компьютера. Менее очевидным является процесс, диагностированный О. Марквардом в эссе «Искусство как антификция — опыт о превращении реального в фиктивное» [Марквард 2001]. По мере того, как современные «философы подозрения», начиная с Маркса, Ницше и Фихте, упражнялись в разоблачении реальности как фикции, искусство, которое все больше растворяется во всеобъемлющей эстетической среде нашего мировосприятия, напротив, приобретает все больше признаков реальности. Если вспомнить такой классический признак реальности по отношению к сновидению, как его длящийся характер (А. Шопенгауэр), то можно заметить, что мир современных сериалов и разнообразных «киновселенных», длящихся десятилетиями, по сути, намного более реален, чем реальность нашей переменчивой фактической жизни. Старая любимая мелодия, которую можно прослушать в любой момент в любой житейской перипетии, — таков, пожалуй, современный аналог дедовского способа ущипнуть себя, чтобы отличить реальность от фикции сновидения.

198

Таким образом, нарастающая критика принципа объективности Ранке в узких кругах историков и эпистемологов исторического познания является симптоматичным индикатором более широких и фундаментальных процессов, протекающих в современных обществах, — субъективации и фикционализации. Отсюда также можно заключить, что контакт с реальным миром по меньшей мере в историографии не утрачен до тех пор, пока в ней все еще соблюдается этот ранкеанский принцип.

С философско-технической точки зрения вопрос об «объективности и беспартийности» исторического познания, требуемых Ранке, распадается на две проблемы: ограничений со стороны объекта и ограничений со стороны субъекта познания¹. С объектной стороны, позиция Ранке состоит в том, что объективное историческое познание возможно настолько, насколько простираются письменные источники², поэтому, в частности, нам недоступно позна-

1 Наиболее развернутый и, на наш взгляд, фундированный анализ проблемы объективности у Ранке см.: [Beig 1968: 104-218]. Здесь мы опираемся, прежде всего, на эту интерпретативную экспликацию данного вопроса. О реализме Ранке и его актуальности для современных историков см. также: [Boldt 2014].

2 Данная позиция находит своеобразный отклик также в позднейшей культурной антропологии, которая подчеркивает необходимость письменной и визуальной фиксации жизни, устного наследия и т.д. изучаемых бесписьменных народов: «Даже если стремительно распространяющаяся европейская форма культуры уничтожает все чужие, в основном более “примитивные” формы культуры или народные культуры, в этнографической монографической литературе все же накоплен материал, который можно

ние всей всемирной истории человечества: «Сама по себе история должна охватывать всю являющуюся во времени жизнь человечества. Но слишком многое из этого потеряно и неизвестно. Первые периоды ее существования, как и промежуточные, утрачены без всякой надежды на то, что они будут найдены» [Ranke 1975b: 84]. Что же касается материальных исторических памятников, то для Ранке они «молчаливы и односложны». Их изучение, полагает он, «нигде не развито настолько точно и понятно, чтобы его результаты можно было включить в историю», памятники могут быть источниками знания лишь «постольку, поскольку они становятся понятными через свои надписи»¹. Столь же сдержанно Ранке относился к возможности привлечения историком других научных дисциплин (геологии и антропологии в духе эпохи Просвещения), ценности для истории мифологических и религиозных представлений, а также к продуктивности изучения народов, которые до настоящего времени пребывают в «естественном состоянии» и, предположительно, «сохраняют состояние первобытного мира» [Ranke 1975b: 85; См. также: Berg 1968:184-185]. При этом он отмечал полезность для исторических исследований сравнительной филологии, особенно для периода переселения народов, уделял внимание неписьменному наследию Античности. Однако даже там, где подобная ценность признается, она не выходит за пределы роли «вспомогательной науки» [Berg 1968: 187, 185], — в этом проявляется последовательность Ранке в обосновании дисциплинарной самостоятельности истории. Поэтому распространенные упреки Ранке в том, что он затормозил развитие историографии, игнорируя новые теоретические направления, связанные с политэкономией или социологией, не являются убедительными: это была осознанная позиция, нацеленная

назвать нетленным сокровищем культурно-исторических документов» [Frobenius 2021: 14].

- 1 Цит. по: [Berg 1968: 187]. Такая текстоцентричность однозначно ставит Ранке на сторону «филологии слов» в одной из ключевых гуманитарно-научных дискуссий XIX в., разразившихся в немецкой классической филологии между Августом Бёком и Готфридом Германом. Упрощая, смысл этого противостояния, известного как спор «Sach- vs. Sprachphilologie» («филология вещей против филологии слов»), состоял в том, что, согласно Герману, наука об античности должна ограничиваться только областью текстов, тогда как Бёк считал, что ей следует иметь дело с широкой эмпирической базой всех материальных артефактов. Спор «филологии вещей» и «филологии слов» хорошо изучен, подробнее см.: [Poiss 2009 (с указанием на основную литературу); Nippel 1997; Тротман-Валлер 2009]. Как справедливо указывает Тротман-Валлер, этот спор может быть распознан во множестве современных дискуссий, воспроизводящих его базовую проблемную структуру.

на отстаивание самостоятельности истории как науки¹. Современная историография весьма переменчива в моде на подобного рода теоретические увлечения, с известной регулярностью сменяющие друг друга в рамках очередного «поворота» (от социальной истории к истории понятий и т. д.), однако в ней неизменно присутствует также и ранкеанская позиция, заключающаяся в том, что специфика собственно истории как науки заключается в том, чтобы по возможности установить факты и события, а также их каузальную взаимосвязь, тогда как любые иные дисциплины и теории в рамках исторического исследования играют роль лишь той самой «вспомогательной науки»².

С субъектной точки зрения проблема «объективности и беспартийности» имеет, в свою очередь, два аспекта. Во-первых, перспективное искажение может само возникать объективно — в силу общественной и исторической ограниченности субъекта, которой он не может избежать. Во-вторых, оно может возникать осознанно, согласно произволу самого субъекта. Такова, например, если

1 Разумеется, любая принципиальность имеет свои издержки. Идущая из филологической критики источников текстоцентричность Ранке и его последователей привела к тому, что главный фокус исследований смещается в плоскость истории государства [Berg 1968: 192]. Однако у Ранке это является эффектом именно выбранной методологической установки на изучение архивных текстов, которые в современной истории, будучи в первую очередь государственными, аккумулируют и сохраняют в первую очередь историю государства. В то же время именно Ранке указывает слушателям своих лекций на то, что принятый в современной историографии крен в сторону изучения политики и, судя по всему, экономики, динамика которых обусловлена мотивами «эгоизма и стремления к власти», является искажающим: историк должен обращаться ко всем возможным движущим мотивам человеческих действий и поступков. Это выражается в его принципе «универсального интереса» историка, который должен обращаться равным образом к истории «войны и мира» (превалирующим, как он отмечает, в современной историографии), но также к истории науки, искусства и т. д., поскольку «в противном случае мы окажемся неспособными понять одно из них без другого и будем препятствовать реализации цели познания» [Ranke 1975b: 79]. Тем самым, добавим, Ранке предвосхищает и легитимизирует все последующие свободные смещения исторического интереса в сферу истории повседневности, истории сексуальности и т. д. и т. п. Характеризуя его собственную склонность именно к политической истории, Ф. Майнеке справедливо отмечает: «Он отдает предпочтение политической части событий в своем изложении только потому, что она содержит наиболее значимые для судеб мира культуры причинно-следственные связи, и, кроме того, потому, что он также в определенной степени переплавляет политическую историю в историю культуры через одухотворение власти и государств...» [Meinecke 1948: 15].

2 Прежде всего: [Люббе 1994; Оукшот 2002].

выразиться термином Ж.-П. Сартра, позиция «ангажированного писателя», который намеренно и осознанно ставит себя на службу определенной политической идее. Что касается первого аспекта, то Ранке признавал неизбежность подобных общественно-исторических ограничений перспективы. История, согласно Ранке, как уже цитировалось выше, постоянно переписывается, и «изменения в историографии <...> очевидно, совпадают с изменением взглядов на общественные вопросы» (цит. по: [Berg 1968: 193]). Основной же фокус критики Ранке сосредоточен именно на втором аспекте — на осознанной партийности, преодоление которой — «цель и моральный долг» ученого. В этой связи часто приводят его слова, что он стремится «словно бы стереть свою самость» (*Selbst gleichsam auszulöschen*). Разъясняя смысл этого высказывания, Гюнтер Берг отмечает, что это вовсе не означает, как это часто поверхностно интерпретируется, ни полной нейтральности, ни ценностного релятивизма, ни отсутствия собственного суждения или наивного игнорирования эффектов, вносимых познающим субъектом [Berg 1968: 194-195]. Однако прежде чем выносить такое суждение, необходимо понять мотивы и логику действий каждой из сторон в контексте рассматриваемой эпохи:

201

«Слишком часто мы судим о прошлом по сегодняшнему дню. Пожалуй, никогда еще это не было так скверно, как сейчас, когда некоторые интересы, проходящие через всю мировую историю, как никогда занимают общее мнение и разделяют его на множество “за” и “против”.

Политически это, возможно, и правильно. Но исторически это неверно. Мы, ищущие истину даже в заблуждениях, рассматривающие любую экзистенцию как пронизанную изначальной жизнью, должны прежде всего отказаться от подобных суждений. Там, где идет такого рода борьба, обе стороны должны быть рассмотрены на их собственной почве, в их среде, так сказать, в их внутреннем состоянии; они должны быть поняты, прежде чем будут подвергнуты суду.

Нам возражат, что у писателя и толкователя тоже должно быть свое мнение, своя религия, от которой он не может отречься. Они будут правы, если мы воздержимся от того, чтобы утверждать, кто прав в каждом таком споре. <...> Мы видим заблуждение, но кто от него свободен? Поэтому мы не осуждаем никакой экзистенции. Мы признаем зло наряду с добром, но это тоже человеческое проявление. Мы не проверяем [правильность] мнения: мы имеем дело с экзистенцией, которая часто имеет решающее значение в политических и религиозных спорах. Здесь мы возвышаемся до созерцания сущности противостоящих элементов, находящихся в состоянии борьбы, мы не являемся их посредниками; нам не нужно выносить суждения о заблуждении и истине как таковых. Перед нами возникает форма за формой, жизнь за жизнью, действие и противодействие. Наша задача — проникнуть в них до самого основания их экзистенции и изложить их с полной объективностью» [Ranke 1975b: 80-81].

Эта развернутая цитата является ключом к пониманию того, каким образом выстроен текст «Великих держав», где Ранке, обращаясь к последним 150 годам европейской истории, стремится понять логику и мотивы действий каждой из них — существующей или нарождающейся. Такой подход также позволил Ранке получать признание и высокую оценку его исторических работ, посвященных Сербии, Франции, Великобритании, в самих этих странах, снискав ему славу ведущего европейского историка. При этом, разумеется, в тексте «Великих держав» считываются и все оценочные симпатии и антипатии Ранке — по отношению Фридриху II, Наполеону, удостоившемуся упоминания в тексте лишь как «удачливый генерал», и другим политическим деятелям.

202 Работа «Великие державы», представляющая собой наиболее исторически-конкретное выражение политической философии Ранке, является также наглядным примером упомянутой особенности его историографии, а именно заложенного в ней стремления к пониманию обширных исторических «целостностей», в качестве которой здесь выступает политическая история Европы, начиная с эпохи Людовика XIV. В рамках общей гносеологической проблематики исторического познания описание подобных общих особенностей эпох или народов связано с проблемой перехода от познания отдельных исторических фактов и каузально взаимосвязанных событий к пониманию объединяющих их общих характеристик. В терминологии Ранке это означает переход на уровень «идеального» и «духовного» содержания исторического процесса, к пониманию «тенденций» и «руководящих идей» исторического хода событий¹. Для аналитической экспликации этой эпистемологической особенности текста «Великих держав» поставим его в контекст данной особенности историографии Ранке в ее собственном историческом и идейном контексте. Одновременно здесь открывается перспектива на раскрытие представлений Ранке относительно, выражаясь марксистской терминологией, «роли личности в истории», на его понимание взаимоотношения индивидуальных и общественных исторических факторов.

Эпистемологическая проблема и механизм перехода от уровня отдельных исторических фактов к их общим основаниям сформулированы в одном из введений Ранке в лекционный курс немецкой истории следующим образом:

«Никто не может быть более убежден, чем я, что историческое исследование требует самого строгого метода; критики авторов, удаления всех фантастических элементов; выделения чистого факта; но я также

1 Особенно: [Ранке 1898]. Ср. также: [Черноперов, Усманов 2021: 85-86].

убежден, что этот факт имеет и духовное содержание. Факт не является конечным пределом. То, что происходит внешне, — не последнее, что мы должны познать; есть нечто, что происходит внутри него. Событие возникает только из духовно скомбинированного ряда фактов. Поэтому наша задача — познать, что же на самом деле произошло в ряде фактов, составляющих немецкую историю, их сумму. После работы критика требуется интуиция» [Ranke 1975c: 177]¹.

Восхождение от установленных фактов к духовной и идейной исторической взаимосвязи позволяет парадоксальным образом² усматривать в историографии Ранке модификацию систем немецкого идеализма, на что в начале XX в. указывал Э. Бернгейм³. И все же намного ближе в этом вопросе Ранке находится к тому представлению об исторической науке, которую Вильгельм фон Гумбольдт сформулировал в своем докладе «О задаче историка» [1821]:

«То, что являет себя нам, — рассеянно, бессвязно, единично; то, что объединяет отдельные явления, представляет единичное в его подлинном свете и придает форму целому, — недоступно непосредствен-

- 1 Понятие «интуиция», относительно которого, как замечает Г. Берг, Ранке высказывается «противоречиво и, очевидно, лишь неохотно» [Berg 1968: 212], используется им наряду с синонимичным понятием «дивинация» — одним из ключевых терминов герменевтики Ф. Шлейермахера.
- 2 Парадокс заключается в том, что размежевание с системами немецкого идеализма, развивающими мысль Канта об «идее мировой истории, имеющей некоторым образом априорную путеводную нить» [Кант 1994а: 28], признается большинством знатоков немецкого историзма и герменевтики основным поворотным пунктом возникновения немецкой исторической школы. Ср.: «Отказ от априорного конструирования мировой истории есть как бы ее свидетельство о рождении» [Гадамер 1988: 248]; «Представители исторической школы были самыми значительными и явными противниками Гегеля» [Rothacker 1930: 41]. Наиболее систематически проработанная критика априорного философского подхода к истории, на наш взгляд, изложена самим Ранке в его лекционном курсе 1831 г. «Идея всемирной истории» [Ranke: 1975b].
- 3 «Послекантовская философия истории, отталкиваясь от основных мыслей Канта, была систематически разработана Фихте, Шеллингом, Гегелем и приобрела мощное и обширное влияние в эпоху, когда вождем главной линии немецкой исторической науки был Леопольд фон Ранке. Благодаря образцовому и глубокому влиянию Ранке существенные части этой философии, особенно учение об идеях, оценка государства и индивида, вошли в историческое мировоззрение его учеников, а затем их учеников, поэтому они все еще господствуют в широких кругах профессиональных историков, причисляющих себя к школе Ранке, но по большей части как практические воззрения, лишенные связи с той философской системой, из которой они возникли» [Bernheim 1907: 28; ср.: Бернгейм 1908: 21-22]. Позднее сходные оценки высказывал также Э. Трёльч [1994: 231-232].

ному наблюдению. <...> Следовательно, надо идти одновременно двумя путями: искать историческую истину, беспристрастно, критически изучать то, что происходило, и затем соединять обнаруженное, интуитивно постигая (das Ahnden) то, что этим средствам недоступно» [Гумбольдт 1985: 292, 294].

204

На влияние Савиньи, Гегеля и, прежде всего, Вильгельма фон Гумбольдта на творчество Ранке указывает в своей речи, посвященной памяти учителя (1886), историк Генрих фон Зибель [Henz 2014, I: 378]. Последовательно в пользу чрезвычайной близости концепций разворачивания «идей» в истории, сформулированных Гумбольдтом и Ранке, высказался Рихард Фестер, заключивший, что «теория идей Гумбольдта и Ранке совпадает во всех существенных моментах»¹. Поворотная роль Гумбольдта — «Бэкона исторических наук», по выражению Дройзена [2004: 457] — в истории современной историографии вытекает, согласно Фестеру, из характера его решения проблемы взаимоотношения истории рода и истории индивида, избегающего как крайностей философии истории Гегеля, где идея Канта о том, что в ходе всемирной истории можно говорить лишь о развитии вида, достигла своего кульминационного выражения, так и индивидуалистически ориентированных авторов, таких как Гердер. «Тот факт, что Гумбольдт, размышлявший в то же время, что и Гегель, в отличие от всех философов истории и тем не менее исходя из тех же идеалистических предпосылок, пришел к взгляду, согласно которому не пренебрегалось ни видом, ни индивидом, закрепляет его положение в конце философии истории немецкого идеализма. Атака на телеологические исторические конструкции немецкой философии, успешно осуществленная кантианским оружием, ставит его в начало новой фазы развития нашей науки» [Fester 1891: 248]. Подобную же сбалансированную позицию отношений между индивидом и структурами «объективного духа» мы находим у Ранке. С одной стороны, он видел в человеке главную движущую силу истории: «В людях манифестируется Господь. <...> Не учение изменяет мир, но великие личности» [Ranke 1890: 570]. С другой стороны, индивиды всегда также ограничены объективными условиями: «Личности принадлежат к моральному миропорядку, в котором они полностью принадлежат себе. Они живут

1 [Fester 1891: 254.] Здесь же он предположил, что доклад Гумбольдта, напечатанный в 1822 г., едва ли мог быть доступен молодому Ранке, и он познакомился с ним лишь в 1841 г., когда тот был опубликован в первом томе собрания сочинений В. фон Гумбольдта. Т. е. Ранке сформулировал свою теорию идей в значительной степени самостоятельно. Эта оценка, насколько мы можем судить, до настоящего времени не была никем серьезно оспорена.

самостоятельной жизнью, обладая самобытной силой. События развиваются в столкновении индивидуальной силы с объективными условиями мира. Их успехи — мера их силы»¹. Наконец, позиции В. фон Гумбольдта и Ранке совпадают в понимании истории как дисциплины, родственной философии и искусству, причем анализ литературных особенностей письма Ранке образует в научно-исследовательской традиции фактически отдельное направление². «Он был великим художником» — так лаконично резюмировал Дильтей эту сторону творчества Ранке [Дильтей 2004: 146]. Текст «Великих держав» является, кроме того, яркой иллюстрацией того, какую весомую роль Ранке придает культуре и, прежде всего, литературе как фактору исторического процесса в целом и политической самостоятельности государств в частности.

Завершая это небольшое введение в специфику историографии Ранке, нельзя не затронуть также религиозно-метафизические представления, играющие важную роль в его модели истории и миссии историка. Уже молодой Ранке в письме к брату Генриху (III. 1820) восклицает, гипотетически обращаясь к Фихте: «Эта любовь к прошлой жизни, а именно к ее идее, это внутреннее побуждение и познание античности в ее глубине ведет к Богу. <...> Бог обитает, живет и может быть познан во всей истории. Каждое деяние свидетельствует о нем, каждый миг проповедует его Имя, но более всего — взаимосвязь большой истории. Она предстает как священный иероглиф, понятый и сохраненный в максимально возможной степени, возможно для того, чтобы не быть потерянным для будущих веков. Вперед! Как бы там ни было, все дело в том, насколько мы в своей части раскроем этот иероглиф! Именно так мы служим

1 Цит. по: [Masur 1926: 99]. Фридрих Майнеке в своем проницательном сопоставлении позиций Ранке и его ученика Якоба Буркхарда расставляет акценты несколько иначе, полагая, что они представляют собой различные позиции, восходящие, однако, к общему истоку немецкого идеализма. Ранке, называющий государства «духовными сущностями» и «мыслями Бога», выступает как представитель «объективного идеализма» и сторонник «объективного духа» Гегеля, тогда как Буркхард — как сторонник «субъективного идеализма», который продолжает линию либерализма раннего Вильгельма фон Гумбольдта. Он «исходит из индивида, из субъективного сознания нравственной свободы отдельного человека, из прав и обязанностей личности, чью свободу необходимо защищать от давления враждебного окружающего мира». И если для Буркхарда «всякая власть сама по себе есть зло», то для Ранке, согласно его собственной формулировке, «во власти самой по себе является духовная сущность, изначальный гений, который обладает своей собственной жизнью» [Meinecke 1948: 11-12].

2 [Meinecke 1948: 32-36; Filda 1996: 296-410 и его библиографические указания: Op. cit.: 296 (Anm.); Уайт 2002: 195-225.]

Господу, именно так мы являемся священниками, так мы являемся учителями» [Ranke 1890: 89-90]. В этом понимании Ранке истории как проявления Бога во времени проявляется влияние Фихте, оказавшего большее влияние на молодого историка, записавшего в своем конспекте работ философа: «Вся являющаяся нам жизнь основана на божественной идее; определенная ее часть познаваема» — положение, которое Д. Фулда называет «фундаментальным принципом исторической герменевтики Ранке» [Fulda 1996: 333]. Аналогичные идеи были широко представлены в романтической герменевтике того времени в целом, включая, например, следующее положение герменевтической теории Ф. Аста: «Всякая жизнь есть дух» [Op. cit.: 335]. Разумеется, такое понимание истории фундирует как ее связность и континуальность, так и герменевтические возможности понимания других людей — их текстов и поступков. Впрочем, такого рода «эпистемологическая теология» не является чем-то уникальным. Революционное обновление естествознания в период раннего Нового времени, собственно, и возникает как проект богопознания [см.: Groh 2010]. Когда голландский натуралист XVII в. Ян Сваммердам торжественно объявляет: «Я докажу вам существование божественного провидения, анатомируя вошь» [цит. по: Вебер 1999: 717], это прямо соответствует уже цитированному высказыванию Ранке: «история познает бесконечное в любой экзистенции, в любом состоянии, в любом существе; [всюду видит она] нечто вечное, исходящее от Бога» [Ranke 1975b: 77]. Христианское учение о сотворении мира из ничего всемогущим разумным «архитектором мира» сыграло важнейшую роль в появлении как современного естествознания, так и современной историографии, сформировав представление о единстве и континуальности мира, демонтировав тем самым дуализм начал (материя и идея/форма), лежащих в основе античной метафизики. Как справедливо отмечает А. Мегилл, при всей вариативности и даже эклектичности современной историографии в ее фундамент заложено особое «онтологическое» предположение — «предположение о безусловном единстве мира» [Megill 1995: 151]. Здесь мы не будем вдаваться в вопрос о том, каким образом эпистемологическая теология в духе Ранке может быть секуляризована с сохранением данного базового допущения¹. В его

1 Кратко можно сказать, что эта секуляризация осуществляется в рамках разработки понятия «развития», которое Ф. Майнеке (2004) считал одним из двух определяющих для историзма как такового — наряду с понятием «индивидуальности». Смысл этого понятия, на наш взгляд, наилучшим образом сформулировал А. Ригль: «Историческим мы называем все, что когда-то было, а сегодня уже не существует; согласно самым современным представлениям, мы связываем с ним еще и другое соображение:

собственном понимании, однако, миссия историка имеет не только характер своего рода богослужения, как показывают процитированные строки из письма 1820 г. Сама оптика историка должна быть настроена таким образом, чтобы стремиться совпасть с перспективой божественного взгляда на мир: «Мне представляется, — говорит он, — что Божество, существуя вне времени, обозревает все историческое человечество в его целом и всюду считает его одинаково ценным. <...> перед Богом все поколения человечества являются равноправными, и так должен смотреть и историк» [Ранке 1898: 5]. Ближайшим образом этот тезис критически направлен против Гегеля. Замысел его философии истории Ранке описывает следующим образом: «Мировой дух вершит свой ход путем необходимого развития, отказываясь от индивидов и принося их в жертву. Он использует, как говорит Гегель, своего рода хитрость против индивидов, действующих в мировой истории (*die welthistorischen Individuen*), он позволяет им преследовать свои собственные цели со всей яростью своей страсти, тогда как он, дух, тем самым движет сам себя». И хотя Ранке признает подобный подход Гегеля «грандиозным» и «гигантским», учитывая силы, приложенные для его реализации создателем этой системы, он отказывается его принять. Основная причина — превращение живых индивидов в простое орудие мирового духа: «Все дело в том, что такой взгляд противоречит истине индивидуального сознания». С точки зрения философии Гегеля история — «это история становящегося Бога». «Я же со своей стороны, — подчеркивает Ранке, — верю в того, кто был, и есть, и будет, а также бессмертную по своему существу природу индивидуального человека, в живого Бога и в живого человека» [Kessel 1954: 306-307]. Именно подобное представление о ценности индивидуальной жизни, имеющее отчасти общехристианское, отчасти лютеранское происхождение, приводит Ранке к отрицанию европоцентричного

когда-то бывшее никогда не может повториться, и все случившееся когда-то образует незаменимое и незыблемое звено цепи развития, или, другими словами, все последующее обусловлено предыдущим и не смогло бы произойти именно таким образом, как фактически случилось, если бы это предыдущее звено не предшествовало ему. Сущность любой современной точки зрения на историю образует как раз *идея развития*. Следовательно, согласно современным понятиям, любая человеческая деятельность и каждая человеческая судьба, о которых сохранились свидетельства или информация, без исключения претендуют на историческую ценность: любое происшествие, случай в истории мы считаем в принципе незаменимым, уникальным» [Ригль 2018: 11-12]. Иными словам, «любая экзистенция» в истории важна потому, что история контингентна, и все, что в ней случается, обусловлено взаимодействием всех наличных единичностей.

рационалистического унитаризма и появлению концепции поликультурного и многополярного мира.

Пессимистические взгляды на ход истории в целом и ряд ее основных аспектов полярно противоположны рационалистическому оптимизму, продолжающему питаться духом и идейным наследием эпохи Просвещения. Ранке, а также различные версии историзма и политического реализма, которые восходят к его кругу идей, занимает, таким образом, срединную позицию между этими крайностями. Подобное положение вполне соответствует его собственному представлению о месте на карте современных мировоззрений, которое он стремился удерживать не только лично, но и считал логично следующим и даже необходимым для позиции ученого-историка.

Библиография / References

Бузескул В. (1926) Из истории критического метода. Ранке и Штенцель. *Известия АН СССР*. Сер. 6, 20(12): 1121-1138.

— Buzeskul V. (1926) From the History of the Critical Method. Ranke and Stenzel. *Bulletin of the USSR Academy of Sciences*. Series 6, 20(12): 1121-1138. — in Russ.

208

Бернгейм Э. (1908) *Введение в историческую науку*. М.: Изд. М. Н. Прокоповича.

— Bernheim E. (1908) *Introduction to Historical Science*. Moscow: Publishing House of M. N. Prokopovich. — in Russ.

Вебер М. (1990) Наука как призвание и профессия. *Вебер М. Избранные произведения*. М.: Прогресс: 707-735. EDN: SHERSF

— Weber M. (1990) Science as a Vocation and Profession. *Weber M. Selected Works*. Moscow: Progress: 707-735. — in Russ.

Гадамер Х.-Г. (1988) *Истина и метод: Основы философской герменевтики*. М.: Прогресс. EDN: OLSMGR

— Gadamer H.-G. (1988) *Truth and Method: Foundations of Philosophical Hermeneutics*. Moscow: Progress. — in Russ.

Графтон Э. (2006) От полигистора к филологу (как преобразилась немецкая наука об античности в 1780-1850-е годы). *Новое литературное обозрение*, 6: 59-92. EDN: MTDMKN. URL: <https://magazines.gorky.media/nlo/2006/6/ot-poligistora-k-filologu.html>

— Grafton A. (2006) From Polyhistorian to Philologist (How German Science of Antiquity Was Transformed in the 1780-1850s). *New Literary Review*, 6: 59-92. — in Russ. URL: <https://magazines.gorky.media/nlo/2006/6/ot-poligistora-k-filologu.html>

Гумбольдт В. фон. (1985) О задаче историка. *фон Гумбольдт В. Язык и философия культуры*. М.: Прогресс: 292-306.

— Humboldt W. von. (1985) On the Task of the Historian. *von Humboldt W. Language and Philosophy of Culture*. Moscow: Progress: 292-306. — in Russ.

Дильтей В. (2004) Собр. соч.: в 6 т. Т. 3. *Построение исторического мира в науках о духе*. М.: Три квадрата.

— Dilthey W. (2004) Collected Works: in 6 volumes. Vol. 3. *Construction of the Historical World in the Sciences of the Spirit*. Moscow: Tri Kvadrata. — in Russ.

Дройзен И. Г. (2004) Очерк истории. *Дройзен И. Г. Историка*. СПб.: Владимир Даль: 450-573. EDN: QOUVIF

— Droysen J. G. (2004) Essay on History. *Droysen I. G. Historika*. St. Petersburg: Vladimir Dal: 450-573. — in Russ.

Егоров Д. (2015) Образ Л. Ранке в англоязычной литературе новой интеллектуальной истории. *Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки*, (4): 15-21. EDN: UMXGDF. <https://doi.org/10.18384/2310-676X-2015-4-15-21>

— Egorov D. (2015) The Image of L. Ranke in the Russian-Language Literacy of the New Intellectual History. *Bulletin of the Moscow State Regional University. Series: History and Political Science*, (4): 15-21. — in Russ. <https://doi.org/10.18384/2310-676X-2015-4-15-21>

Инглхарт Р. (2018) *Культурная эволюция. Как изменяются человеческие мотивации и как это меняет мир*. М.: Мысль.

— Inghart R. (2018) *Cultural Evolution. How Magnetic Motivations Change and How This Changes the World*. Moscow: Mysl. — in Russ.

Инглхарт Р., Вельцель К. (2011) *Модернизация, культурные изменения и демократия*. Москва: Новое издательство. EDN: QOMHTL

— Inghart R., Welzel C. (2011) *Modernization, Cultural Change and Democracy*. Moscow: Novoye Izdatelstvo. — in Russ.

Кант И. (1994а) Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. *Кант И. Сочинения. В 8 т. Т. 8*. М.: Чоро: 6-28.

— Kant I. (1994a) The Idea of General History in the World-Civil Peace. *Kant I. Works. In 8 volumes. Vol. 8*. Moscow: Choro: 6-28. — in Russ.

Кант И. (1994б) К вечному миру. Философский проект. *Кант И. Сочинения. В 8 т. Т. 7*. М.: Чоро: 6-56.

— Kant I. (1994b) Towards Eternal Peace. Philosophical Project. *Kant I. Works. In 8 volumes. Vol. 7*. Moscow: Choro: 6-56. — in Russ.

Куренной В. (2020а) Институциональная теория модерна: Иоганн Густав Дройзен. *Logos*, 6: 41-90. EDN: IENKCK. <https://doi.org/10.22394/0869-5377-2020-6-41-90>

— Kurennoy V. (2020a) Institutional Theory of Modernity: Johann Gustav Droysen. *Logos*, 6: 41-90. — in Russ. <https://doi.org/10.22394/0869-5377-2020-6-41-90>

Куренной В. (2020б) Философия либерального образования: принципы. *Вопросы образования*, 1: 8-39. EDN: LAVGUA. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2020-1-8-39>

— Kurennoy V. (2020b) Philosophy of liberal education: principles. *Educational issues*, 1: 8-39. — in Russ. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2020-1-8-39>

Курилла И. (2018) *История, или Прошлое в настоящем*. СПб.: Изд-во Европейского университета в СПб. EDN: YRQRDN

— Kurilla I. (2018) *History, or the Past in the Present*. St. Petersburg: Publishing house of the European University in St. Petersburg. — in Russ.

Липовецкий Ж. (2001) *Эра пустоты. Эссе о современном индивидуализме*. СПб: Владимир Даль.

— Lipovetsky G. (2001) *The Era of Emptiness. Essay on Modern Individualism*. St. Petersburg: Vladimir Dal. — in Russ.

Люббе Г. (2016) *В ногу со временем. Сокращенное пребывание в настоящем*. М.: Изд. дом Высшей школы экономики. EDN: OECHTF

— Lubbe H. (2016) *In Step with the Times. A Shortened Stay in the Present*. Moscow: Publishing House of the Higher School of Economics. — in Russ.

Люббе Г. (1994) Что значит: «Этому можно дать только историческое объяснение»? *THESIS*. Вып. 4: 213-222. URL: https://www.hse.ru/data/428/313/1234/4_4_2Lubbe.pdf

— Lubbe H. (1994) What Does It Mean: “This Can Only Be Given a Historical Explanation”? *THESIS*. Issue 4: 213-222. — in Russ. URL: https://www.hse.ru/data/428/313/1234/4_4_2Lubbe.pdf

Майнеке Ф. (2004) *Возникновение историзма*. М.: РОССПЭН. EDN: QOCZPR

— Meineke F. (2004) *The Emergence of Historicism*. М.: ROSSPEN. — in Russ.

210

Марквард О. (2001) Искусство как антификция — опыт о превращении реального в фиктивное. *Немецкое философское литературоведение наших дней. Антология*. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета: 217-242.

— Marquard O. (2001) Art as Anti-Fiction: An Experiment in the Transformation of the Real into the Fictional. *German Philosophical Literary Criticism of Our Time. Anthology*. St. Petersburg: Publishing House of St. Petersburg University: 217-242. — in Russ.

Мегилл А. (2007) *Историческая эпистемология*. М.: Канон+, РООИ Реабилитация. EDN: VXICQT

— Megill A. (2007) *Historical Epistemology*. М.: Canon+, ROOI Rehabilitation. — in Russ.

Оукшот М. (2002) Деятельность историка. *Рационализм в политике и другие статьи*. М.: Идея-Пресс: 128-152. EDN: TSPQPB

— Oakeshott M. (2002) The Activity of the Historian. *Rationalism in Politics and Other Articles*. М.: Idea-Press: 128-152. — in Russ.

Пирс Ч. С. (2000) Как сделать наши идеи ясными. *Пирс Ч. С. Начала прагматизма*. СПб.: Алетейя: 125-154.

— Pierce Ch.S. (2000) How to Make Our Ideas Clear. *Pierce C. S. Principles of Pragmatism*. St. Petersburg: Aletheia: 125-154. — in Russ.

Поле Р. (2021) *Платон как воспитатель. Платоновский ренессанс и антимодернизм в Германии (1890-1933)*. СПб.: Владимир Даль. EDN: MDIIZH

— Field R. (2021) *Plato as an Educator. The Platonic Renaissance and Anti-Modernism in Germany (1890-1933)*. St. Petersburg: Vladimir Dal. — in Russ.

Ранке Л. фон. (1898) *Об эпохах новой истории. Лекции, читанные баварскому королю Максимилиану в 1854 г.* М.: тип. И. А. Баландина.

- Ranke L. von. (1898) *On the Epochs of Modern History. Lectures Delivered to the Bavarian King Maximilian in 1854*. Moscow: typography of I. A. Balandin. — in Russ.
- Реквиц А. (2022) *Общество сингулярностей. О структурных изменениях эпохи модерна*. М.: Директмедиа.
- Rekwitz A. (2022) *The Society of Singularities. On Structural Changes in the Modern Era*. Moscow: Directmedia. — in Russ.
- Ригль А. (2018) *Современный культ памятников: его сущность и возникновение*. М.: ЦЭМ, V-A-C press.
- Riegl A. (2018) *The Modern Cult of Monuments: Its Essence and Origin*. Moscow: СЕМ, V-A-C press. — in Russ.
- Трельц Э. (1994) *Историзм и его проблемы*. М.: Юрист.
- Troeltsch E. (1994) *Historicism and Its Problems*. Moscow: Jurist. — in Russ.
- Тротман-Валлер С. (2009) Филология вещей или филология слов? История одного спора и его сегодняшние продолжения. *Новое литературное обозрение*, 2: 28-41. EDN: MTDVIL
- Trotman-Waller C. (2009) Philology of Things or Philology of Words? The History of One Dispute and Its Today's Continuations. *New Literary Review*, 2: 28-41. — in Russ.
- Уайт Х. (2002) *Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века*. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета.
- White H. (2002) *Metahistory: Historical Imagination in 19th-Century Europe*. Ekaterinburg: Ural University Press. — in Russ.
- Фихте И. Г. (1995) Несколько лекций о назначении ученого. *Фихте И. Г. Соч. Работы 1972-1801 гг.* М.: Ладомир: 480-522.
- Fichte J. G. (1995) Several Lectures on the Purpose of a Scientist. *Fichte I. G. Works. Works 1972-1801*. Moscow: Lodomir: 480-522. — in Russ.
- Черноперов В., Усманов С. (2021) *Леопольд фон Ранке — жизнь и творческое наследие*. Иваново: Иван. гос. ун-т. EDN: NHYQOS
- Chernoperov V., Usmanov S. (2021) *Leopold von Ranke — Life and Creative Legacy*. Ivanovo: Ivanovo State University. — in Russ.
- Acton L. (1886) German Schools of History. *The English Historical Review*, 1(1): 7-42. <https://www.jstor.org/stable/546982>
- Ankersmit F. R. (1989) Historiography and Postmodernism. *History and Theory*, 28(2): 137-153. <https://doi.org/10.2307/2505032>
- Beiser F. C. (2011) *The German Historicist Tradition*. Oxford: Oxford University press.
- Berg G. (1968) *Leopold von Ranke als akademischer Lehrer. Studien zu seinen Vorlesungen und seinem Geschichtsdenken*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Bernheim E. (1907) *Einleitung in die Geschichtswissenschaft*. Leipzig: G. J. Göschen'sche Verlagshandlung.
- Boldt A. D. (2019) *Leopold von Ranke: A Biography*. New York: Routledge.

Boldt A. (2014) Ranke: objectivity and history. *Rethinking History: The Journal of Theory and Practice*. <https://doi.org/10.1080/13642529.2014.893658>

Breisach E. (2007) *Historiography: Ancient, Medieval, and Modern*. University of Chicago Press.

Brocke B. vom (1999) Wege aus der Krise: Universitätsseminar, Akademiekommision oder Forschungsinstitut. Formen der Institutionalisierung in den Geistes- und Naturwissenschaften 1810-1900-1995. König C., Lämmert E. (Hg.) *Konkurrenten in der Fakultät: Kultur, Wissen und Universität um 1900*. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch: 191-215. <https://doi.org/10.1515/9783110928990-029>

Eševskij S. (1968) Bericht über die Vorlesung Rankes (1859/60). *Berg Gunter. Leopold von Ranke als akademischer Lehrer: Studien zu seinen Vorlesungen und seinem Geschichtsdenken*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht: 219-220.

Fester R. (1891) Humboldt's und Ranke's Ideenlehre. *Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft*. Bd. 6: 235-256.

Fries J. (1804) *System der Philosophie als evidente Wissenschaft*. Leipzig: bey Johann Conrad Hinrich.

Frobenius L. (1921) *Paideuma. Umriss einer Kultur- und Seelenlehre*. München: C. H. Beck.

212

Fulda D. (1996) *Wissenschaft aus Kunst: Die Entstehung der modernen deutschen Geschichtsschreibung 1760-1860*. Berlin, New York: Walter de Gruyter.

Helmolt H. F. (1921) *Leopold Rankes Leben und Wirken*. Leipzig: Historia-Verlag Paul Schraepfer.

Henz G. J. (2014) *Leopold von Ranke in Geschichtsdenken und Forschung*. Bd. I-II. Berlin: Duncker & Humblot.

Iggers G. G., Powell J. M. (Eds.) (1990) *Leopold von Ranke and the Shaping of the Historical Discipline*. Syracuse, NY: Syracuse University Press.

Kessel E. (1954) Rankes Idee der Universalhistorie. *Historische Zeitschrift*. Bd. 178. H. 2: 269-308. <https://doi.org/10.1524/hzhz.1954.178.jg.269>

Meinecke F. (1948) *Ranke und Burckhardt*. Berlin: Akademie-Verlag.

Masur G. (1926) *Rankes Begriff der Weltgeschichte*. München, Berlin: Druck und Verlag von R. Oldenbourg.

Megill A. (1995) 'Grand Narrative' and the Discipline of History. *Ankersmit F., Kellner H. (Eds.) New Philosophy of History*. London: Reaktion Books: 151-173.

Mommsen W. J. (1974) *Max Weber und die deutsche Politik, 1890-1920*. Tübingen: Mohr.

Neugebauer W. (2018) *Preußische Geschichte als gesellschaftliche Veranstaltung: Historiographie vom Mittelalter bis zum Jahr 2000*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.

Peirce Ch.S. (1934) *Collected papers of Charles Sanders Peirce*. Ed. by Charles Hartshorne and Paul Weiss. Vol. V: Pragmatism and Pragmaticism. Cambridge: Harvard University Press. URL: <https://colorysemiotica.files.wordpress.com/2014/08/peirce-collectedpapers.pdf>

Poiss T. (2009) Die unendliche Aufgabe. August Boeckh als Begründer des Philologischen Seminars. *Baertschi A. M., King C. G. (Hg.) Die modernen Väter der*

Antike: Die Entwicklung der Altertumswissenschaften an Akademie und Universität im Berlin des 19. Jahrhunderts. Transformationen der Antike. Hg. von Böhme Hartmut et al. Bd. 3. Berlin, New York: Walter de Gruyter: 45-72. <https://doi.org/10.1515/9783110210422.45>

Ranke L. von. (1975a) [Einleitung zu einer Vorlesung über Neuere Geschichte. Geschichtswissenschaft und Parteienstandpunkt]. von Ranke L. *Aus Werk und Nachlass.* Hg. von Dotterweich V. und Fuchs W.P. Bd. IV. München, Wien: R. Oldenbourg: 294-298.

Ranke L. von. (1975b) Idee der Universalhistorie. von Ranke L. *Aus Werk und Nachlass.* Hg. von Dotterweich V. und Fuchs W.P. Bd. IV. München, Wien: R. Oldenbourg: 72-89.

Ranke L. von. (1975c) [Deutsche Geschichte]. von Ranke L. *Aus Werk und Nachlass.* Hg. von Dotterweich V. und Fuchs W.P. Bd. IV. München, Wien: R. Oldenbourg: 164-178.

Ranke L. von. (1890) *Zur Eigenen Lebensgeschichte.* Hg. von A. Dove. Leipzig: Duncker und Humblot.

Ranke L. von. (1885) *Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1514.* 3. Aufl. Leipzig: Duncker & Humblot.

Ranke L. von. (1881) *Weltgeschichte.* I. Th. 2. Aufl. Leipzig: Verlag von Dunkler & Hmblot.

Ranke L. (1824) *Zur Kritik neuerer Geschichtschreiber.* Leipzig und Berlin: G. Reimer.

Rothacker E. (1930) *Einleitung in die Geisteswissenschaften.* 2. Aufl. Tübingen: Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).

Savigny F. C. von. (1850) Wesen und Werth der Deutschen Universitäten. *Savigny F. C. von. Vermischte Schriften.* Bd. 4. Berlin: Bei Veit und Comp: 270-308.

Schröder W. A. (2009) Immanuel Bekker — der unermüdliche Herausgeber vornehmlich griechischer Texte. *Baertschi A. M., King C. G. (Hg.) Die modernen Väter der Antike: Die Entwicklung der Altertumswissenschaften an Akademie und Universität im Berlin des 19. Jahrhunderts.* Transformationen der Antike. Hg. von Böhme Hartmut et al. Bd. 3. Berlin, New York: Walter de Gruyter: 329-368. <https://doi.org/10.1515/9783110210422.329>

Schubert I. (2021) *Eine kurze Geschichte des Historismus: Moderne Geschichtsdiskurse in Philosophie, Geschichtswissenschaft und Literatur.* Bielefeld: Aisthesis Verlag.

Schulze G. (2005) *Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart.* Frankfurt a. M./New York: Campus.

Steenblock V. (1991) *Transformationen des Historismus.* München: Fink.

Wolf F. A. (1807) *Darstellung der Altertumswissenschaft nach Begriff, Umfang, Zweck und Werth.* Berlin: Realschulbuchhandlung.

Куренной Виталий Анатольевич — кандидат философских наук, профессор, директор Института исследований культуры Факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. Научные интересы: философия, исследования культуры. ORCID: 0000-0002-7198-0910. E-mail: vkurennoj@hse.ru

Vitaliy A. Kurennoj — candidate of philosophy, professor, Director of the Institute for Cultural Studies, Faculty of Humanities, National Research University Higher School of Economics. Research interests: philosophy, cultural studies. ORCID: 0000-0002-7198-0910. E-mail: vkurennoj@hse.ru

Введение (отправная точка и основные понятия)

ЛЕОПОЛЬД ФОН РАНКЕ

Рекомендация для цитирования:

Ранке Л. фон (2024) Введение (отправная точка и основные понятия). *Социология власти*, 36 (3): 215-222. <https://doi.org/10.22394/2074-0492-2024-3-215-222>

For citations:

Ranke L. von (2024) Introduction (Starting Point and Basic Concepts). *Sociology of Power*, 36 (3): 215-222. <https://doi.org/10.22394/2074-0492-2024-3-215-222>

Поступила в редакцию: 01.09.2024; принята в печать: 30.09.2024
Received: 01.09.2024; Accepted for publication: 30.09.2024



This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

© 2024 by the author.

В 1854 году выдающийся немецкий историк Леопольд фон Ранке (1795–1886) получил приглашение прочитать лекции баварскому королю Максимилиану II в его летней резиденции в Берхтесгадене. Просвещенный монарх ценил знаменитого ученого еще со времен посещения лекций в Берлинском университете. Благодаря подобным отношениям, складывавшимся у него с некоторыми бывшими студентами, Ранке имел репутацию не только «короля историков», но и «учителя королей». Публикуемое здесь введение к лекционному курсу «Об эпохах новой истории» включает материалы двух лекций, прочитанных 25 и 26 сентября 1854 года. В нем фиксируется размежевание с философией Гегеля и немецким абсолютным идеализмом в целом и утверждается само- и равноценность человеческой личности и более комплексных индивидуальностей — эпох и народов. Согласно Ранке, созерцающая перспектива историка должна приближаться к божественной точке зрения, способной обзреть все историческое человечество в его целом. Такая модель истории исключает рассмотрение исторического развития как унитарного необратимого движения прогресса в одном-единственном направлении. Допуская прогресс в области науки и материального развития, Ранке полагает, что его нет в нравственном отношении и искусстве, как нет его в философии и в принципах политики. Прогресс человечества для него заключается в том, что в различные эпохи преобладают разные «великие тенденции». В качестве своеобразного подтверждения реального присутствия на лекциях августейшего студента в текст включен уточняющий диалог Максимилиана II и Ранке.

215

Перевод с немецкого О. В. Кильдюшова, выполнен с оригинала: Ranke L., von. (1971) Einleitung (Ausgangspunkt und Hauptbegriffe). *Ranke L., von. Aus Werk und Nachlass*. Herausgegeben von W. P. Fuchs und T. Schieder. Band II. Über die Epochen der neueren Geschichte. München: Oldenbourg. S. 53–83.

Прежде всего, для успеха нынешних лекций необходимо прийти к взаимопониманию по двум вопросам: 1) об отправной точке, которую нужно будет при этом взять, 2) об основных понятиях. Что касается отправной точки для этих лекций, то для данной цели мы зашли бы слишком далеко, если бы захотели перенести себя в очень отдаленные времена, в очень отдаленные состояния, которые хотя и оказывают влияние на настоящее, но все же только косвенное. Итак, чтобы не потеряться в чисто историческом, мы начнем с римского периода, в котором можно найти комбинацию из самых разных моментов.

Сначала мы должны договориться: 1) о понятии прогресса в целом; 2) о том, что в связи с этим следует понимать под «руководящими идеями».

1. Как следует понимать понятие «прогресс» в истории

Если вместе с некоторыми философами предположить, что все человечество развивалось от данного изначального состояния к некоей позитивной цели, это можно было бы представить двояким образом: либо общая руководящая воля способствовала развитию человеческого рода от одного пункта к другому, либо в человечестве как бы заложена некая черта духовной природы, которая с необходимостью ведет его к определенной цели. Я не хочу считать эти две точки зрения ни философски обоснованными, ни исторически доказуемыми. Философски эту точку зрения нельзя признать приемлемой, потому что в первом случае она прямо лишает человека свободы и превращает людей в безвольные орудия, а в другом случае люди должны были бы быть либо Богом, либо вообще ничем. Исторически эти взгляды также недоказуемы. Потому что, во-первых, большая часть человечества все еще находится в изначальном состоянии, в самой отправной точке. И тогда возникает вопрос: что такое прогресс? Где можно заметить прогресс человечества? Есть элементы великого исторического развития, которые закрепились в римской и германской нациях. Однако здесь присутствует духовная сила, развивающаяся от уровня к уровню. На протяжении всей истории нельзя упускать из виду как бы историческую силу человеческого духа. Это движение, основанное в незапамятные времена и продолжающееся с определенной устойчивостью. Однако в человечестве существует только одна система групп населения, которые участвуют в общеисторическом движении, а другие исключены из него. Но в целом мы не можем рассматривать национальности, рассматриваемые в историческом движении, как находящиеся в состоянии постоянного прогресса.

Если мы обратим внимание, например, на Азию, то увидим, что культура зародилась там и что эта часть мира пережила множество культурных эпох. Только там движение было в большей мере обратным. Ибо самая древняя эпоха азиатской культуры была самой процветающей, но вторая и третья эпохи, в которых преобладали греческий и римский элементы, уже не были столь значительными, и с приходом варваров (монголов) культура в Азии полностью прекратила свое существование. Таким образом, географически это понятие определить невозможно, и я должен с самого начала возразить против этого, когда утверждают, как, например, Петр Великий, что культура совершает кругосветное плавание, что она пришла с Востока и возвращается туда снова. Во-вторых, здесь следует избегать другого заблуждения, а именно, что прогрессивное развитие веков охватывало в одно и то же время все отрасли человеческих знаний и умений. История показывает нам, если для примера подчеркнуть лишь один момент, что в новейшее время искусство наиболее расцвело в XV веке и в первой половине XVI века; но, напротив, оно менее всего развивалось в конце XVII и в первых трех четвертях XVIII века. Именно так обстоит дело с поэзией. И здесь есть лишь моменты, когда это искусство действительно проявляется. Но не видно, чтобы с течением веков оно возрастало до более высокой степени. Таким образом, если исключить географический элемент, если предположить, как учит нас история, что могут погибнуть народы, у которых развитие не охватывает постоянно всего, то мы нашли, в чем состоит непрерывное движение человечества.

Оно основано на том, что великие духовные тенденции, которые управляют человечеством, то расходятся, то выстраиваются в ряд. Но в этих тенденциях всегда присутствует определенное частное направление, которое преобладает и заставляет остальные отступить на второй план. Так, например, во второй половине XVI века религиозный элемент был настолько преобладающим, что литературный отступил перед ним. С другой стороны, в XVIII веке стремление к полезности приобрело такой размах, что искусство и литература вынуждены были уступить ему. Итак, в каждую эпоху человечества проявляется определенная великая тенденция, и прогресс основывается на том, что в каждый период осуществляется определенное движение человеческого духа, которое выделяет то одну тенденцию, то другую, своеобразно выражаясь в каждой из них. Если бы вопреки высказанному здесь мнению можно было предположить, что этот прогресс заключается в том, что в каждую эпоху жизнь человечества возрастает в потенциале, что каждое поколение полностью превосходит предыдущее, следовательно, последнее является предпочтитель-

ным, а предыдущие являются лишь носителями последующих, то это было бы несправедливостью со стороны божества. Само по себе такое, как бы опосредованное, поколение не имело бы значения. Оно имело бы значение только постольку, поскольку это ступень последующего поколения, и не имело бы непосредственного отношения к Божественному. Но я утверждаю: каждая эпоха непосредственно связана с Богом, и ее ценность вовсе не в том, что из нее вытекает, а в самой ее экзистенции, в ее собственной самости. Таким образом, рассмотрение истории, а именно индивидуальной жизни в истории, приобретает совершенно особую привлекательность, поскольку каждая эпоха должна рассматриваться как нечто само по себе действительное и в высшей степени достойное изучения.

218

Итак, историк должен сосредоточить свое основное внимание, во-первых, на том, как люди мыслили и жили в определенный период, и тогда он обнаруживает, что, помимо некоторых основных неизменных вечных идей, например моральных, каждая эпоха имеет свою особую тенденцию и свой собственный идеал. Но даже если каждая эпоха сама по себе имеет свое право и свою ценность, то все же нельзя упускать из виду то, что из нее вышло. Таким образом, историк, во-вторых, должен также замечать разницу между отдельными эпохами, чтобы рассмотреть внутреннюю необходимость преемственности. Здесь нельзя не заметить определенный прогресс. Но я не хочу утверждать, что он движется по прямой, скорее он больше похож на поток, который прокладывает себе путь по-своему. Божество — если я могу осмелиться сделать это замечание — я представляю себе таким образом, что, поскольку перед ним нет времени, оно созерцает все историческое человечество в целом и находит в нем равную ценность. Впрочем, в идее воспитания человеческого рода есть что-то истинное, но перед Богом все поколения человечества предстают равноправными, так и историк должен смотреть на это.

2. Что следует думать о так называемой руководящей идее в истории

Философы, но особенно Гегелевская школа, выдвинули определенные идеи по этому поводу, согласно которым история человечества является логическим процессом, протекающим в виде тезиса, антитезиса и синтеза, в позитивном и негативном. Но в схоластике жизнь угасает, и поэтому и этот взгляд на историю, этот процесс развития духа в соответствии с различными логическими категориями привел бы к тому, что мы уже отвергли выше. Согласно этой точке зрения, только идея могла бы иметь самостоятельную жизнь.

А все люди были бы всего лишь тенями или схемами, которые воплощали бы идею. В основе учения о том, что мировой дух как бы обманным путем порождает вещи и использует человеческие страсти для достижения своих целей, лежит крайне недостойное представление о Боге и человечестве. Последовательно оно может вести только к пантеизму. В таком случае человечество — это становящийся Бог, который рождает себя сам посредством духовного процесса, заложенного в его природе.

Поэтому я не могу обозначить руководящие идеи иначе, как господствующие тенденции в каждом столетии. Между тем эти тенденции могут быть только описаны, но не суммированы в одном понятии в последней инстанции. В противном случае мы бы вновь вернулись к отвергнутому выше.

Теперь историку предстоит разобрать великие тенденции веков и развернуть великую историю человечества, которая как раз и является комплексом этих различных тенденций. С точки зрения божественной идеи я не могу думать об этом иначе, как о том, что человечество содержит в себе бесконечное множество эволюций, которые проявляются постепенно, хотя и по законам, нам неизвестным, более таинственным и величественным образом, чем кажется на первый взгляд.

219

Можно предположить безусловный прогресс, насколько мы можем проследить историю, в области материальных интересов, в которых даже совершенно чудовищные потрясения вряд ли приведут к регрессу. Но в моральном плане прогресс не наблюдается. Правда, моральные идеи могут широко развиваться; можно, например, утверждать, что великие произведения, созданные искусством и литературой, в настоящее время пользуются большим спросом, чем раньше. Но было бы нелепо стремиться быть большим эпиком, чем Гомер, или большим трагиком, чем Софокл.

КОРОЛЬ МАКС: Вы говорили выше о моральном прогрессе. Учитывали ли вы при этом внутренний прогресс?

РАНКЕ: Нет, но только прогресс человеческого рода. С другой стороны, индивид всегда должен подниматься на более высокую моральную ступень.

КОРОЛЬ МАКС: Но поскольку человечество состоит из индивидов, возникает вопрос, не охватит ли этот прогресс и все человечество в целом, если индивид поднимется на более высокую моральную ступень.

РАНКЕ: Индивид умирает; его существование ограничено; человечество, напротив, бесконечно. В материальных вещах я предполагаю прогресс, потому что здесь одно вытекает из другого. Иное дело в моральном отношении. Я верю, что в каждом поколении реальное моральное величие одинаково с другими поколениями, и что у мо-

рального величия нет никакого высшего уровня, как, например, мы не можем превзойти моральное величие древнего мира. Часто бывает даже так, что интенсивная величина обратно пропорциональна экстенсивной. (Сравните нашу современную литературу с классической.)

КОРОЛЬ МАКС: Но разве нельзя допустить, что Провидение, без ущерба для свободного самоопределения отдельного человека, поставило перед человечеством в целом определенную цель, к которой оно, хотя и ненасильственно, направляется?

РАНКЕ: Это космополитическая гипотеза, но ее невозможно доказать исторически. Хотя для этого у нас есть изречение Священного Писания о том, что однажды будет еще один пастырь и одно стадо. Но до сих пор это еще не подтвердилось как господствующий ход мировой истории. Доказательством этого служит история Азии, которая после периодов наибольшего расцвета снова впала в варварство.

КОРОЛЬ МАКС: Но разве сейчас не большее число индивидов достигло более высокого морального развития, чем раньше?

РАНКЕ: Я признаю это, но не в принципе. Ибо история учит нас, что некоторые народы не способны к культуре, и что зачастую более ранние эпохи были гораздо более моральными, чем более поздние.

(Франция в середине XVII века, например, была гораздо более нравственной и образованной, чем в конце XVII века.) Как я уже сказал, можно утверждать о большем распространении моральных идей, но только в определенных кругах. Как человеку мне кажется вероятным, что идея человечества, которая исторически представлена только в великих нациях, должна постепенно охватывать все человечество, и тогда это будет внутренним моральным прогрессом. История не противоречит этому воззрению, но и не доказывает его. Особенно мы должны остерегаться делать эти воззрения принципом истории. Наша задача — просто придерживаться объекта.

Понятие прогресса неприменимо к некоторым вещам. Как мы видели, это неприменимо к связи веков в целом, то есть: нельзя сказать, что одно столетие находится в услужении у другого. Далее, это понятие не будет применимо к произведениям гения в искусстве, поэзии, науке и государстве, поскольку все они имеют непосредственное отношение к Божественному. Хотя они основаны на времени, но то, что действительно продуктивно, не зависит от предыдущего и последующего. Так, например, Фукидид, который на самом деле создал историю, остался непревзойденным в своей манере.

Точно так же нельзя было бы предполагать прогресса в индивидуальном моральном или религиозном бытии, поскольку оно также

имеет непосредственное отношение к Божеству. Разве что можно было бы признать, что прежние понятия морали были несовершенны. Но с тех пор как появилось христианство, а вместе с ним и истинная мораль и религия, никакого прогресса в этом направлении произойти не могло. Верно и то, что, например, среди греков господствовали определенные национальные представления о дозволенности мести, очищенные христианством. Однако сущность христианства не была подготовлена предыдущими несовершенными состояниями, но христианство есть внезапное божественное проявление, как и вообще великие творения гения носят в себе характер непосредственно просветленного. После Платона не может быть никакого Платона. И хотя я совсем не отрицаю заслуг Шеллинга в философии, я все же не верю, что он превзошел Платона. Последний был непревзойденным по языку и манере говорить и вообще по своему поэтическому облику, хотя по содержанию нельзя отрицать, что Шеллинг умел использовать большую массу материала, переданного ему его предшественниками.

Напротив, следует предполагать прогресс во всем, что касается как познания, так и овладения природой. Первое было у древних как в детстве, и во втором отношении древние тоже не могут сравниться с нами. Это также связано с тем, что мы называем экспансией. Экспансия моральных и религиозных идей, вообще идей человечества, в настоящее время находится в состоянии непрерывного прогресса, и там, где когда-то существовал центр культуры, она имела тенденцию распространяться во все стороны, но не так чтобы можно было сказать, что прогресс в любой момент был безудержным.

В более материальных отношениях, в отношениях точных наук, а также в привлечении различных наций и отдельных людей к идее человечества и культуры прогресс является безусловным. Что касается отдельных наук, в частности философии и политики, то возникает вопрос, действительно ли в них произошел прогресс. Что касается философии, я должен признать, что мне достаточно древнейшей философии, которую мы находим у Платона и Аристотеля. В формальном отношении человек никогда не выходил за рамки этого, и в материальном отношении новые философы теперь снова возвращаются к Аристотелю. То же самое относится и к политике: общие принципы той же самой политики можно найти с наибольшей определенностью изложенными у древних, несмотря на то, что последующие времена также стали богаче по опыту и политическим экспериментам. Политика, в которой мы сейчас движемся, конечно, основана на исторически сложившихся условиях. Вопросы конституционной и сословной монархии и т.д. — это вопросы, которые полностью оправданны с нашей точки зрения, но все же основаны только на данных обстоятельствах.

Ибо никто не сможет утверждать, что сословия связаны с монархией уже в идее. Таким образом, более поздние времена имеют перед древними только то преимущество, что у них был более богатый опыт в политической области. Точно так же вопрос о суверенитете народа или правителя не может быть решен наукой, он решается историческим путем через партийные формы. То, что я сказал о политике, относится и к историографии. Например, никто не может претендовать на звание более великого историографа, чем Фукидид. Напротив, я даже претендую на то, чтобы сделать в историографии нечто отличное от древних, потому что наша история течет полнее, чем их история, потому что мы стремимся привлечь в историю другие силы, охватывающие всю жизнь народов, одним словом: потому что мы хотим объединить историю в единое целое.

Вот мы и определили основные понятия и отправную точку этих лекций.

Леопольд фон Ранке (1795-1886) — выдающийся немецкий историк, основатель научного подхода к изучению истории.

222

Leopold von Ranke (1795-1886) — a german historian and the founder of modern source-based history.

Обзоры и рецензии

Историческая социология сельско-городского развития Дж. К. Скотта: против упрощений

АЛЕКСАНДР М. НИКУЛИН

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Москва, Российская Федерация

ORCID: 0000-0001-7623-7985

Рекомендация для цитирования:

Никулин А. М. (2024) Историческая социология сельско-городского развития Дж. К. Скотта: против упрощений. *Социология власти*, 36 (3): 223-239 <https://doi.org/10.22394/2074-0492-2024-3-223-239>

For citations:

Nikulin A. M. (2024) Historical Sociology of Rural-Urban Development by James Scott: Against Simplifications. *Sociology of Power*, 36 (3): 223-239 <https://doi.org/10.22394/2074-0492-2024-3-223-239>

Поступила в редакцию: 30.08.2024; прошла рецензирование: 08.10.2024; принята в печать: 09.10.2024
Received: 30.08.2024; Revised: 08.10.2024; Accepted for publication: 09.10.2024



This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Copyright: © 2024 by the author.

Данная статья представляет собой критический анализ историко-социологических работ американского политического антрополога Дж. С. Скотта (1936–2024) в значительной степени связанных с исследованием противоречий общественного развития между городом и селом. Эта проблематика особо глубоко и всесторонне представлена прежде всего в монографиях Скотта его позднего интеллектуального периода: «С точки зрения государства» (1998), «Искусство быть неподвластным» (2006) и «Против зерна» (2016). В этих работах Скотт проанализировал, фактически в ретроспективном порядке, ряд узловых сельско-городских противоречий и парадоксов общественного развития от эпохи высокого модернизма XIX–XX веков до эры возникновения первых городов-государств VI тысячелетия до нашей эры. Свой анализ Скотт осуществил на основе обширных региональных компаративистских сравнений и междисциплинарных исследований в сферах истории, социологии, антропологии, культурологии, экологии, политологии.

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

Acknowledgements: The article was written on the basis of the RANEPА state assignment research program.

Через все эти исследования красной нитью проходит проблематика становления, развития и экспансии государственной власти в вопросах регулирования отношения между городом и деревней. С другой стороны, Скотт в вопросах государственно контролируемых взаимоотношений города и села выделяет проблематику влияния третьей силы, третьей стороны — значение так называемого безгосударственного, неоседлого варварства, анархии, вклинивающихся в регулирование сельско-городских противоречий.

Ключевые слова: город, деревня, государство, анархия, варварство, планирование, высокий модернизм, революция, ландшафт

The Historical Sociology of Rural-Urban Development by James Scott: Against Simplifications

Alexander M. Nikulin

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russian Federation

ORCID: 0000-0001-7623-7985

224

This article is a critical analysis of the historical and sociological works of the American political anthropologist J. S. Scott (1936–2024). His works were largely related to the study of the contradictions of social development between the city and the village. This topic is presented especially deeply and comprehensively in Scott's monographs of his late intellectual period: 'Seeing Like a State' (1998), 'The Art of Being Ungovernable' (2006), and 'Against the Grain' (2016). In these works, Scott analyzed—practically in retrospective order—several key rural-urban contradictions and paradoxes of social development from the era of high modernism of the 19th–20th centuries to the era of the emergence of the first city-states in the 6th millennium BC. Scott based his analysis on extensive regional comparative studies and interdisciplinary research at the intersection of history, sociology, anthropology, cultural studies, ecology, and political science. The problem of the formation, development, and expansion of state power in matters of regulating relations between city and countryside are core themes of these works. On the other hand—in matters of state-controlled relations between city and countryside—Scott highlights the influence of a third force, a third party: the so-called stateless, unsettled barbarism and anarchy that wedges itself into the regulation of rural-urban contradictions.

Keywords: city, village, state, anarchy, barbarism, planning, high modernism, revolution, landscape

Крестьянове́д Джеймс Скотт как урбанист

В этом году ушел из жизни Дж. К. Скотт (1936–2024) — один из самых замечательных обществоведов современной эпохи, чьи исследования всегда оказывались на пересечении таких разных дисциплин, как политическая антропология и социальная исто-

рия, историческая и аграрная социологии, культурология и социальная психология. Джим Скотт создал и на протяжении четверти века руководил знаменитой междисциплинарной программой аграрных исследований Йельского университета, одной из ведущих исследовательских программ мирового уровня. Переосмысливая его плодотворное междисциплинарное интеллектуальное и институциональное наследие, мы должны подчеркнуть парадоксальность того до сих пор мало осознаваемого факта, что Джим Скотт, один из отцов-основателей направления *peasant studies*, внес также весомый вклад в *urban studies*. Более того, ему часто удавалось успешно исследовать даже проблемы взаимодействия, взаимопересечения двух главных великих стихий существования человечества — сельской и городской жизни.

В этой связи обратимся для начала к названию и идеям первой книги Дж. С. Скотта «Моральная экономика крестьянства» [Scott 1976]. Подчеркнем, что ключевой термин «моральная экономика» американский автор позаимствовал, как известно, у своего старшего коллеги британского историка Э. П. Томпсона, который обосновал и развил этот термин в ряде своих работ 1960–1970-х годов, посвященных повседневности английских горожан-бедняков накануне промышленной революции [Thompson 1963; 1971; 1975].

225

В исследованиях как Скотта, так Томпсона подчеркивается значение особой этики выживания сельских и городских трудящихся, особо ярко, драматически проявившейся в социальных кризисах исторических переходов от традиционного (доиндустриального) к современному (индустриальному) обществу. Для Томпсона его историко-эмпирическое поле — это повседневность выживания ремесленников и рабочих Англии XVIII — начала XIX века, а для Скотта — это заботы крестьянских сообществ в ряде регионов Юго-Восточной Азии конца XIX — первой половины XX века.

Учитывая специфику жизни и работы горожан Томпсона в сравнении с крестьянами Скотта, можно все же отметить общие сельско-городские корни «моральной экономики», которые заключаются в требованиях сельско-городских трудящихся бедняков и внутри собственных сообществ, и в отношении сельско-городских элит нравственных гарантий поддержания определенного прожиточного минимума для всех социальных слоев. С развитием рыночного индустриализма, разрушающего традиционные миры патрон-клиентских отношений сначала в городе, а потом и на селе, властные элиты пробуют отказываться от своих традиционных моральных обязательств по отношению к подвластным. А это часто вызывает взрывы народного возмущения и гнева, воплощающиеся в бунтах городской бедноты и сельских восстаниях крестьян.

Подобному тому, как Томпсон гуманистически воссоздал чаяния, особенности повседневного поведения, стратегию этических и политических требований обитателей бедных кварталов английских городов на заре индустриализации, так и Скотт, по точному определению Шанина, своей книгой «...бросил вызов как романтизированным пасторальным описаниям сельских сообществ, так и вульгарному марксизму, рассматривающему крестьян как мелкобуржуазных конформистов (и как антитезис абстрактно-утопического пролетариата, безусловно, революционного “по своей сути”). Место мелкобуржуазных, отсталых или просто тупых крестьян занимает эмпирически обоснованный и куда более правдоподобный образ “стоящего по шею в воде”, но стратегически мыслящего о себе и о своей жизни человеческого существа, которого и природный катаклизм, и государственная политика, и местные начальники могут потопить в любой момент. Книга рассматривала ценностную систему взаимопомощи и приличий, которая возникает в подобных обществах и поддерживает их, а именно — социальную экономику и этику повседневного выживания их членов» [Шанин 2012: 12].

226

Надо отметить, что чуткие исторические социологи Томпсон и Скотт уловили в своих исследованиях сам дух периода слома традиционного образа жизни — в одном случае, среди английских горожан-бедняков (под воздействием начинающейся промышленной революции), в другом случае — среди крестьян Юго-Востока Азии (под воздействием экспансии рыночно-колониальной экономики). Именно в такие времена революционизирующих общественных перемен особенно зримой становится истина, сформулированная другим замечательным историческим социологом Баррингтоном Муром: «Революции рождаются не из победного клича восходящих классов, а из предсмертного вопля тех классов, над которыми вот-вот должна сомкнуться волна прогресса» [Мур 2016: 493].

Впоследствии в своих работах, сначала базируясь на материалах собственного сельского малазийского полевого исследования книги «Оружие слабых», а затем и на разнообразных примерах из монографии «Господство и искусство сопротивления через потаенные послания», Джим Скотт воссоздал континуум противостояния подвластных (часто бедных сельчан) своим властителям (чаще связанных с богатством городов).

В более поздних монографиях, в особенности в книгах «С точки зрения государства» и «Против зерна», Скотт ставил вопросы взаимодействия города и села с точки зрения воздействия экспансии государственных проектов на сельско-городское планирование. В фокусе двух этих исследований находятся совершенно разные исторические периоды, разделенные тысячелетиями. Проанализируем ретроспективно проблематику относительно современных

и очень древних государственных планов городского и сельского развития по Скотту.

Ретроспективная историческая социология сельско-городских государственных упрощений: от современно высокого модернизма до древнеглубинного огосударствления

Обратившись к основным идеям книги «С точки зрения государства», мы обнаружим, что здесь чрезвычайно важными являются два понятия: «высокий модернизм» и «упрощение».

Как Скотт честно отмечал, что понятие «моральная экономика» он заимствовал у Томпсона, так же Скотт признавал, что понятие «высокий модернизм» он заимствовал у замечательного британского социального географа Д. Харви. И так же, как в случае с Томпсоном, Скотт расширил, углубил и эффектно «проиллюстрировал» понятие «высокий модернизм», связав его с административным рвением любого государства, нацеленным на «приведение в порядок» природы и общества. Идеология высокого модернизма, сформировавшаяся и ярко проявившая себя в XIX–XX веках, по Скотту, есть «наиболее мощная, можно даже сказать, чрезмерно мускулистая версия веры в научно-технический прогресс, расширение производства, возрастающее удовлетворение человеческих потребностей, господство над природой (включая и человеческую) и, главное, в рациональность проекта социального порядка, выведенного из научного понимания естественных законов» [Скотт 2005: 24]. Автор утверждает, что «административный восторг», воодушевленный верой в «высокий модернизм», почти автоматически означает запуск цепной реакции всякого рода государственных планов и проектов упрощения окружающей действительности. А если еще оказывается, что в том или ином регионе в силу констелляции разнообразных военно-политических и социально-экономических причин вырастает мощь авторитарного государства и, как правило, соответственно уменьшается сила гражданского общества, и тогда жди беды от разгула бюрократических стихий жестко упрощенного упорядочивания природы и общества.

Основной перечень этих возможных упрощений содержится в оглавлении книги «С точки зрения государства», где в названиях частей, глав, параграфов непременно используется соответствующий термин: «Государственные проекты: прояснения и упрощения»; «Упрощение и стандартизация измерений»; «Землевладение: местная практика и финансовые упрощения»; «Приручение природы: четкое и упрощенное сельское хозяйство»; «Разновидности

сельскохозяйственного упрощения»; «Непредвиденные последствия упрощений»; «Упрощающие предположения сельскохозяйственной науки»; «Упрощенные методы научного сельского хозяйства»; «Неадекватные упрощения и практическое знание: метис» [Скотт 2005: 7-8] .

Но даже в тех разделах, где в названии отсутствует слово «упрощение», именно это понятие продолжает оставаться центральным для научного анализа. Сам подзаголовок книги «Почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни» раскрывается через разбор фиаско планов высокомодернистского упрощения условий человеческой жизни. Да и вся эта книга в значительной степени представляет собой коллекцию хрестоматийных всякого рода сельско-городских кейсов упрощения окружающей действительности.

Книга открывается историческим анализом описания системы выращивания регулярного и «правильного» леса, разработанной и внедренной в Германии, а затем по немецкому образцу и в других странах Запада к началу XIX века. Данная система позволяла за счет выбраковки так называемых «неправильных» деревьев, а также всякой другой «ненужной» растительности сконцентрироваться исключительно на ускоренном выращивании «регулярных» деревьев для дальнейшего их прагматического использования в рыночной экономике и государственном хозяйстве. Лес, очищенный от «низших» растительных рас, сначала показал стремительный рост столь нужных рынку и государству стандартных сортов древесины, но через пару лесных поколений вдруг стал болеть и погибать в катастрофических масштабах. Оказалось, упрощенное лесоводство зари эры высокого модернизма не учло сложности экосистемы, не поддающейся прагматично рациональным упрощениям. В результате германским лесоводам пришлось искусственным путем интродуцировать ту самую растительную «дрянь», от которой они ранее старательно избавлялись.

Мораль этой притчи «о регулярном лесе» красной нитью пронизывает описание иных случаев государственной политики упрощения жизни. Например, Скотт подробно анализирует ряд знаменитых проектов рационально организованных городов. Их стилистика различна. Реконструкция Парижа в виде роскошных буржуазных кварталов барона Османа XIX века, конечно, внешне отличается от функционального конструктивизма Ле Корбюзье или Оскара Нимейера века XX. Неизменным в этих проектах оставалось стремление к упрощенному пониманию общественных порядка, пользы, комфорта, связанных почти исключительно с задачами повышения эффективности государственного и рыночного контроля над обществом. И так же, как в случае с ра-

циональным лесоводством, в финале этих почти завершенных амбициозных проектов вдруг возникали проблемы новых социальных болезней и осложнений. Очаги социальной напряженности в Париже не исчезли, а лишь переместились в бунтарские предместья. В стерильно правильных домах и городах конструктивистов было так неуютно жить, что их обитатели вольно или невольно привносили в среду обитания старую добрую неправильность и «иррегулярность».

Еще более драматически непредсказуемыми по своим последствиям оказались опыты высокого модернизма в области реформирования сельского хозяйства. Скотт показывает, как в 1920-е годы среди аграрных технократов США и СССР вызревали амбициозные планы создания громадных аграрных фабрик зерна и мяса по образцу гигантов городской индустрии. Но воплощение в жизнь этих проектов столкнулось с массой трудностей, связанных как с непознанностью сил природы, так и со сложностью человеческих мотиваций. Массовое применение технологий сопровождалось ненамеренными, а порой умышленными ошибками работников агрогигантов, что привело к экономическим провалам. Высокая забюрократизированность при низкой эффективности сопровождалась широкой бесхозяйственностью — и это несмотря на драконовские сталинские меры коллективизации. Печальные аналоги советского опыта Скотт находил в китайских, танзанийских, эфиопских аграрных реформах, также направленных на создание образцовых сельских поселений, коммун, деревень с рационально организованным крупным аграрным производством. Бюрократическое, часто насильственное привнесение абстрактных индустриально-урбанистических идеалов в сельскую жизнь обернулось разрушением не только традиционных укладов, но и создавало уродливый и малоустойчивый социалистический мир, подверженный рискам депопуляции и экологических катастроф. Впрочем, и в США, как подчеркивает Скотт, высокий агротехнократизм с его тотальной химизацией почвы, экспансией монокультур рыночно ориентированных сортов растений и пород животных столь же непредсказуемо и порой губельно упрощал цветущую сложность сельской жизни. Исследователь приходил к выводу: «Похоже, что радикально упрощенные проекты социальной организации подвержены риску неудачи не меньше, чем проекты радикального упрощения окружающей среды. Неэффективность и уязвимость монокультурных коммерческих лесов и генетически программируемой, механической монокультурности аналогичны неудачам коллективных хозяйств и спланированных городов. В связи с этим я здесь отстаиваю жизнеспособность социального и природного разнообразия и подробно показываю прин-

ципиальную ограниченность нашего знания о функционировании сложных систем» [Скотт 2005: 24].

В конце книги Скотт, анализируя причины фатальных провалов проектов высокого модернизма, указывал, что одна из главных ошибок заключалась в игнорировании локального знания, а также альтернативных ситуативных решений.

Но когда, с чего, в какие времена начались процессы государственного упрощения окружающей действительности? Логично заключить, что они возникли вместе с первыми государствами. Именно этому сюжету посвящена книга «Против зерна. Глубинная история древнейших государств» [Скотт 2020]. Работа основана на новейших историко-социологических данных, в основном собранных в междуречье Тигра и Евфрата, где и возникали первые в мире государства. Тщательно изучая хронику позднего неолита, когда на протяжении тысячелетий происходил чрезвычайно медленный и отнюдь не линейный переход от первобытных сообществ охотников, собирателей, рыболовов к первым очагам становления земледелия и животноводства, Скотт полемизирует с традиционным нарративом о том, что оседлый образ жизни с его пахотным земледелием оказался великим благостным фундаментом цивилизации, которая лишь прогрессивно укреплялась, развивалась и совершенствовалась. По его мнению, переход от безначальственного неолита к бронзовому и железным векам был переполнен всякого рода социальными катаклизмами, в которых позитивное значение государств сильно преувеличено — прежде всего потому, что историю со времен изобретения письменности и по сию пору в основном пишут и контролируют сами государства в лице своих чиновников-историков-хроникеров.

230

Если же реконструировать историю становления земледельческой цивилизации с догосударственных, дописьменных времен, то можно обнаружить, что первые *упрощения* природы и человека возникают вместе с процессами приручения-одомашнивания огня, растений, животных. Скученность приводила к возникновению первых эпидемий, которые по сей день наиболее разрушительны именно в городских центрах концентрации человеческой жизни и активности. Как отмечает Скотт, люди вплоть до XX века не понимали истинных причин моровых поветрий, однако инстинктивно стремились бежать в соответствующих ситуациях из городов в малонаселенные местности.

Скотт признает, что выбор пути развития сельского хозяйства к концу неолита был безальтернативен: демографический рост оставлял охотникам и собирателям все меньше пространства для маневра, они были вынуждены интенсифицировать трудозатраты, все чаще обращаться к оседлому земледелию, к тому же поголовье

крупной дичи сокращалось вплоть до полного исчезновения. Однако, как подчеркивает Скотт, выращивание урожая и разведение скота в неолите не считались главными способами пропитания из-за затрачиваемых на них трудовых усилий, заключавшихся в значительной степени в необходимости обороны упрощенного искусственного ландшафта от исключенной из него прочей природы: сорняков, птиц, грызунов, насекомых, грибковых инфекций, особо угрожающим монокультурам. В таких условиях оседлое земледелие являлось не только трудозатратным, но уязвимым и хрупким.

Вот тогда, где-то между древнейшими безгосударственными селами и даже городами, возникавшими на первых порах только в исключительно благоприятных для земледелия условиях, стали появляться и самые первые государства, которые концентрировали власть через контроль, накопление, распределение прежде всего зерновых культур — проса, пшеницы, риса, а в Новом Свете — кукурузы. По мнению Скотта, исключительный и своеобразный редукционизм концентрации зерна лежал в основании первых проектов развития и экспансии государств, которые стали также концентрировать подневольный труд — прежде всего для дальнейшего роста производства зерновых как основы дальнейшей экспансии. Древняя агроэкология этих государств, возникавших в плодородных дельтах и долинах Месопотамии, также была чрезвычайно хрупкой. Основанная на зерновых монокультурах она была уязвима для климатических изменений, эпидемий, войн за продовольствие и рабов. Как результат, политический порядок этих протогородов-государств часто был недолговечен. Они возникали так же стремительно, как и исчезали. Но главное: человечество не спешило вливаться в первые государственные очаги упрощающего прогресса. Наоборот, на протяжении тысячелетий древние государства являлись небольшими пятнами, то появлявшимися и расширявшимися, то уменьшающимися и исчезающими на просторах безгосударственной жизни. И долго еще, вплоть до второго тысячелетия нашей эры, большая часть человечества предпочитала безгосударственный образ жизни охотников, собирателей, кочевников и прочих «варваров», постоянно наносивших своими набегами и миграциями значительный, порой фатальный урон древним и средневековым государствам.

По мнению Скотта, естественное богатство природных и человеческих ритмов жизни было присуще и доступно именно охотникам и собирателям, вслушивающимся, вчувствующимся, вживающимся в окружающий их мир. Земледельцы, связанные одной зерновой пищевой сетью и скованные одной цепью государственного контроля за зерновыми, подчинялись гораздо более обедненному и упрощенному ритму: «Не будет преувеличением сказать, что по сложности охота и собирательство отличаются от зернового

земледелия так же, как оно — от монотонной работы на современной сборочной линии: каждый из названных видов деятельности представляет собой очередной шаг в сторону сужения перспективы и упрощения решаемых задач» [Скотт 2005: 112].

Идя наперекор господствующему мнению, Скотт заявляет: «Я испытываю искушение назвать позднеолитическую революцию со всем ее вкладом в становление крупных обществ деквалифицирующей и упрощенческой... Если это слишком мрачное изображение прорыва, ответственного за саму возможность становления цивилизации, то давайте по крайней мере признаем, что он снизил интерес нашего вида к практическому знанию о мире природы и сократил наш рацион, жизненное пространство и богатство ритуальной жизни» [2005: 114].

Лишь в одном Скотт соглашается с расхожими суждениями: в конечном счете именно одомашнивание растений и животных обеспечило уровень оседлости, необходимый для формирования фундамента первых цивилизаций со всеми их культурными достижениями. Впрочем, и здесь он критически подмечает, что генетическая основа этого фундамента чрезвычайно тонка и хрупка: «... горсть злаков, несколько видов домашних животных и предельно упрощенный ландшафт, который приходилось постоянно удерживать от возврата в лоно дикой природы. И при этом домашняя усадьба никогда не была близка к самодостаточности. Ей постоянно были нужны дотации исключенной из хозяйственного оборота природы: древесина на топливо и для строительства, рыба, моллюски, выпасы скота в лесу, мелкая дичь, дикорастущие овощи, фрукты и орехи. В случае голода земледельцы прибегали ко всем внедомохозяйственным ресурсам, которые обеспечивали пропитание охотников-собирателей» [Скотт 2005: 135].

Чем действительно ознаменовался, по мнению Скотта, приход цивилизованной государственности, так это возникновением стен вокруг городов, ставших безошибочной приметой оседлого земледелия — знаком хранения продовольственных запасов. В «Эпосе о Гильгамеше» легендарный основатель государства приступает к строительству городских стен — предполагается, для защиты собственного народа. В этой связи Скотт задается вопросом: «Следует ли считать создание государства результатом совместных усилий (возможно, общественного договора) подданных-земледельцев и их правителя... по защите урожаев, семей и скота от нападений других государств или безгосударственных народов?» [Скотт 2005: 161]. И сам же отвечает на него: «На самом деле все было намного сложнее. Как земледелец пытался защитить свой урожай от хищников (людей и нелюдей), так и государственные элиты были заинтересованы в охране “мышечного каркаса” своей власти — земле-

дельческого населения и зернохранилищ, привилегий и богатств, политических и ритуальных полномочий» [Скотт 2005: 162].

В подтверждение этой версии Скотт ссылается на работы Оуэна Латтимора и ряда других авторов, полагающих, что Великая Китайская стена создавалась не только для сдерживания варваров-кочевников на границах империи, но для удержания китайских земледельцев-налогоплательщиков, чтобы они не сбежали из этой самой империи. Так городские стены внутри своего периметра должны были сохранить не только внешние, но и внутренние основы государственности. Важнейшая задача этих стен заключалась в обозначении пределов политического контроля государства [Lattimore 1987].

В целом возникающее в позднем неолите искусство государственного строительства заключалось в особой политической концентрации ландшафта для упрощения обогащения элит (больше зерновых — больше людей), а также в создании соответствующих информационных технологий (письменных записей), которые облегчали доступ государств к ресурсам.

Впрочем, отмечает Скотт, именно амбициозные усилия потщательному (вширь и вглубь) исключительно политическому проектированию пространства порой становились причиной гибели знаменитых древних государств. Например, зарегламентированная донельзя Третья династия Ура просуществовала менее столетия, а знаменитая китайская династия Цинь и того меньше — лишь пятнадцать лет.

Исследователь особо подчеркивает, что изобретение письменности неразрывно связано с государственным управлением. Он иронически замечает, что письменных текстов о государственном управлении со времен Древнего Вавилона и по сию пору гораздо больше, чем лирических текстов о любви. Археология показывает, что без иерархии чиновников, генерирующих административно-документальную коммуникацию, применение письменности резко сокращается (а то и исчезает вовсе). К тому же в древнейших государствах письменно грамотным являлся прежде всего узкий слой чиновников. Тем не менее Скотт неоднократно подчеркивал, что выдающаяся культура может существовать даже и без письменности. Например, в так называемые «темные века» древнегреческой истории (1200–800 годы до н. э.), когда греки утратили письменность, их культура не исчезала, но сохранялась и развивалась в устных формах — именно в этот период изустно создавались и запоминались «Илиада» и «Одиссея», записанные позже.

В целом критика Скоттом как модернистских, так и древнейших государств показала неоднозначность прогрессистской исторической модели, подразумевающей, что городская жизнь приходит на смену сельской, из городов развиваются государства, распро-

страняющие свою власть на окружающую местность. Скотт показал в различных работах, что и в неолитической, и в современной сельской и городской жизни есть пространства внесударственного существования, находящиеся в своеобразном сельско-городском симбиозе противостояния государственному контролю.

Те, кто не хочет испытывать на себе прелести государственного контроля в городе или на селе, с древности и почти по сию пору придерживались бродячего образа жизни охотников, собирателей, рыболовов в лесах, или принадлежит к кочевым народам степей и гор, пустынь и тундр. В былые времена из глубин этих труднодоступных территорий безгосударственно организованные кочевники совершали набеги на села и города государств, которые клеймили этих анархистов варварами, не понимающими и не принимающими прелестей одомашненной огосударственной жизни.

Всемирная история сельско-городского противостояния анархистствующих «простецов» и государственных «упрощенцев»

234

Вновь вернемся к монографии Скотта «С точки зрения государства». Вдосталь раскритиковав прожектерство высокого модернизма, в последней части своей книги он задается рядом вопросов. Что может противостоять упрощенческим амбициям высокого модернизма? Какого рода знания и действия необходимы нам для корректировки влияния абстрактно-технократического бюрократизма? Этот фрагмент представляет собой упражнение в своеобразной исторической социологии знания. Скотт обращается к аналитическому разделению видов человеческого знания, предложенного еще древнегреческими философами, на эпистеме, техне и метис. Эпистеме — это преимущественно абстрактно философское знание, техне — преимущественно инженерно-технократическое, метис — по сути, практическое, ситуативное, локальное знание. Именно последний тип знания — метис — знание местного локального здравого смысла, является народным, негосударственным, часто анархически ориентирующимся по текущим обстоятельствам переменчивой природы и спонтанности общества. Метис — знание, почерпнутое не из книг и инструкций. Это знание динамичное и пластичное, находящееся и возникающее в гуще природно-социальных явлений повседневности мира. Именно это знание столь часто игнорировалось и даже искоренялось в ходе воплощений в жизнь амбициозных проектов как древних, так и современных государств. Оно клеймилось как отсталое, невежественное, варварское часто потому, что трудно кодифицировалось, казалось досадным и никчемным

препятствием на пути упрощения окружающей действительности во имя прогрессивного государственного контроля. Но часто именно игнорируемый властями и презируемый метис сохранял человечество от оскудения за счет богатства проявлений «моральной экономики», «оружия слабых», «потаенных посланий», «безгосударственного существования».

Скотт с тревогой отмечал, что метис, несмотря на свою пластичность, подвергся фатальным деформациям. Например, в отношении локальных практик власти ученый отмечал: «На протяжении последних двух столетий привычные устои рушились с такой скоростью, что следовало бы называть это их массовым вымиранием — чем-то сродни ускоренному исчезновению видов. Причина этого вымирания аналогична биологической: утрата мест обитания... Главный виновник — не что иное, как государство, в частности, современное государство, заклятый враг анархистов. Его развитие и повсеместное распространение вытеснило, а затем и уничтожило множество прежних форматов политического устройства: рода, племена, вольные города и их союзы, общины и империи. На их месте теперь повсюду лишь одна форма политического устройства — сформировавшееся в XVIII веке североатлантическое национальное государство, притворяющееся универсальным» [Скотт 2019: 64].

235

Скотта также беспокоило «переписывание» сельско-городских катаклизмов войн и революций все с теми же целями упорядочения и упрощения пропаганды общественного развития в перспективе государственной идеологии. Ситуация осложняется тем, что противостояние населения государству принимало в истории по большей части форму малозаметной рассредоточенной повседневной борьбы с применением оружия слабых. Именно поэтому Скотт формулирует еще одно чрезвычайно важное аналитическое понятие своего словаря — «инфраполитика»: «Напрасно мы будем искать у крестьян и в большинстве случаев у рабочего класса в ранний период его истории какие-либо формальные организации и публичные проявления несогласия. В этом случае мы имеем дело с тем, что я называю “инфраполитикой”, потому что она осуществляется за пределами видимого спектра того, что обычно считается политической деятельностью. Государство исторически препятствовало самоорганизации низших классов, не говоря уже о публичном неповиновении. Для подчиненных групп такая политика опасна. Они, как и партизаны, в большей или меньшей степени смогли понять, что расправы помогают избежать рассредоточенность и малое число участников» [Скотт 2019: 72].

В конце концов какое бы примечательное историческое событие ни происходило, официальные хроникеры власти постараются приписать *ему упрощающую логику и упорядоченность*, несмотря

на всю сложность и противоречивость того, что чувствовали непосредственные участники, а также на неотъемлемый элемент случайности. От себя заметим, что, возможно, своего рода чемпионом среди манифестов политического упрощения истории на примере русской революции и ее последствий является сталинский краткий курс истории ВКП(б) [Краткий курс... 2014]. «Тенденция подчищать, упрощать и спрессовывать исторические события в удобную форму — это не только естественная склонность людей или необходимость, вызванная нехваткой места на страницах учебников. Это еще и часть политической борьбы, ставки в которой высоки» [Скотт 2019: 81]. И конечно, такие события, как Великая революция 1917 года в России или Великая Французская революция, были явлениями, в которых огромное количество участников абсолютно не представляло, чем все закончится в итоге.

236

Размышляя над событиями Русской революции, Скотт, например, соглашался с теми, кто утверждал, что, в сущности, большевики мало чего сделали для того, чтобы революция началась. Но зато, как выразилась Ханна Арендт, «большевики увидели, что власть лежит на дороге, и подняли ее» [Арендт 2011: 64]. А в целом события 1917 года характеризовались невероятной запутанностью и спонтанностью. В чем историки единодушны, полагает Скотт, так это в том, что рабочие Москвы и Санкт-Петербурга, хотя и не удовлетворенные условиями своей жизни и настроенные весьма воинственно, все же не собирались брать в свои руки заводы и фабрики. Также большинство современных историков признает, что накануне революции большевики не имели решающего контроля над рабочими массами, а среди крестьянства вообще были малоизвестны.

Но вот большевики пришли к государственной власти и принялись писать свою историю так, как будто не было никакой случайности, замешательства, спонтанности, игнорируя в своей версии событий значение других революционных настроений, движений, партий. Теперь «их» победившая история концентрировалась лишь на предвидении, целеустремленности и мощи партии нового типа. Когда в соответствии с ленинскими идеями брошюры «Что делать?» основными двигателями исторического процесса большевики утверждали прежде всего себя [Ленин 2021]. Скотт заключает: «Учитывая, что их власть в 1917–1921 годах была очень непрочной, большевики были очень заинтересованы в том, чтобы убрать революцию с улиц в музеи и школьные учебники как можно быстрее, чтобы люди не вздумали повторить ее еще раз. В общем, они сделали все, чтобы представить революционный процесс естественным следствием исторической необходимости, легитимизируя тем самым “диктатуру пролетариата”» [Скотт 2019: 109].

Один из любимейших русских писателей Скотта — Андрей Платонов, современник Русской революции, гениально отобразивший в своих произведениях 1920-х годов волны непредсказуемо спонтанной жизни ее бродячих антигосударственных героев-протестов среди сел и городов времен Гражданской войны, в своей сатирической антибюрократической повести «Город Градов» (1926) словами одного чиновника-проектировщика так отобразил суть упорядочения постреволюционного государственного понимания истории: «Бюрократия имеет заслуги перед революцией: она склеила расплывшиеся части народа, пронизала их волей к порядку и приучила к однообразному пониманию обычных вещей» [Платонов 1987: 7].

Именно противодействию подобного рода фатально упрощенному бюрократическому видению смыслов революции и эволюции древней и новой региональной и всемирной, сельской и городской истории человечества противостоит анархическая историческая социология Дж. С. Скотта.

Библиография / References

237

- Арендт Х. (2011) *О революции*. — М.: Издательство «Европа», 2011. EDN: QPTTAF
 — Arendt H. (2011) *On Revolution*. М.: Izdatelstvo “Europa”. — in Russ.
- «Краткий курс истории ВКП(б)». *Текст и его история*. (2014) В 2 частях. Часть 1. История текста «Краткого курса истории ВКП(б)». 1931-1956. Сост. М. В. Зеленев, Д. Бранденбергер. М.: РОССПЭН.
 — “A Short Course in the History of the All-Union Communist Party (Bolsheviks)”. The text and its history. (2014) In 2 parts. Part 1. History of the text of “A Short Course in the History of the All-Union Communist Party (Bolsheviks)”. 1931-1956. Compiled by M. V. Zelenov, D. Brandenberger. Moscow: ROSSPEN. — in Russ.
- Ленин В. И. (2021) *Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения*. — М.: URSS.
 — Lenin V. I. (2021) *What is to be done? Urgent issues of our movement*. — М.: URSS.
- Мур Б. (2016) *Социальные истоки диктатуры и демократии: роль помещика и крестьянина в создании современного мира*. — М.: Изд. дом Высш. шк. экономики.
 — Moor B. (2016) *Social origins of dictatorship and democracy: the role of the landowner and the peasant in the creation of the modern world*. — М.: Publishing house of the Higher school of economics. — in Russ.
- Никулин А. М. (2012) От одомашниваний в неолите к оседлости в империях: концепция истории борьбы между государством и варварами Дж. Скотта. *Социология власти*, (4-5): 17-33. EDN: RCHOIL
 — Nikulin A. M. (2012) From Neolithic Domestication to Imperial Settlement: J. Scott’s Conception of the History of Struggle Between State and Barbarians. *Sociology of Power*, (4-5): 17-33. — in Russ.

Никулин А. М. (2022) Джеймс Скотт и Александр Чаянов: от крестьян через революции к государствам и анархиям. *Социологическое обозрение*, 21(3): 202-228. EDN: НВРАНУ. <https://doi.org/10.17323/1728-192x-2022-3-202-228>

— Nikulin A. M. (2022) James Scott and Alexander Chayanov: From the Peasantry through revolutions, to the states, and anarchies. *Russian Sociological Review*, 21(3): 202-228. — in Russ. <https://doi.org/10.17323/1728-192x-2022-3-202-228>

Платонов А. *Потомки Солнца. Рассказы и повести*. М.: Правда, 1987.

— Platonov A. (1987) *Descendants of the Sun. Stories and Novels*. М.: Pravda. — in Russ.

Скотт Дж. (2005) *Благими намерениями государства*. М.: Университетская книга. EDN: QOEPBJ

— Scott J. S. (2005) *By the Good Intentions of the State*. М.: University Book. — in Russ.

Скотт Дж. С. (2017) *Искусство быть неподвластным: Анархическая история высокогорий Юго-Восточной Азии*. М.: Новое издательство.

— Scott J. C. (2017) *The Art of not Being Governed: An Anarchic History of Upland Southeast Asia*. М.: New Publishing House. — in Russ.

Скотт Дж. (2019) *Анархия нет, но да!* М.: Радикальная теория и практика.

— Scott J. C. (2019) *Anarchy No, But Yes!* М.: Radical Theory and Practice. — in Russ.

Скотт Дж. С. (2020) *Против зерна. Глубинная история древнейших государств*. М.: Издательский дом «Дело». EDN: XSSHZD

— Scott J. C. (2020) *Against the Grain. The Deep History of the Earliest States*. М.: Delo Publishing House. — in Russ.

Тюнен И. Г. (1926) *Изолированное государство*. М.: Экон. жизнь.

— Tyunen I. G. (1926) *Isolated state*. М.: Ekon. life. — in Russ.

Шанин Т. (2012) Об этнографической социологии Джеймса Скотта. *Социология власти*, (4-5): 9-16. EDN: RCHOIB

— Shanin T. (2012) On the ethnographic sociology of James Scott. *Sociology of power*, (4-5): 9-16. — in Russ.

Шанин Т. (1999) Эксплоярные экономики: политэкономия общественных общин. *Неформальная экономика. Россия и мир*. М.: Логос: 545-554.

— Shanin T. (1999) Expolar Economies: Political Economy of Social Margins. *Informal Economy. Russia and the World*. М.: Logos: 545-554. — in Russ.

Boserup E. (1965) *The Conditions of Agricultural Growth: The Economics of Agrarian Change under Population Pressure*. Chicago: Aldine; London: Allen & Unwin.

Clastres P. (1987) *Society against the State*. New York: Zone Books.

Harvey D. (1989) *The condition of postmodernity: An inquiry into the origins of social change*. Oxford: Basil Blackwell.

Pournelle J. (2003) *Marshland of Cities: Deltaic Landscapes and the Evolution of Early Mesopotamian Civilization*. University of California at San Diego.

Scott J. C. (1993) *Domination and the art of resistance: hidden transcripts*. New Haven: Yale University Press.

Thompson E. P. (1963) *The Making of the English Working Class*. London, UK: Victor Gollancz Ltd. p. 848.

Thompson E. P. (1971) The moral economy of the English crowd in the eighteenth century. *Past & Present*, 50(1): 76–136.

Thompson E. P. (1975) *Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act*. London: Allen Lane, 1975.

Никулин Александр Михайлович — к.э.н., директор Центра аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; директор Чаяновского исследовательского центра МВШСЭН. Научные интересы: историческая и аграрная социология, экономическая история.

ORCID: 0000-0001-7623-7985. E-mail: harmina@yandex.ru

Alexander M. Nikulin — PhD (Economics), Head of the Center for Agrarian Studies, Presidential Academy of National Economy and Public Administration; Head of the Chayanov Research Center, Moscow School of Social and Economic Sciences. Research interests: historical and rural sociology, economic history.

ORCID: 0000-0001-7623-7985. E-mail: harmina@yandex.ru

«Новый облик» капитализма как основа историко-социологического анализа эволюции неравенства

Рецензия на книгу: Хаскел Дж., Уэстлейк С. (2024) Капитализм без капитала: Подъем нематериальной экономики. М.: ВШЭ

240

Рекомендация для цитирования:
Троцук И. В. (2024) «Новый облик» капитализма как основа историко-социологического анализа эволюции неравенства. Рецензия на книгу: Хаскел Дж., Уэстлейк С. (2024) Капитализм без капитала: Подъем нематериальной экономики. М.: ВШЭ.
Социология власти, 36 (3): 240-251
<https://doi.org/10.22394/2074-0492-2024-3-240-251>

For citations:
Trotsuk I. V. (2024) The “New Face” of Capitalism as a Basis for the Historical-sociological Analysis of the Evolution of Inequality. Book Review: Haskel J., Westlake S. (2024). Capitalism without Capital: The Rise of the Intangible Economy. Moscow: Publishing House of the Higher School of Economics. *Sociology of Power*, 36 (3) 240-251:
<https://doi.org/10.22394/2074-0492-2024-3-240-251>

Поступила в редакцию: 10.09.2024;
принята в печать: 17.09.2024
Received: 10.09.2024; Accepted for publication: 17.09.2024



This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

© 2024 by the author.

Ирина В. Троцук

Российский университет дружбы народов; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Москва, Российская Федерация

ORCID: 0000-0002-2279-3588

В отличие от поколений, живших в XIX-XX веках в полной уверенности, что за понятием «капитал» не может стоять ничто иное помимо материальных/финансовых средств (особенности распределения которых и составляют суть капиталистического общества), в последние десятилетия классическая историко-марксистская трактовка капитала размывается благодаря все новым уточнениям его «качеств» — отсюда капитал символический, интеллектуальный, социальный, человеческий и пр. С одной стороны, такие эпитеты нередко подвергаются критике как избыточно метафорические, хотя социальные исследователи уже

Информация о финансировании: статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС. Acknowledgements: The article was written on the basis of the RANEPА state assignment research program.

смирились с тем, что «мы не можем думать об экономике только с помощью математики и логики, не используя метафор и историй» [Макклоски 2015: xv], и сосредоточили усилия на «тщательном взвешивании более-менее веских оснований для более-менее вероятных или убедительных выводов... на искусстве находить допустимые убеждения и совершенствовать их в совместном дискурсе» [Макклоски 2015: 2, 10]. С другой стороны, для характеристики нынешнего социально-исторического этапа было введено множество неологизмов (глобализация и глокализация, цифровизация и сетевизация и т. д.), поэтому возникает вопрос, насколько в поисках более точных или новых концептов нам следует опираться на традиционные понятия, лишь дополняя их разъясняющими определениями.

Впрочем, к подобным уточнениям склонны не только социальные исследователи, но и политические деятели, что, например, привело к «нюансировке» прежде весьма однозначной политэкономической дихотомии «капитализм-социализм» в Китае [см. также: Троцук 2020]. Руководство страны заявляет о строительстве «социализма с китайской спецификой», «поддерживая и развивая марксистскую политэкономия, китаизируя и модернизируя ее» [Чжан Юй 2017: 9], и объясняет тем самым превращение Китая в «страну победившего среднего класса» [Линь Ифу 2017] и мощную, динамичную, самобытную экономику, основанную на рыночных силах и частном предпринимательстве, а не в социалистическую державу с государственной собственностью и централизованным планированием, т. е., как оказалось, «капитализм может укорениться и расцвести в откровенно незападном обществе» [Коуз, Ван 2016: 273]. Аналогичные попытки уточнения типа сложившейся капиталистической системы, не соответствующей ее классическим определениям и тем более реалиям «западного рыночного фундаментализма», предпринимались в России в конце 1990-х — начале 2000-х годов: отечественная версия «постсоциалистического капитализма» квалифицировалась как «кооперативная» [Лэйн 2000], «архаическая» [Давыдов 1999], «периферийная» [Явлинский 2003], «номенклатурная» [Szelenyi, Szelenyi 1995], «клановая/олигархическая» [Крыштановская 2002], «государственная» [Родман 2001] и т. д.

Формально подобная проблематика — предмет интереса скорее политологов, историков и экономистов, чем социологов. Однако наша наука оформилась в институционально-дисциплинарном смысле в период модерна в ходе становления урбанизированного капиталистического общества и «с самого начала была исторической дисциплиной в силу тех вопросов, которые задавали ее основатели: ...что такое капитализм? ...Как он трансформирует то, как люди трудятся, воспроизводят себя (биологически и социально), приобретают знания и эксплуатируют природный мир? Какое воздействие эти изменения

оказывают на отношения власти, господства и эксплуатации?» [Лакман 2013: 16]. Поэтому вышедшая на русском языке в 2024 году книга Джонатана Хаскела и Стиана Уэстлейка «Капитализм без капитала: Подъем нематериальной экономики» будет интересна социологу как попытка зафиксировать и охарактеризовать новый этап в развитии современного общества: «инвестиции в нематериальные/невидимые активы, такие как дизайн, бренды и программное обеспечение, впервые превзошли вложения в материальные активы», что породило «нематериальную экономику» и изменило систему «экономического неравенства» [с. 4]. Тем более что во многих работах такая задача не ставится или формулируется вполне классически: так, Т. Пикетти включает в понятие капитала в XXI веке «все формы богатства и имущества», сосредотачиваясь на их «истоках и особенно границах между тем, что создается путем накопления, и тем, что создается путем присвоения» [Пикетти 2015: 62]. Хотя рецензируемая книга была впервые опубликована в 2018 году, актуальности она не утратила, поскольку общие тенденции нарастания доли «нематериального» в экономической системе не изменились, а отмеченные авторами достоинства и ограничения новой социально-экономической модели стали лишь более масштабными и более выраженными (видимыми).

242

Для обоснования предлагаемой историко-экономической (и, по сути, социологической) перспективы авторы предельно просто структурировали книгу. За одинокой вводной главой, выполняющей функции предисловия, следуют две части. Первая описывает подъем нематериальной экономики в трех главах, поясняющих «фокус с исчезновением капитала», специфику измерения нематериальных инвестиций и их отличительные черты. Вторая часть по объему значительно больше первой: в семи главах представлены последствия подъема нематериальной экономики — от негативных (усиление неравенства и трудности политического регулирования) до нейтральных (формирование нематериальной инфраструктуры); сюда же входит обобщающая глава, выполняющая функцию заключения. Вряд ли имеет смысл попытка тезисного изложения содержания четырехстраничной книги, напечатанной мелким шрифтом, поэтому попробуем реконструировать ее наиболее важные для социолога тезисы и аргументы.

Авторы начинают повествование с констатации двух принципиальных для них исторических моментов. С одной стороны, людей всегда интересовали вещественные объекты (их ценность и стоимость), и до конца XX века человечество сохраняло уверенность, что «активы большей частью являются вещами, которые можно потрогать руками, а инвестиции подразумевают создание или покупку вещей» [с. 13]. С другой стороны, приоритетный тип активов и инвестиций постоянно менялся (от скота и пахотных земель к фабрикам, а затем к компьютерам), но неизменной оставалась

центральная роль инвестиций/капиталовложений в создании капитала. Рассуждая о «темной материи инвестиций» и «неизведанной территории, образованной современными нематериальными инвестициями», авторы признают, что в исторической перспективе говорить исключительно о материальных инвестициях (капиталовложениях в материальные блага) можно «только во времена Вильгельма Завоевателя» [с. 14], хотя у нас и доминирует впечатление, что «экономика оказалась в зависимости от нематериальных объектов... в 1990-е годы... когда социологи заговорили о “сетевом обществе”, “постфордистской” экономике... и экономике знаний» [с. 15]. На примере корпорации Microsoft авторы показывают, что такое «с точки зрения традиционного бухгалтерского учета... капитализм без капитала... — инвестиции в организационные компетенции, в создание или развитие продуктовых платформ... в исследования и разработки, в дизайн продуктов... в обучение сотрудников» [с. 16].

Принципиальное различие материальных и нематериальных инвестиций — доля труда: для первых не менее важен процесс производства, вторые в гораздо большей степени зависят от труда и социальных технологий, обеспечивающих взаимодействие [с. 50]. Речь идет не о вполне классической констатации наступления постиндустриального общества (изменении соотношения сферы услуг и обрабатывающей промышленности в экономике) — «когда на смену закопченным “сатанинским” фабрикам приходят сервисные предприятия, инвестирующие в системы, информацию и идеи, — фактические данные не столь однозначны... скорее структура экономики будет воздействовать на относительную важность нематериальных активов, но с течением времени ее влияние будет изменяться» [с. 54]. Нематериальные инвестиции авторы делят на три крупные категории, «выводящие на разные типы капитальных активов» [с. 74-75]: компьютеризированная информация (разработки программного обеспечения, создание и ведение баз данных), инновационная собственность (исследования и разработки, проведение развлекательных мероприятий и создание художественных произведений, расходы на дизайн и пр.) и экономические компетенции (обучение, маркетинг и брендинг, реинжиниринг бизнес-процессов). Хотя «порождаемые» активы различаются (содержанием, функционалом, масштабами и доступностью), измерение нематериальных инвестиций требует следующих шагов [с. 78]: оценка расходов; уточнение оценки — расходы только на создание активов длительного пользования; поправка на инфляцию и изменение качества (временной аспект). Общее свойство нематериальных/неосязаемых инвестиций — «отсутствие вещественных форм»: новые технологические идеи, новый дизайн продукта или новая бизнес-идея, длительные или проприетарные отношения, систематизированная информация и т. д. [с. 40].

Авторы называют две главные характеристики нематериальных активов [с. 20]. Во-первых, их игнорирует большинство традиционных экономических подходов, в итоге «мы пытаемся измерять капитализм, не учитывая важную часть капитала». Во-вторых, преобладание крупных нематериальных активов над материальными меняет «поведение экономики», потому что первые близки к безвозвратным издержкам (создаются под нужды конкретной компании, их сложно продать, особенно в случае отсутствия соответствующих рынков), порождают «эффект/тенденцию перелива (положительных эффектов)» (конкуренты могут легко и практически безнаказанно извлечь выгоду из ваших инвестиций, позаимствовав полученные вами «результаты» в виде идей, решений и пр., причем как в одной с вами отрасли, так и в других), быстро подвергаются масштабированию (сравнительно скромные вложения порождают крупные доходы) и имеют синергичный эффект (в правильных сочетаниях более ценны вместе, чем по отдельности, и, в отличие от материальных активов, здесь синергизм более очевиден и менее предсказуем). Соответственно, в нематериальном секторе капиталистической экономики меняется и роль государства (по сути, подразумевается отмена классического принципа «невидимой руки рынка»): например, «если частные предприятия не имеют возможности осуществить нематериальные инвестиции, в которых нуждаются (в первую очередь исследования и разработки), правительство обязано вмешаться и либо предложить прямое финансирование (например, в университете или в государственных лабораториях), либо оказать необходимую поддержку бизнесу, осуществляющему вложения» [с. 129–130].

244

Во второй части книги последствия все возрастающей роли нематериальных активов и инвестиций на первый взгляд (по формулировкам названий разделов) носят негативный характер, однако авторы делают несколько принципиальных уточнений. Во-первых, «вековую стагнацию» — «тревожное и загадочное падение инвестиций и темпов роста производительности» крупнейших экономик мира — объясняют изменением баланса инвестиций частных предприятий в пользу нематериальных [с. 151–152]: таковые обладают уникальной способностью к почти мгновенному масштабированию (ведущие фирмы все дальше отрываются от отстающих), но почти не отражаются в статистических данных (ошибки в измерениях) — отсюда снижение темпов роста производительности, если проводить однофакторный экономический анализ. На примере сельского хозяйства (производства продуктов питания) показано, как меняется ситуация (инвестиционная «засуха» оказывается не такой уж сильной), если мы рассматриваем «многофакторный рост производительности» не через использование дополнительных экономических ресурсов, а через успешные варианты их объединения

[с. 164], включая увеличение нематериальных инвестиций. Признавая, что пока это скорее гипотеза, чем объяснительная модель (ее доказательство возможно, «если история не “захлебнется” дополнительными исследованиями»), авторы все же настаивают, что «стагнация» последних десятилетий может объясняться различиями в инвестиционном поведении нескольких ведущих фирм (уверенных, успешных, продолжающих вложения и получающих высокие доходы) и множества отстающих (опасающихся неудач и предпочитающих воздерживаться от инвестиций). Разрешить сложившуюся ситуацию авторы предлагают с помощью «институциональной перезагрузки» (осуществляемой государством): нематериальная экономика нуждается в новых институтах, «способных справиться с внутренне присущей нематериальным активам возможностью оспаривания их принадлежности» и сдержат «непропорционально сильные стимулы к высоким расходам на погоню за рентой» [с. 189].

Во-вторых, авторы считают необходимым отказаться от «восторженных ложных обещаний» замены физической инфраструктуры телекоммуникационной и от «утопических предсказаний о смерти расстояний в экономике знаний»: «несмотря на продолжающийся подъем нематериального инвестирования, важная роль капиталовложений в энергетику, пассажирские перевозки и логистику будет сохраняться» [с. 237]. Соответственно, необходим «переход от фазы первоначального радостного энтузиазма к более профессиональному периоду, когда новые технологии начинают применяться, тщательно изучаются и внедряются во многих случаях вместе, а не вместо более знакомой инфраструктуры» [с. 238]. Несколько вскользь (все же книга написана экономистами, а не социологами) авторы упоминают, что, как и любые инвестиции, нематериальные зависят от формальной и неформальной институциональной инфраструктуры, но в значительно большей степени (в силу своей нематериальности) все же именно от неформальной/мягкой, под которой подразумевается уровень социального доверия (сетевое распределение социального капитала) во взаимодействии между людьми/фирмами. «Стандарты и нормы, основанные на доверии и социальном капитале, играют в нематериальной экономике едва ли не главные роли» [с. 256].

В-третьих, это наиболее интересное с социологической точки зрения последствие укрепления нематериальной экономики — «усиление неравенства в богатстве и доходах» [с. 193]: крупным успешным компаниям будет необходим все более квалифицированный персонал, который будет все тщательнее отбираться и все выше оплачиваться; рост доходов этой социально-профессиональной группы повлечет за собой рост цен. Авторы справедливо отмечают, что за последние десятилетия разрыв в уровне богатства/доходов увеличился не только между абстрактными богатыми и бедными, но и по самым разным

критериям (между поколениями, регионами и т. д.). Традиционные объяснения причин роста неравенства варьируют от классической марксистской эксплуатации до новых технологий, глобализации и неолиберальной политики (и их сочетаний). Авторы признают, что все описанные ранее факторы неравенства в той или иной степени сохраняются в современном обществе, но подчеркивают изменение характера развитых экономик вследствие расширения их «нематериального» сектора, поэтому сегодня экономическое неравенство превратилось в «чудовищно многоголовую гидру» [с. 194–195]. В частности, наблюдаются одновременно глобальный рост доходов большинства людей и увеличение разрыва в уровне богатства между богатейшими и беднейшими группами, регионами и странами, что привело к слову исторического тренда: «движение вперед, по направлению к технической рациональности, автоматически должно было бы привести к триумфу человеческого капитала над капиталом в виде финансов и недвижимости, опытных менеджеров — над толстобрюхими акционерами, навыков — над связями... неравенство постепенно становилось бы более меритократическим и подвижным» [Пикетти 2015: 40].

246

Соответственно, для регулирования глобализированного имущественного капитализма в XXI веке «недостаточно переосмыслить налоговую (прогрессивный подоходный налог) и социальную модель (социальное государство) XX века и адаптировать ее к современному миру» — нужны «новые инструменты», например, идеально-утопический «мировой прогрессивный налог на капитал для состояний планеты» как ориентир «для оценки пользы и недостатков альтернативных решений» [с. 593]. Однако позиции Пикетти и авторов расходятся в том, что если последние описывают нематериальную экономику (капитализм без капитала), то Пикетти — «триумф гиперкапитализма после падения советского коммунизма» и начала эпохи цифровизации, т. е. «зияющую пропасть» между бедными и богатыми в классическом смысле разрыва доходов и капиталов [Пикетти 2023а: 7]. В книге речь идет об экономическом и технологическом неравенстве как обретающем новые форматы, механизмы и масштабы, тогда как Пикетти считает неравенство «не экономическим или технологическим (борьба классов), а идеологическим и политическим (борьба идеологий)»: неравенство зависит от «представлений каждого общества о социальной справедливости и экономической честности, а также от относительной политической и идеологической силы противоборствующих групп и дискурсов» [Пикетти 2023а: 15]. «История учит, что уровень неравенства определяется, прежде всего, идеологической, политической и институциональной способностью общества оправдывать и структурировать неравенство, а не уровнем богатства или развития как таковым» [Пикетти 2023а: 135].

Авторы считают наиболее важными и «интересными для людей» три усиливающих вида неравенства: между поколениями, в зависимости от местоположения (районы города или регионы страны) и в степени уважения к достоинству людей (социальное признание). В последнем случае подразумевается «покровительственное и неуважительное отношение со стороны оторванных от реальной жизни, технократических и даже вырождающихся власть имущих» [с. 200], что объясняет подъем популистских политических движений, «способных восторжествовать у избирательных урн и инициировать изменения, которые разрушат глобальную, гиперкапиталистическую, цифровую экономику» [Пикетти 2023а: 8] [см. также: Nikulin, Trotsuk 2022]. Признавая, что традиционные объяснения усиления неравенства (технологический прогресс, внешняя торговля и тенденция к накоплению богатства) «вполне правдоподобны» (удачная характеристика, потому что взаимосвязи здесь не просты, не линейны и не универсальны), авторы обосновывают необходимость дополнения этого перечня ростом нематериальной экономики, который усугубляет неравенство в уровне производительности и прибыльности между предприятиями, а, значит, и между высокооплачиваемыми работниками (прежде всего руководителями) и всеми остальными («культ талантов/менеджеров» или «идолопоклонство лидерству» — результат «фундаментальной ошибки атрибуции») [с. 220]. В свою очередь, увеличение богатства самых состоятельных людей повлекло рост цен на недвижимость (предприятия устремились в крупные города, чтобы использовать эффекты перелива и синергизма), но «тенденция нематериального капитала к географической мобильности затрудняет перераспределение богатства посредством налогообложения» [с. 221].

247

Авторы полагают, что «нематериальная экономика выдвинет на первый план хорошую организацию и менеджмент» по причине необходимости добавочной координации (переливов, масштабирования, синергизма), что обусловит дифференциацию организационных структур и моделей управления в соответствии со специализацией работы (например, создание нематериальных активов требует горизонтальной/плоской организации, автономии сотрудников, меньшего количества целей и сравнительно свободного доступа к начальству; использование нематериальных активов — строгого контроля и широких властных полномочий), а также дополнение инструментов руководства элементами лидерства как «направленного на повышение лояльности работников и мотивирующего их к максимальным усилиям» [с. 326–327].

Следует признать, что кратко суммированные выше положения книги хорошо аргументированы (ссылками на релевантные концептуальные построения и/или эмпирические данные) и снабжены

убедительными метафорами и иллюстрациями. Если же последние в тексте отсутствуют, то нынешние или возможные реалии описаны так, что читатель легко вспоминает общеизвестные примеры (своеобразный график работы программистов, распространение проектного и дистанционного форматов работы, относительное отсутствие дистанции власти как один из факторов успешности Apple и т. д.). Однако у достоинств книги есть и оборотная сторона: многие ее положения тривиальны (скажем, о роли лидерства известно как минимум с середины 1920-х годов благодаря Хоторнским экспериментам под руководством Э. Мэйо, когда говорить о нематериальной экономике не приходилось); другие постоянно повторяются без необходимости; большинство описанных тенденций характерно почти исключительно для очень развитых стран, «с жизненными, трудовыми и потребительскими стандартами, о которых подавляющее большинство населения мира... может только мечтать» [Вайс 2021: 11] (в то время как авторы претендуют на выявление глобальных общезначимых трендов); сельское хозяйство упоминается как показательный пример, но его специфика с точки зрения развития нематериальной экономики игнорируется, хотя многие страны сегодня представляют «гибридные образования, в которых традиционные сельскохозяйственные практики сосуществуют с постиндустриальными городами», и потому говорить об универсальных трендах вряд ли возможно — скорее о смещении «пространственных, социальных, экономических и политических мутаций» [Виссер 2022: 22].

248

Отчасти авторы признают ограничения своей работы, отмечая «неизбежную спекулятивность» описанных последствий развития нематериальной экономики и заявляя лишь о «попытке помочь объяснить некоторые актуальные экономические проблемы и найти правильные ответы... в переходе к нематериальным активам» [с. 392]. Книге явно недостает междисциплинарной перспективы и фокусировки на кейсах (в сравнении с Пикетти, рассмотревшего режимы (не)равенства на «кейсах» Индии, Франции и Восточной Европы [Пикетти 2023а; 2023б]), что позволило бы авторам сформулировать более реалистичные рекомендации. Пока таковые имеют слишком размытый характер, как, скажем, призыв к государствам/правительствам «помочь быстрому развитию нематериальной экономики», «сосредоточив усилия на развитии доверия и сильных институтов, расширении их возможностей, смягчении сеющих рознь социальных конфликтов и установлении барьеров, которые затрудняли бы самым сильным фирмам погоню за рентой» [с. 386]. Пожелание, безусловно, благое, но, во-первых, перечисленные «меры» призваны способствовать развитию нематериальной экономики, которая, как утверждается, «усугубляет проблемы [решаемые этими мерами]»; во-вторых, непонятно, как очень разные государства должны реализовывать эти

«меры» и что мешало им сделать это ранее; в-третьих, вряд ли принципиальные задачи социально-экономической политики изменились в нематериальной экономике, поэтому уверенность авторов, что последовательная реализация предложенных шагов «ведет к величайшему процветанию», вызывает сомнения (кстати, индикаторы процветания у разных обществ тоже не всегда совпадают).

Традиционной характеристикой социологии давно стала междисциплинарность, под которой, как правило, подразумевается, что социологическое знание исторически и содержательно опирается на наработки смежных дисциплин. С одной стороны, междисциплинарный статус расширяет предметное поле социологических исследований, легитимируя наши терминологические, методологические и предметные заимствования: «Знание истории и экономики слишком важно, чтобы оставлять его историкам и экономистам» [Пикетти 2023а: 23-24], а «экономические проблемы слишком важны, чтобы отдавать их на откуп горстке специалистов и управленцев» [Пикетти 2023б: 6]. С другой стороны, из преимуществ междисциплинарности вытекают и высокие требования к нашей работе, особенно когда речь идет об исторической социологии, в рамках которой мы претендуем на своего рода метаанализ истории в макросоциологических категориях (веберовских идеально-типических конструкциях), «социологи могут внести свой вклад в понимание происходящих изменений, тщательно сравнивая истории стран с разными культурными традициями, систематически используя все доступные ресурсы и изучая эволюцию неравенства, политических и идеологических режимов в разных частях света. Такой сравнительный, исторический, транснациональный подход может помочь сформировать более точную картину того, как может выглядеть лучшая политическая, экономическая и социальная организация и особенно как может выглядеть лучшее глобальное общество» [Пикетти 2023а: 23-24]... Для реализации такого историко-социологического подхода необходим междисциплинарный «запас знания», и рецензируемая книга помогает сформировать его экономический блок, показывая причины, факторы и последствия трансформаций прежних моделей неравенства.

Библиография/References

Вайс Х. (2021). *Мы никогда не были средним классом. Как социальная мобильность вводит нас в заблуждение*. Пер. с англ. Н. Проценко; под науч. ред. А. Смирнова. М.: Издательский дом Высшей школы экономики.

— Weiss H. (2021). *We Have Never Been Middle Class: How Social Mobility Misleads Us*. Transl. from English by N. Protsenko; ed. by A. Smirnov. Moscow: Publishing House of the Higher School of Economics. — in Russ.

Виссер Р. (2022). *Города окружают деревню. Урбанистическая эстетика в культуре постсоциалистического Китая*. Пер. с англ. Н. Проценко. СПб.: Academic Studies Press/Библиороссика.

— Visser R. (2022). *Cities Surround the Countryside: Urban Aesthetics in Postsocialist China*. Transl. from English by N. Protsenko. Saint Petersburg: Academic Studies Press/Bibliorossika. — in Russ.

Давыдов Ю. Н. (1999). Куда пришла Россия: два типа капитализма. *Журнал социологии и социальной антропологии*, 2(1): 90–102. EDN: ONCEMT

— Davydov Yu.N. (1999). Where Russia has come: Two types of capitalism. *Journal of Sociology and Social Anthropology*, 2(1): 90–102. — in Russ.

Коуз Р., Ван Н. (2016). *Как Китай стал капиталистическим*. Пер. с англ. А. Разинцевой. М.: Новое издательство. EDN: YSKJKX

— Coase R., Wang N. *How China Became Capitalist*. Transl. from English by A. Razintseva. Moscow: New Publishing House. — in Russ.

Крыштановская О. В. (2002). Трансформация бизнес-элиты России: 1998–2002. *Социологические исследования*, 8: 17–29. EDN: MPKWLT

— Kryshstanovskaya O. V. (2002). Transformation of the Russian business elite: 1998–2002. *Sociological Studies*; 8: 17–29. — in Russ.

250

Линь Ифу (2017). *Демистификация китайской экономики*. Пер. с кит. Л. А. Ивлева. М.: «Шанс».

— Lin Yifu (2017). *Demystifying the Chinese Economy*. Transl. from Chinese by L. A. Ivleva. Moscow: “Chance”. — in Russ.

Лэйн Д. (2000). Преобразование государственного социализма в России: от «хаотической» экономики к кооперативному капитализму, координируемому государством. *Мир России*, 9(1): 3–22. EDN: YTQRIP

— Lane D. (2010). The transformation of state socialism in Russia: From “chaotic” economy to state-led cooperative capitalism. *Universe of Russia*; 9 (1): 3–22. — in Russ.

Макклоски Д. (2018). *Риторика экономической науки*. Пер. с англ. О. Якименко; науч. ред. перевода Д. Расков. М.–СПб.: Издательство Института Гайдара. EDN: VLRINT

— McCloskey D. (2018). *The Rhetoric of Economics*. Transl. from English by O. Yakimenko; ed. by D. Raskov. Moscow–Saint Petersburg: Gaidar Institute Publishing House. — in Russ.

Пикетти Т. (2015). *Капитал в XXI веке*. Пер. с англ. А. А. Дунаева. М.: Ад Маргинем Пресс. EDN: VGMFFF

— Piketty T. (2015). *Capital in the Twenty-First Century*. Transl. from English by A. A. Dunaev. Moscow: Ad Marginem Press. — in Russ.

Пикетти Т. (2023а). *Общества неравенства*. М.: «Родина».

— Piketty T. (2023a). *Capital and Ideology*. Moscow: “Homeland”. — in Russ.

Пикетти Т. (2023б). *Краткая история равенства*. Пер. с фр. В. М. Липки. М.: Издательство АСТ.

- Piketty T. (2023b). *A Brief History of Equality*. Transl. from French by V. M. Lipka. Moscow: AST Publishing House. — in Russ.
- Родоман Б. (2001). Идеальный капитализм и российская реальность. *Неприкосновенный запас*, 3: 22–29.
- Rodoman B. (2001). Ideal capitalism and Russian reality. *Emergency Reserve*; 3: 22–29. — in Russ.
- Троцук И. В. (2020). Дискурсивные репрезентации (капиталистических) итогов «китайского экономического чуда». *Социологическое обозрение*, 19(2): 310–347. EDN: DDVWAO. <https://doi.org/10.17323/1728-192X-2020-2-310-347>
- Trotsuk I. V. (2020). Discursive representations of the (capitalist) results of the “Chinese economic miracle”. *Russian Sociological Review*; 19 (2): 310–347. — in Russ. <https://doi.org/10.17323/1728-192X-2020-2-310-347>
- Чжан Юй (2017). *Опыт китайских экономических реформ и их теоретическая значимость*. Пер. с кит. В. А. Ефановой. М.: «Шанс».
- Zhang Yu (2017). *China's Economic Reform: Experience and Implications*. Trans. from Chinese by V. A. Efanova. Moscow: “Chance”. — in Russ.
- Явлинский Г. (2003). *Периферийный капитализм: лекции об экономической системе России на рубеже XX-XXI веков*. М.: «Интеграл-Информ». EDN: QQCEQZ
- Yavlinsky G. (2003). *Peripheral Capitalism: Lectures on the Russian Economic System at the Turn of the 21st Century*. Moscow: “Integral-Inform”. — in Russ.
- Nikulin A., Trotsuk I. (2022). Political and apolitical dimensions of Russian rural development: Populism “from above” and narodnik small deeds “from below”. P. Pospěch, E. M. Fuglestad, E. Figueiredo (Eds.). *Politics and Policies of Rural Authenticity*. Routledge. pp. 77–93.
- Szelenyi I., Szelenyi S. (1995). Circulation or reproduction of elites during the post-communist transformation of Eastern Europe: Introduction. *Theory and Society*; 24 (5): 615–638. <https://doi.org/10.1007/BF00993400>

Троцук Ирина Владимировна — доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры социологии Российского университета дружбы народов; ведущий научный сотрудник Центра аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Научные интересы: методология социологических исследований, текстовый анализ, современные социологические теории.

ORCID: 0000-0002-2279-3588. E-mail: irina.trotsuk@yandex.ru

Irina V. Trotsuk — DSc (Sociology), professor, Sociology Department, RUDN University; senior researcher, Center for Agrarian Studies, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. Research interests: methodology of sociological research, textual analysis, contemporary sociological theories.

ORCID: 0000-0002-2279-3588. E-mail: irina.trotsuk@yandex.ru

Авторы

Адельфинский Андрей Станиславович — кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и бизнес», Московской государственной технической университет имени Н.Э. Баумана. Научные интересы: социология спорта, экономика и организация спорта, маркетинг и медиаисследования.

ORCID: 0000-0003-0690-8848. E-mail: adelfi@mail.ru

Дмитриев Тимофей Александрович — кандидат философских наук, доцент факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. Научные интересы: история политической философии Запада Нового и Новейшего времени, историческая социология модерна, культурно-историческая антропология.

ORCID: 0000-0001-7476-0983. E-mail: tdmitriev@hse.ru

252

Калинина Валерия Олеговна — магистрант департамента социологии НИУ ВШЭ, направление — комплексный социальный анализ. Научные интересы: теоретическая социология, социология культуры, историческая макросоциология, социология харизмы.

ORCID: 0009-0007-3759-3400. E-mail: vaolkalinina@edu.hse.ru

Карасев Дмитрий Юрьевич — независимый исследователь, Москва, Российская Федерация. Научные интересы: историческая социология.

ORCID: 0000-0002-0403-9370

Катаев Дмитрий Валентинович — доктор социологических наук, профессор кафедры социологии и управления Липецкого государственного педагогического университета имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. Научные интересы: современная теоретическая социология, историческая макросоциология, многоуровневая социология, методология социальных наук, социология бюрократии.

ORCID: 0000-0003-4391-8949. E-mail: dmitrikataev@rambler.ru

Кильдюшов Олег Васильевич — научный сотрудник Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ, ведущий научный редактор социологической редакции Большой Российской энциклопедии. Научные интересы: теория социального порядка, историческая социология модерна, политическая теология.

ORCID: 0000-0001-9801-1952. E-mail: kildyushov@mail.ru

Куренной Виталий Анатольевич — кандидат философских наук, профессор, директор Института исследований культуры Факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. Научные интересы: философия, исследования культуры. ORCID: 0000-0002-7198-0910. E-mail: vkurennoj@hse.ru

Масловский Михаил Валентинович — доктор социологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник, Социологический институт РАН — филиал ФНИСЦ РАН, Санкт-Петербург. Научные интересы: современные социологические теории, историческая социология, политическая социология. ORCID: 0000-0002-1323-0935. E-mail: m.maslovskiy@socinst.ru

Никулин Александр Михайлович — кандидат экономических наук, директор Центра аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; директор Чаяновского исследовательского центра МВШСЭН. Научные интересы: историческая и аграрная социология, экономическая история. ORCID: 0000-0001-7623-7985. E-mail: harmina@yandex.ru

Попов Дмитрий Владимирович — доктор философских наук, доцент, начальник кафедры философии и политологии Омской академии МВД России. Научные интересы: философская антропология, биополитика, политическая теология. ORCID: 0000-0002-4587-6351. E-mail: DmitriVPopov@mail.ru

253

Леопольд фон Ранке (1795-1886) — выдающийся немецкий историк, основатель научного подхода к изучению истории.

Розов Николай Сергеевич — доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии и права Сибирского Отделения РАН, профессор кафедры международных отношений Новосибирского государственного технического университета, г. Новосибирск. Научные интересы: макросоциология, политическая социология, философия истории, теория ценностей, антропогенез, методология социальных наук. ORCID: 0000-0001-8585-298X. E-mail: nrozov@gmail.com

Троцук Ирина Владимировна — доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры социологии Российского университета дружбы народов; ведущий научный сотрудник Центра аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Научные интересы: методология социологических исследований, текстовый анализ, современные социологические теории. ORCID: 0000-0002-2279-3588. E-mail: irina.trotsuk@yandex.ru

Authors

Andrey S. Adelfinsky — Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor of Economy and Business Chair, Bauman Moscow State Technical University. Research interests: sports sociology, economics and organization of sports, marketing and media studies.
ORCID: 0000-0003-0690-8848. E-mail: adelfi@mail.ru

Timofey A. Dmitriev — Associate Professor, HSE University, Faculty of Humanities, Moscow, Russia. Research interests: history of Western modern and contemporary political thought, historical sociology of modernity, cultural and historical anthropology.
ORCID: 0000-0001-7476-0983. E-mail: tdmitriev@hse.ru

Valeria O. Kalinina — ma Master's student of the Department of Sociology of the National Research University Higher School of Economics. Research interests: theoretical sociology, sociology of culture, historical macrosociology, sociology of charisma.
ORCID: 0009-0007-3759-3400. E-mail: vaolkalinina@edu.hse.ru

Dmitry Yu. Karasev — Independent researcher, Moscow, Russian Federation. Research interests: historical sociology.
ORCID: 0000-0002-0403-9370

Dmitry V. Kataev — Doctor in Sociology, Professor of Lipetsk State Pedagogical Semenov-Tyan-Shansky University. Research interests: modern theoretical sociology, historical macrosociology, multi-level sociology, methodology of social sciences, sociology of bureaucracy.
ORCID: 0000-0003-4391-8949. E-mail: dmitrikataev@rambler.ru

Oleg V. Kildyushov — research fellow at the Centre for Fundamental Sociology, National Research University Higher School of Economics. Research interests: theory of social order, historical sociology of modernity, political theology.
ORCID: 0000-0001-9801-1952. E-mail: kildyushov@mail.ru

Vitaliy A. Kurennoj — candidate of philosophy, professor, Director of the Institute for Cultural Studies, Faculty of Humanities, National Research University Higher School of Economics Research interests: philosophy, cultural studies.
ORCID: 0000-0002-7198-0910. E-mail: vkurennoj@hse.ru

Mikhail V. Maslovskiy — Doctor of Sciences (Sociology), Professor, Lead researcher, Sociological Institute of Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, St.-Petersburg. Research interests: contemporary sociological theories, historical sociology, political sociology.

ORCID: 0000-0002-1323-0935. E-mail: m.maslovskiy@socinst.ru

Alexander M. Nikulin — PhD (Economics), Head of the Center for Agrarian Studies, Presidential Academy of National Economy and Public Administration; Head of the Chayanov Research Center, Moscow School of Social and Economic Sciences. Research interests: historical and rural sociology, economic history.

ORCID: 0000-0001-7623-7985. E-mail: harmina@yandex.ru

Dmitry V. Popov — Doctor of Philosophical Science, Associate Professor, Head of Department of Philosophy and Political Science. Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russian Federation. Philosophical Anthropology, Biopolitics, Political Philosophy (Political Theology, Political Power, Theory of Anarchy, Violence and Nonviolence).

ORCID: 0000-0002-4587-6351. E-mail: DmitriVPopov@mail.ru

255

Leopold von Ranke (1795-1886) — a german historian and the founder of modern source-based history.

Nikolai S. Rozov — Doctor of Philosophy, Professor, Chief Researcher, the Institute for Philosophy and Law, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Professor of the Department of International Relations, Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Research interests: macrosociology, political sociology, philosophy of history, theory of values, anthropogenesis, methodology of social sciences.

ORCID: 0000-0001-8585-298X. E-mail: nrozov@gmail.com

Irina V. Trotsuk — DSc (Sociology), professor, Sociology Department, RUDN University; senior researcher, Center for Agrarian Studies, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. Research interests: methodology of sociological research, textual analysis, contemporary sociological theories

ORCID: 0000-0002-2279-3588. E-mail: irina.trotsuk@yandex.ru

Научный и общественно-политический журнал

СОЦИОЛОГИЯ

ВЛАСТИ

Том 36, № 3 (2024)

«ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ»

Дизайн Трушина Е. В.
Корректурa Кроль И. Е.
Верстка Меерсон А. В.

Учредитель:

Российская Академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ

ISSN 2074-0492 (Print)

ISSN 2413-144X (Online)

119571, Россия, Москва, пр-кт. Вернадского, д. 82
Редакция журнала «Социология власти»

<https://socofpower.ranepa.ru>

E-mail: soc.of.power@gmail.com

Цена свободная

Подписано в печать: 21.10.2024

Дата выхода в свет: 25.10.2024

Формат 70×100/16

Тираж 500 экз.

1-ый завод (1-50 экз.)

Отпечатано в типографии ИД «ДЕЛО»

119571, Москва, пр-кт Вернадского, 82